

ГОВАРД ФАСТ МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЯ



ЛИТЕРАТУРА

ГОВАРД  
ФАСТ

МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ  
БРАТЯ

БИБЛИОТЕКА "АЛИЯ"

ГОВАРД ФАСТ

МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ  
БРАТЬЯ

HOWARD FAST

MY GLORIOUS BROTHERS

Г О В А Р Д   Ф А С Т

**МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ  
БРАТЯ**

**БИБЛИОТЕКА "АЛИЯ"**

# אחי גיבורי התהילה

מאת

הווארד פאסט

ציור העטיפה: שרה ברקאי



כל הזכויות שמורות

ל"ספריה עליה"

ת"ד 7422, ירושלים

היצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן הזכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

נדפס בישראל

1975

OCR Давид Титиевский, июнь 2020 г., Хайфа

דפוס מופת, ת"א

**ВСЕМ ЛЮДЯМ, ЕВРЕЯМ И НЕЕВРЕЯМ,  
ОТДАВШИМ СВОИ ЖИЗНИ В ДРЕВНЕЙ И  
ДО СИХ ПОР НЕ ЗАКОНЧЕННОЙ БОРЬБЕ  
ЗА СВОБОДУ И ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА**

עיריית חיפה  
מערכת תרבות הסנאי  
מרכז תרבות לעולים  
בית ארדשטיין - ספריה  
מס. מלאי.....

374

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	IX
От автора . . . . .	XI
Пролог . . . . .	1
Часть первая. Мой отец, адон . . . . .	9
“    вторая. Юноша-Маккавей . . . . .	46
“    третья. Эльазар — краса битвы . . . . .	91
“    четвертая. Иегуда бесстрашный, несравненный . . . . .	158
“    пятая. Отчет легата Лентуллы Силана . . . . .	209
Эпилог . . . . .	253



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый роман — один из наиболее популярных произведений Говарда Фаста. Автор рассказывает в нем о восстании Иегуды Маккавея против сирийско-эллинских правителей Древней Иудеи.

Говард Фаст родился в Нью-Йорке в 1914 году в семье еврея-рабочего. Свой трудовой путь он также начал рабочим. И уже в ту пору проявился его литературный талант. Первым произведением Фаста была повесть “Дети”. Всеобщее признание писатель завоевал своими романами, самыми значительными из которых являются: “Рожденные свободой” (1939 г.), “Непокоренные” (1942 г.), “Гражданин Том Пейн” (1943 г.), “Дорога свободы” (1944 г.).

В 1943 году Фаст примкнул к коммунистической партии США. В 1953 году он был удостоен Ленинской премии за укрепление мира. Однако в 1956 году он демонстративно покинул компартию. Свое разочарование в коммунизме писатель выразил в книге “Голый бог”. Немалую роль в этом разочаровании сыграло раскрытие фактов о сталинской политике уничтожения еврейской культуры в СССР и расстреле в 1952 году виднейших представителей интеллигенции, творившей на идиш.

Еврейская тематика и до этого занимала видное место в творчестве Фаста. Следует отметить его исторические романы: “Эпопея народа” (1941 г.) и “Картины еврейской истории” (1942 г.), а также роман “Хаим Соломон — сын свободы”.

В 1958 году вышла его книга “Моисей, принц Египетский”, которая открыла задуманную писателем серию о жизни и деятельности великого законодателя и вождя.

“Мои прославленные братья” (1949 г.) Говард Фаст написал еще в тот период, когда был активным деятелем компартии, доказав, таким образом, что приверженность коммунистической идеологии не противоречит выражению сочувствия национальным стремлениям еврейского народа.

Несмотря на некоторое акцентирование классовых

проблем, в целом роман покоряет живостью красок и яркостью образов. Автор воссоздает картину жизни Древней Иудеи, отказавшейся подчиниться идейному и культурному воздействию эллинизма, господствовавшего в то время на Ближнем Востоке. Насильственное навязывание эллинистического языческого культа привело к восстанию, закончившемуся, в конечном итоге, свержением сирийского господства и созданием независимого Иудейского государства — царства Хасмонеев, просуществовавшего около 100 лет и сохранившего некоторую долю самоуправления до Великого восстания против Рима в 67—80 гг. н.э.

Талантливо нарисованные образы руководителей восстания — стойкого и целеустремленного старика-священника Мататьягу, бесстрашного полководца Иегуды Маккавея и его братьев-героев, жизнь и быт небольшого села в Древней Иудее, основанные на прочных этических и социальных устоях иудаизма, вызывают у читателя еврея глубокую симпатию к прошлому своего народа и духовным ценностям еврейства. Это вселяет в них также чувство гордости за великие деяния наших предков.

Неудивительно поэтому, что роман сыграл известную роль в процессе возрождения национального самосознания советского еврейства. В восстании Маккавеев видели пример непримиримой борьбы за национальную и культурную независимость, с одной стороны, и за право жить полноценной жизнью на исторической родине своего народа — с другой. Об этом свидетельствует тот факт, что книга эта, которая в русском переводе не вышла в официальном издательстве, появилась в СССР в самиздате и вызвала большой интерес читателей евреев.

Поскольку нам не удалось найти этот перевод, мы предлагаем читателю роман Говарда Фаста “Мои прославленные братья” в недавно выполненном переводе Георгия Вена.

**РЕДАКЦИЯ БИБЛИОТЕКИ “АЛИЯ”**

## ОТ АВТОРА

Немногим более чем за полтора столетия до рождения Христа горстка еврейских землепашцев в Палестине поднялась против греко-сирийских угнетателей, захвативших их землю.

Тридцать лет вели они борьбу, проявив такую стойкость и такую любовь к свободе, каких почти не знает история человечества. Это была первая в современном смысле борьба за свободу, и она послужила примером для многих последующих движений.

Я попытался изложить здесь историю этой борьбы, память о которой евреи всего мира чтут в Хануку — праздник огней. Мне кажется, что в наше тревожное и горькое время необходимо и ценно вспомнить о человеческой солидарности в прошлом.

Если я хоть как-то справился со своей задачей, этим я обязан тем людям, которые живут в моей книге, — прекрасным людям того времени, которых их вера, их образ жизни и любовь к родине привели к великой мысли о том, что сопротивление деспотизму есть подлинное повиновение Богу.



## ПРОЛОГ, В КОТОРОМ Я, ШИМЪОН, ТВОРЮ СУД

Однажды, в день месяца нисан — приятнейшее время года — в послеполуденный час зазвонили колокола. И я, Шимъон, ничтожнейший из всех прославленных братьев, сел творить суд. Я расскажу вам об этом именно теперь, ибо творить суд означает служить справедливости — так, по крайней мере, говорят люди, — я доньше как будто слышу голос моего отца, адона:

— На трех основах держится жизнь: на праве, которое заключено в Законе, на истине, которая заключена в подлунном мире, и на любви человека к человеку, которая заключена в твоём сердце.

Но так, по мнению некоторых, верили прежде, а старый отец мой, адон, мертв, и мои прославленные братья тоже мертвы; и то, что было ясно в те времена, ныне далеко не так ясно. И когда я пишу здесь обо всем, что тогда случилось (или почти обо всем, ибо человеческие мысли подобны свободному и беспорядочному плетению, а не плотной звериной шкуре), я сам хочу знать и понять, если только существует на свете такая вещь, как знание и понимание. Иегуда — знал, но ему никогда не пришлось, как мне, творить суд над сынами земли, наслаждающейся миром. Земли, дороги которой открыты на север и на юг, на восток и на запад, — земли, возделанной в чаянии урожая, земли, где дети играют в полях и, играя, смеются. Не пришлось Иегуде видеть, как гнутся к земле виноградные лозы не в силах удержать груз тяжелых гроздьев, как колосья ячменя раскрываются подобно жемчужным раковинам, как ломаются закрома, переполненные зерном, и не пришлось Иегуде слышать радостное пение женщин, не ведающих страха.

И никогда не приходилось Иегуде принимать у себя в гостях римского легата, как принимал я в тот день, когда он явился ко мне, проделав, по его словам, весь долгий путь только для того, чтобы побе-

седовать с одним единственным человеком и пожать ему руку, — и решайте сами, когда римлянин говорит правду и когда он лжет.

— Разве нет мужей в Риме? — Спросил я легата после того, как дал ему хлеба, и вина, и фруктов и позаботился, чтобы приготовили комнату, где бы он отдохнул с дороги.

— Есть мужи в Риме, — ответил, улыбнувшись, легат, и движение его тонкой бритой верхней губы было столь же рассчитанным, как и все его жесты. — Есть мужи в Риме, но в Риме нет маккавеев. И поэтому Сенат призвал меня и велел отправиться в путь в ту страну, где правит Маккавей, и встретиться с ним...

Он помолчал столько, сколько нужно, чтобы сосчитать до пяти; улыбка исчезла, и его смуглое лицо помрачнело.

— ...Встретиться с ним и протянуть ему руку — руку Рима, если он протянет свою.

— Я не правлю, — сказал я легату. — У евреев нет ни правителя, ни царя.

— Но ведь ты Маккавей.

— Это верно.

— И ты вождь своего народа.

— Сейчас я только судья. Когда народу нужен будет вождь, я, может быть, стану этим вождем — или же им станет кто-то другой. Это не имеет значения. Народ найдет себе вождя, как находил прежде.

— Но ведь у вас были цари, насколько я помню, — задумчиво произнес римлянин.

— Да. И эти цари были для нас, как отравы. Мы уничтожали их или они нас уничтожали. Кем бы ни был этот царь — евреем, греком, или...

— Или римлянином, — прервал легат, и на лице его вновь появилась заученная улыбка.

— Или римлянином.

Последовало молчание, римлянин и я глядели друг на друга, и я мог догадаться кое о чем, что было у него в мыслях. Наконец он сказал с обманчивым спокойствием:

— Был человек в Каргафене, который так говорил. Можно сказать, он обладал всеми свойствами, присущими.... еврею. И вот ныне Карфаген весь засыпан солью, и там не пробьется даже жалкий побег травы. И еще жил один грек... — Что ж, Афины сейчас — невольничий рынок, где мы продаем рабов. И еще — лет тридцать тому назад, если помнишь, Антиох вторгся в Египет со своими македонцами. Эта война была не из тех войн, которые нравятся Сенату, и поэтому Сенат отправил к Антиоху легата Попилия Лаена с посланием — нет, не с войском, а всего лишь с посланием, где просто выразил свое неудовольствие. Антиох попросил двадцать четыре часа на размышление, а Попилий ответил, что может ждать двадцать четыре минуты. Кажется, на восемнадцатой минуте Антиох принял решение.

— Мы не греки и не египтяне, — ответил я легату. — Мы евреи. Если ты пришел с миром, вот тебе моя рука, и да будет мир между нами. Прибереги свои угрозы на то время, когда наступит час войны.

— Да, ты Маккавей, — сказал римлянин, кивнул головой, улыбнулся и протянул руку.

И в послеполуденный час того же дня он сидел, и наблюдал, и слушал, как я творю суд.

Это был, как я уже сказал, месяц нисан — первая половина месяца нисана, когда вся земля покрыта цветами и когда далеко в Средиземном море, за десять и за двадцать миль от земли, чувствуется их благоухание. И на холмах, и на склонах гор вечно-зеленые рощи стряхивают снег и иней и омываются собственным соком; на кедровых ветках появляется новая, яркая зелень, березки пляшут, точно девушки на свадьбе. Пчелы летят за сладким взятком, и люди поют радостные песни, ибо в целом мире нет такой земли, как наша — многие чужеземцы говорили это, — земли столь прекрасной, столь благоуханной, столь изобильной.

Я, Шимшон, сидел в судебном зале. И все говорили: "Маккавей сидит и творит суд". И среди тех, кто явился на мой суд, был дубильщик с рабом бе-

дуином, мальчиком лет четырнадцати или пятнадцати. В углу зала сидел римлянин, темноволосый, невысокий, коренастый. Его голые ноги покрывали черные волосы, на широком лице выдавался большой крючковатый нос; чуждый и чужой среди наших людей — высоких, худых, с рыжими или темнокаштановыми бородами. Как и все неевреи среди нас, римлянин был безбород. Гладко побритый, он сидел; скрестив ноги, подперев кулаком подбородок, наблюдая и слушая, и тонкие губы его кривила циничная усмешка: Рах Романа своей длинной рукой коснулся сжатого кулака Рах Юдея и нашел этот кулак грубым и варварским; и, по-видимому, римлянин думал о том времени, когда римские легионы испытуют и усмирят этот кулак... Но я отвлекся. Я сказал, что тут были бедуинский мальчик и его хозяин — дубильщик козых шкур. Хозяин этот был человек суровый, как все дубильщики, с пятнами въевшейся в кожу краски, и смотрел он пристальными глазами фанатика.

И он сказал мне:

— Мир тебе, Шимьон! Что ты делаешь с крысой пустыни, которая убегает прочь?

Взглянув на римлянина, я неожиданно осознал, что я еврей и что этот дубильщик тоже еврей, что я — Шимьон из рода Маккавеев, этнарх моего народа, а дубильщик — это всего лишь подданный и ничего более, и в целом свете только еврей может понять, почему дубильщик говорил со мною так, как он говорил.

— А почему он убегает прочь? — спросил я, глядя на темнокожего мальчика, прекрасного и стройного, точно газель, безукоризненно сложенного, как и все бедуины, с шапкой спутанных черных волос и гладкой, без признаков бороды кожей лица, которой еще не касалась бритва.

— Пять раз он убегал, — сказал дубильщик. — Дважды я сам приводил его назад. Дважды его подбирали караваны, и я платил за него немалый куш. И вот теперь мой сын нашел его полумертвого в пу-

стыне. Ему оставалось служить всего два года, а теперь, при всех деньгах, что он мне стоил, он обязан служить уже девять лет.

— Значит, он справедливо наказан, — сказал я. — Чего же ты еще хочешь?

— Я хочу заклеить его, Шимъон.

Теперь римлянин улыбался, а мальчик дрожал от страха.

Я подозвал его, и он упал на колени.

— Встань! — прикрикнул на него дубильщик. — Чему я тебя учил? Разве тому, чтобы бухаться на колени перед человеком только потому, что он — Маккавей? Если уж пасть на колени, то лишь перед Господом.

— Почему ты убегаешь? — спросил я мальчика.

— Я хочу домой, — захныкал мальчик.

— А где его дом? — возразил дубильщик. — Ему было десять лет, когда я купил его у одного египтянина. Разве у бедуинов есть дом? Их носит, как перекасти-поле: сегодня они тут, завтра там! Я учу его ремеслу, чтобы подготовить к свободной жизни. Но ему ничего не нужно, дай ему только паршивый шалаш из козьих шкур!

— Почему ты хочешь домой? — спросил я мальчика; умудренный годами, я вновь, как часто за последнее время, задал себе вопрос, который постоянно терзал меня: почему только я один уцелел из братьев?

— Я хочу быть свободным, — хныкал мальчик, — я хочу быть свободным...

Я молча сидел, глядя, как теснятся люди в глубине зала, ожидая, когда придет их черед предстать перед моим судом, но кто я, чтобы их судить, и для чего мне их судить?

— Он получит свободу через два года, — сказал я, — именно так, как гласит Закон. И не смей клеймить его.

— А как же деньги, которые я уплатил караванщикам?

— Пусть это будет плата за твою собственную свободу, дубильщик.

— Шимъон бен Мататьягу.... — начал было дубильщик, и лицо его потемнело от гнева.

Но я прервал его и закричал:

— Я рассудил тебя, дубильщик! И давно ли ты сам спал в паршивом шалаше из козьих шкур? Короткая же у тебя память! Разве свободу можно надеть и сбросить, как платье?

— Закон гласит...

— Я знаю, как гласит Закон, дубильщик! Закон гласит, что если ты побьешь своего раба, он имеет право потребовать свободу. Так вот, он может потребовать свободу сейчас же. Ты понимаешь, мальчик?

Так получилось, что я судил и вышел из себя — я, Шимъон, старый человек, орущий на призраки. И в тот же вечер, когда закончилась служба в Храме, я завернулся в свою молитвенную накидку и прочитал молитву за умерших. И тут я почувствовал слезы на глазах — старческие одинокие слезы очень усталого человека. А потом я сел за обеденный стол, за которым уже сидел римский легат — он, имеющий дело с народами, знающий двадцать языков, — с той же циничной усмешкой на тонких, хитрых губах.

— Ты находишь это забавным? — спросил я его.

— Жизнь забавна, Шимъон Маккавей.

— Для римлянина.

— Для римлянина; и может быть, когда-нибудь мы научим этому и евреев.

— Греки уже пытались научить нас, как забавна может быть жизнь, а до них — персы, а до них — халдеи, а еще раньше — ассирийцы; и было время, как рассказывают наши предки, когда египтяне учили нас забавляться на их лад.

— А ты все такой же мрачный. Трудно любить евреев, хотя римлянин способен оценить кое-какие их качества.

— Мы не просим любви, только уважения.

— Именно так и делает Рим. Позволь мне спросить тебя, Шимъон, вы освобождаете всех своих рабов?

— Через семь лет.

— Без уплаты выкупа владельцу?

— Без уплаты.

— Но вы же грабите самих себя. А правда ли, что на седьмой день вы не работаете и на седьмой год оставляете ваши поля под паром?

— Таков наш Закон.

— А правда ли, — продолжал римлянин, — что в вашем Храме, здесь, на холме, нет Вога, которого мог бы увидеть человек?

— Правда.

— Чему же вы поклоняетесь?

Теперь римлянин не улыбался; он задал вопрос, на который я был не в силах ответить так, чтобы он понял, еще меньше он мог понять, почему мы отдыхаем на седьмой день, и почему мы каждый седьмой год держим поля под паром, и почему мы, единственный из всех народов мира, после семи лет неволи освобождаем своих рабов — евреев и неевреев.

А я, даже думая обо всем этом, чувствовал пустоту в душе. Я только и видел, что испуганные глаза бедуинского мальчика, который хотел домой, в паршивый шалаш из козьих шкур на горячих, зыбучих песках пустыни...

— Чему вы поклоняетесь, Шимъон Маккавей? И что вы чтите? — Продолжал допытываться римлянин. — Вы считаете, что во всем мире нет других людей, достойных уважения, кроме евреев?

— Все люди достойны уважения, — пробормотал я, — равно достойны уважения.

— И все же вы — избранный народ, как вы часто твердите. Для чего вы избраны, Шимъон? А если все люди равно достойны, как же вы можете быть избранными? Неужели ни один еврей никогда не задавал такого вопроса, Шимъон?

Я хмуρο покачал головой.

— Мои вопросы смущают тебя, Шимъон Маккавей? — спросил римлянин. — Мне кажется, вы слишком горды. Мы тоже гордый народ, но мы не презираем того, что создано другими народами. Мы не презираем других, которые живут иначе, чем мы. Ты не-

навидишь рабство, Шимъон, — и все же твой народ владеет рабами. Как же так? Почему вы с такой готовностью судите о том, что хорошо и что дурно, как будто ваша крохотная полоска земли — это центр вселенной?

У меня не было ответа. Он имеет дело с народами, а я — этнарх крохотной полоски земли и маленького народа. И тяжелое, как немощь, пришло сознание, что меня несет поток, над которым я не властен и путей которого я не могу постичь.

Так сижу я этой ночью, записываю историю моих прославленных братьев, чтобы ее могли прочесть все люди — евреи и римляне, греки и персы. Я пишу в надежде, что мои воспоминания помогут понять, откуда мы пришли и куда мы идем, — мы, евреи, народ, непохожий на все другие народы, мы, которые на все бедствия и удары судьбы отзываемся странными и священными словами:

— Рабами были мы у фараона в Египте...

## Часть первая

### МОИ ОТЕЦ, АДОН

Даже о старом отце моем, адоне, я не могу говорить, не рассказав сначала о Иегуде. Я был на три года старше его, но во всех моих воспоминаниях о детстве всегда присутствует Иегуда. Старший брат мой, Иоханан, был приветлив, мил и добр сердцем, но не ему было верховодить такими четырьмя сорванцами, как мы. Потому из нас пятерых отец считал ответственным за всех меня, Шимьона, и не могло быть, чтобы я сказал: "Разве сторож я брату моему?", ибо я и был сторожем братьям моим, и с меня был за них спрос. Однако верховодил все же не я, а Иегуда, — а я, как и все, подчинялся ему.

Как описать мне Иегуду, которого первым из нас назвали Маккавеем и которому это имя принадлежало по праву, а нам досталось с его плеча? Много воды утекло с тех пор, и как это ни странно, другие мне видятся яснее: Эльазар — плотно сбитый, с большим улыбающимся лицом, Ионатан — невысокий, гибкий, стройный, как девушка, и столь же блестящий и хитроумный, сколь Эльазар простодушен и правдив; или даже Рут — Рут я вижу такой, какой она была в те далекие дни: высокой, широкоскулой, с густой копной рыжих волос — и даже не рыжих, а словно пронизанных солнечным светом. Не так мне помнится Иегуда. Он присутствует в любом воспоминании, но нет воспоминания об одном Иегуде отдельно. Об этом я беседовал однажды с рабби — глубоким стариком, который много знал, лишь не знал, сколько ему лет, — так давно он жил на свете. И он мне ответил, что человеческой плоти и крови присуще зло, и если в них засветится добро, то кажется, будто это сам Бог сияет. Я про это не знаю, хотя мог бы кое-что возразить ему. Мне было бы легче описать вам Иегуду, будь он похож на других людей.

Но Иегуда не походил на других. Высокий и стат-

ный, выше всех нас, кроме меня, с волосами каштанового цвета, что нередко в нашем роду каханов,\* хотя чаще все-таки встречаются среди нас рыжеволосые, как я и Рут. Но ведь были и другие каханы, высокие и голубоглазые, и такие же красивые и статные, как Иегуда; однако у других людей, как сказал старый рабби, есть слабости, — а ведь именно слабости делают человека понятным.

Тогда мы жили в Модине — в деревушке по пути из города к морю, — не на большой дороге, что тянется через всю страну с юга на север, более древней, чем память людская, а на одной из узких, извилистых троп, из тех троп, что мимо сосен и кедров, сгибаемых ветром, бегут с холмов, пересекают долину и врезаются в широкую кайму леса, который тянется вдоль всего берега моря. От нашей деревушки до города — день ходьбы; в ее низких глинобитных домах жило около четырехсот душ. Это была самая обыкновенная деревня, таких тысячи по всей стране — какая побольше, какая поменьше, а в общем-то все они одинаковые.

Мы все — крестьяне, кроме жителей города, где я сейчас сижу и пишу, и в этом, как и еще во многом, наше отличие от других народов. Ибо другие народы, живущие в других краях, знают два, всего только два рода людей: хозяина и раба. Хозяева вместе с теми рабами, которые нужны, чтобы им прислуживать, живут в городах, окруженных стенами, а остальные рабы — среди полей, в убогих плетеных лачугах, неприметных, как муравейники. Когда хозяева затевают войну, они собирают наемное войско, и тогда, случается, рабы, живущие в грязных лачугах в деревне, получают новых хозяев — разница небольшая, так как вне городских стен люди живут, как животные, а то и хуже животных. Полуголые, они ковыряются в земле, чтобы накормить хозяев, не умеют ни читать, ни писать, живут без мечты и без надежды, рожают детей и умирают... Я говорю все это не

---

\* Кахан — священнослужитель.

от гордыни — я не горжусь тем, что мы не такие, как все, что мы, единственный из всех народов, не живем в городах, опоясанных стенами, — нет во мне гордыни, ибо как бы я мог, будь я исполнен гордыни, произносить слова: "Рабами были мы в Египте"? Я говорю это не от гордыни, но для того лишь, чтобы вы, неевреи, читающие эти строки, поняли, что мы за люди, — и все-таки еще остается так много, чего я объяснить не в силах.

Я могу лишь рассказать вам о моих прославленных братьях и уповать на то, что мой рассказ поможет хоть что-то понять. Я могу рассказать вам, что в Модиине было в те дни два ряда глинобитных домов, а между ними пролегалла улица от дома кузнеца Рувима (какие изумительные изделия он выковывал!) и до дома моэла\* Мелеха, отца девяти детей. С каждой стороны улицы было по двадцать домов; дома были старые, крепкие; зимой они стояли торжественно и хмуро, а весной и летом их убирала яркой жимолостью и розами, на подоконниках дымился свежеспеченный хлеб, и у двери сушился домашний сыр; осенью же стены украшались гирляндами из высушенных плодов, и дома выглядели, как девушки в ожерельях, нарядившиеся к празднику. По улицам сновали куры, козы, дети (как вы увидите, теперь это все изменилось), кормящие матери сидели у порогов и судачили, пока остывал хлеб, а мужчины работали в поле.

Мы, жители Модиина, были крестьянами, подобно жителям тысячи других деревень по всей стране, и деревня наша лежала, как самородок, среди виноградников, смоковниц и полей, на которых колосились ячмень и пшеница.

В целом свете нет такой богатой земли, как наша, но в целом свете нет и народа, который бы работал на своих полях как свободный народ. И поэтому не диво, что беседуя о многих вещах, мы в Модиине чаще всего говорили о свободе.

---

\* Моэл — человек, совершающий обряд обрезания.

Моим отцом был Мататьягу бен Иоханан бен Шимъон, адон;\* он всегда был адоном. В некоторых деревнях адоны меняются каждый год. Но в нашей деревне, насколько люди могли припомнить, адоном всегда был мой отец. Даже когда он проводил большую часть года в городе, служа в Храме — как я уже говорил, мы — каханы, из племени леви, потомки Аарона, — даже и тогда он оставался адоном в Модиине.

Мы это знали. Он был нашим отцом, но он был и адоном. И после того, как умерла наша мать — мне было тогда двенадцать лет, — он все меньше и меньше был нашим отцом и все больше адоном. Кажется, вскоре после смерти матери он, как обычно, отправился в Храм и впервые взял с собою нас пятых. У меня нет более ранних воспоминаний о Храме, о городе и его жителях, но до сих пор в моей памяти живы все подробности этого посещения Храма — и еще того, последнего, когда мы отправились туда вшестером несколько лет спустя.

Отец разбудил нас до рассвета и заставил подняться с тюфяков, хотя мы хныкали, протестовали и просили дать нам еще немного поспать. Наш отец был высокий, неулыбчивый, с хмурым взглядом человек; у него была рыжая с проседью борода и пугающе-сильные руки. Он был уже совсем одет — в длинных белых штанах, белой безрукавке и красивой бледногубой хламиде, перепоясанной шелковым шнуром, с широкими закатанными рукавами. Его длинные волосы, зачесанные назад, падали на спину чуть не до пояса, а никогда не стриженная борода лежала веером на груди. Ни разу в жизни не знал я и не видел человека, подобного моему отцу Мататьягу — в детстве я представлял себе Бога в облике отца. Мататьягу был адон, а Бог был Адонай, я их объединял в одном образе и, да простит мне Бог, я и теперь так делаю.

Сонные и взволнованные, напуганные предстоя-

---

\* Адон — господин; здесь — человек, пользующийся особым уважением и авторитетом.

щим путешествием, мы оделись и вышли на холод умыться, вернулись и наскоро проглотили горячую кашу, которую сварил Иоханан, причесались, завернулись в длинные полосатые шестяные плащи, как это сделал адон, и вышли следом за ним из дому — пять закутаных карликов и один великан. Деревня еще только пробуждалась, когда адон величественно прошагал по единственной улице, а мы гуськом шли за ним — первым Иоханан, затем я, Шимъон, за мной Иегуда, дальше Эльазар и наконец крошка Ионатан, уже задыхающийся от быстрой ходьбы, — ему было только восемь лет.

И так мы шли всю дорогу, я и братья, все тринадцать долгих, мучительных и горьких миль, то поднимаясь в гору, то спускаясь в долину, не отставая от адона до ворот священного города — единственного города, который мы, евреи, называем своим, — Иерусалима.

Как объяснить ощущение, которое испытывает еврей, когда он впервые видит Иерусалим? Другие народы живут в городах и смотрят вниз на окружающие деревни, — а мы живем в деревнях и смотрим на наш город. Даже и тогда, вы понимаете, мы были завоеванным народом, но не так, как позднее, когда евреев и все еврейское было решено стереть с лица земли навеки. Мы были просто под македонской пятой, в бесправии и бесславии, но нам, однако, дозволялось спокойно жить, пока мы сами не нарушали покоя. Мы не нужны были им как рабы, есть у них поговорка: "Сделай еврея рабом, и вскоре он станет твоим господином". Они зарились на наше добро: наше стекло, которое мы варили в печах на берегу Мертвого моря, нашу ливанскую замшу, нежную, как масло, и все-таки прочную, красную древесину нашего ароматного кедра, наши огромные сосуды с оливковым маслом, наши краски, наш папирус и наш пергамент, наше тонкое полотно и наши многократные урожаи, столь обильные, что никто не голодает даже в седьмой год, когда поля лежат под паром. Поэтому они облагали

нас податями, обирали нас и обдирали нас, но пока оставляли нам видимость покоя и свободы.

Так было в деревнях. В городе же все было иначе. И в тот день, когда еще мальчиком я вместе с моими братьями следом за отцом нашим, адоном, вошел в Иерусалим, я увидел первые признаки того, что называют эллинизацией. Город был подобен белой жемчужине — а может быть, теперь, много лет спустя, он вспоминается мне таким, — это был красивый, гордый, величественный город, его улицы поливали водой из огромных акведуков, доставлявших воду для Храма со времен, когда римляне и не мечтали о таких сооружениях; гордо вздымались к небу величавые башни, великолепной короной возвышался Храм. Но люди выглядели странно: гладко выбритые, с голыми ногами, как греки, и многие — обнаженные по пояс. Они насмешливо разглядывали нас.

— Это что, евреи? — спросил я отца.

— Это были евреи, — ответил отец достаточно громко, чтобы было слышно каждому за двадцать шагов, — а теперь это шваль.

И мы двинулись дальше — адон ступал тем же твердым, размеренным шагом, каким он начал свой путь из Модиина, а мы, дети, чуть не падая от усталости, тащились за ним. Мы поднимались все выше и выше, мимо красивых белых домов, мимо греческого стадиона, где голые евреи метали диск или состязались в беге, мимо харчевен, мимо курилен гашиша, сквозь возбуждающую, шумную толпу размалеванных женщин с одной обнаженной грудью, торговцев-бедуинов, сводников, шлюх, арабов пустыни, греков, сирийцев, египтян, финикийцев и, разумеется, сновавших всюду спесивых и развязных македонских наемников — людей всех рас, всех цветов, которых объединяло только то, что их дело было убивать. За это им платили, за это их кормили и для этого вооружали.

Нам, детям, город показался похожим на великолепный ковер; лишь много позднее мы стали различать подробности. Одна деталь была нам знакома — это наемники. Их мы знали и понимали. В остальном

— это была ошеломляющая картина того, что случилось в течение одного поколения с евреями, пожелавшими обратиться в греков и превратившими свой священный город в дом блуда.

И наконец, поднимаясь все выше, подошли мы к Храму и остановились, и адон произнес молитву. Левиты в белых одеждах, бородатые, как адон, поклонились ему и открыли тяжелые деревянные ворота.

— И ты возлюбишь Господа, Бога своего, — произнес адон глубоким, звучным голосом, — ибо рабами были мы у фараона в Египте, но Господь Бог вывел нас оттуда, дабы мы построили Храм во славу Его...

Нст, не о детстве своем я хочу вам рассказать, когда я, почти без определенной цели, погружаюсь в прошлое, желая собрать достаточно воспоминаний, чтобы понять самому, а может, и объяснить вам, почему еврей — это еврей. Благословляй или проклинай его, — но он еврей. Я хочу поведать вам не о детстве, которое всегда остается чем-то неподвластным чувству времени, но о краткой, столь горестно краткой поре зрелости моих прославленных братьев. Однако, как говорится, одно порождает другое. Ребенком впервые попал я в Храм, и потом приходил я снова и снова, — и наконец в последний раз пришел я туда зрелым мужчиной.

Если можно четко определить время наступления зрелости, — это пора, когда приходит конец иллюзиям. Позднее город предстал передо мною блудницей, а не волшебной громадой белых камней. Храм был всего лишь зданием, к тому же не очень красивым. А левиты в белых одеждах оказались совсем не помазанниками Бога, а грязным, трусливым сбродом. Зрелость не дается даром: утратив один мир, человек обретает другой, и ему приходится тщательно взвесить, чего этот новый мир стоит — пункт за пунктом, мера за мерой.

Одна только Рут не изменилась в моих глазах. Все то, что я думал о ней, и то, что я чувствовал к ней в двенадцать лет, я думал и чувствовал и в во-

семнадцать, и в двадцать восемь. Я уже говорил, что мы приходили в Храм снова и снова, и наконец были там в последний раз, но за это время произошло много событий. Мы росли, мы мужали, в нас бурлила кровь: мы, мальчики, убили человека. А рядом была Рут. Она была дочерью Моше бен Аарона бен Шимьона, маленького, простого, работающего винодела, который жил в соседнем доме и трудился на своем винограднике в девятнадцать рядов лоз на склоне холма. Как все виноделы, он был в своем роде философ; в каком-то смысле мы все — виноградари, народ сорека, как называют нас египтяне в своем рабовладельческом невежестве, завидуя тому, чего у них нет. Сорек — это черный виноград, крупный, как слива, мясистый и сочный. Весной он дает нам виноградный сок тирош, летом — вино, крепкий яин, а зимою он дает нам шехар — густой красный напиток, который дарует молодость старцам и мудрость глупцам. Римляне или греки называли бы этот напиток вином, но что они знают о драгоценном керухиме — этом жидком золоте Фригии, красном, как кровь, или о нежно-розовой шароне из Саронской равнины, или о вине киши из Эфиопии, сладком и прозрачном, как вода, или о винах алунтит и иномилин, или о стелющейся виноградной лозе роголите? В нашей такой маленькой деревушке Моше бен Аарон изготавливал в своих двух глубоких каменных чанах до тридцати двух сортов вина, и когда напиток получался особенно хорошим, он посылал Рут с кувшином к адону. И Рут стояла подле стола, приоткрыв рот, обратив со страхом и волнением голубые глаза на адона, пока он наливал себе первый бокал. Мы пятеро тоже молчали и неподвижно стояли, разделяя ее волнение, и глядели на нее и адона. Как у нас часто говорят, вино — это вторая кровь Израиля, священный напиток, пьют ли его в седер\* или же купаются в нем, как любил делать ткач Левел. И адон не отказывался от участия в церемонии, раз представился случай.

— От твоего отца, Моше бен Аарона бен Шимь-

---

\* Седер — пасхальная трапеза.

она бен Эноха? — спрашивал адон. Он гордился тем, что назубок знал по меньшей мере семь поколений предков каждого жителя Модиина.

Рут кивала. Позднее, уже через много лет, она мне призналась, какой страх и благоговение внушал ей адон.

— Из нового урожая?

Если случалось, что это была всего лишь медовая смесь или приправленный пряностями фруктовый напиток, Рут морщилась, как будто ей самой было совестно.

— На суд и на радость адона, — с трудом выдавливая каждое слово, говорила она обычно, пугливо оглядываясь на дверь.

Как она была прекрасна! Как она была красива! Рыжеволосая, с дивной золотистой кожей — и сердце готово было выпрыгнуть у меня из груди, и я мечтал о том дне, когда я перестану повиноваться адону и буду ее почитать и выполнять ее волю.

Затем адон тщательно мыл свой хрустальный бокал, который принадлежал еще его деду и деду его деда. Наливал вино, разглядывал его на свет, произносил молитву: "...боре при хагефен!" Затем он выпивал бокал до дна и выносил приговор.

— Передай мои поздравления Моше бен Аарону бен Шимъону бен Эноху бен Леви... — добавлял лишнего предка, если вино особенно нравилось ему, — доброе вино, благородное вино! Можешь сказать отцу, что лучшего вина не подавали к столу благословенного Давида бен Иессея.

И после этого Рут быстро убегала.

Но она всегда была с нами. Вместе с нами она плакала и страдала. Когда она и ее мать преодолели свой страх перед адоном, они стали готовить для нас, убирать наш дом и обшивать нас, как другие женщины в Модиине. Мы — народ, благословенный обильным потомством; но Моше бен Аарона обделил Господь, дав ему всего одного ребенка, да и то девочку. Пять сыновей Мататьягу заменили матери Рут детей, в которых ей было отказано. Для меня же Рут была

благословением. Я любил ее, и я никогда не любил другой женщины.

Так мы прожили наше бесконечно долгое детство под железной рукой и гордой властью нашего отца, адона, и вдруг детство оборвалось и кончилось навсегда. Когда мы поступали дурно, отец нас наказывал, как не наказывали никого из детей в деревне. И верьте мне, адон знал, как наказывать. Однажды, когда Иегуде было девять лет (он уже тогда отличался невыразимой красотой и достоинством, которые сохранились до конца его дней, и уже тогда все его обожали, и когда он шел по деревне, предлагали ему самые отборные лакомства, сладости, пироги), — так вот, в то время однажды Иегуда играл хрустальным бокалом отца и уронил его, и бокал разбился вдребезги.

Когда это случилось, в доме были лишь он да я. Адон пахал в поле вместе с Иохананом, Ионатан и Эльазар тоже куда-то ушли, не помню куда, — а на полу блестели осколки чудесного старинного хрустала, привезенного еще из Вавилона, когда наши предки вернулись из изгнания. Никогда не забуду, каким ужасом исказилось лицо Иегуды.

— Шимъон, Шимъон! — закричал он, — Шимъон, он меня убьет! Шимъон, что мне делать? Что делать?

— Перестань плакать!

Но он не мог перестать плакать. Он плакал, как будто не бокал, а его сердце было разбито. И когда адон пришел, я сказал ему, как мог спокойнее, что это сделал я. Только один раз адон ударил меня, и тогда я впервые узнал, какая могучая сила была в руке старика: удар отбросил меня через всю комнату к стене. А Иегуда, который должен был кому-то исповедаться, признался во все Рут, и она пришла, когда я отлеживался на солнце во дворе за домом, и наклонилась надо мной, поцеловала меня и прошептала:

— Ах, добрый Шимъон бен Мататьягу, добрый, милый Шимъон!

Не знаю, зачем я об этом пишу: ведь Иегуда тогда был еще ребенком, а я уже мужчиной (как мы понимаем зрелость), хотя по годам ненамного старше Иегуды; во всяком случае, в нашем детстве было не так много подобных событий, а в целом оно было мирным и приятным.

Мы лежали на склонах холмов и следили за козами, считали в небе курчавые облака и удили рыбу в холодных ручьях. Однажды дошли мы до большого проезжего тракта, который тянется с севера на юг, и, залегши в придорожном кустарнике, смотрели, как двадцать тысяч македонских наемников, блестя доспехами, гордо шествовали мимо нас на войну с египтянами, а когда они, крадучись, возвращались назад, подчиняясь властному приказу Рима, мы взобрались на горные кручи и швыряли в них камнями. А однажды мы все пятеро целое утро шли и шли на запад, пока с высокой скалы не увидели бесконечный, сверкающий простор моря, голубого и нежного Средиземного моря, и по его гладкой поверхности мелькал белым пятнышком далекий парус. И Ионатан тогда сказал:

— Когда-нибудь и я поеду туда, на запад...

— Как ты поедешь?

— На корабле.

— Где же это видано, чтобы у евреев были корабли?

— У финикийцев есть корабли, — задумчиво сказал Ионатан, — и у греков тоже. Мы можем их захватить.

Трое из нас засмеялись, но Иегуда не смеялся. Он стоял и смотрел на море; на его точеном лице только начал пробиваться рыжеватый пушок, а в глазах его было нечто, чего я никогда не замечал прежде.

Ионатан был меньше всех нас. Даже когда он достиг полного роста, он был юркий и быстрый, как gazель. Однажды он догнал дикую свинью, схватил ее и перерезал ей глотку. Иегуда в ярости ударил Ионатана по руке так, что тот выронил нож, и рука повис-

ла, как плеть. Когда Ионатан кинулся на Иегуду, я их разнял.

— Он убивает просто для того, чтобы убить! — в ярости крикнул Иегуда. — Даже когда мясо нечисто, и есть его никто не будет.

— Не смей бить своего брата! — сказал я медленно и строго.

Но я выхватываю эти события из прошлого, которое было счастливым временем. Мы пятеро всегда были вместе, пять сыновей Мататьягу, адона; сперва мы росли, как волчата, а потом мы вместе работали, строили, играли, смеялись, иногда плакали; и загорали под лучами золотого солнца нашей страны.

А затем мы убили человека. И кончилось наше долгое солнечное детство на древней-древней земле Израиля, в краю, текущем молоком и медом, в краю виноградников, смокоьниц и полей ячменя и пшеницы, в краю, где наш плуг время от времени выворачивал из земли кости кого-то из наших предков, в краю долин, где пахотный слой бездонен, и горных террас, на которых цветут сады чудеснее даже, чем были когда-то знаменитые висячие сады в Вавилоне. Пришел конец развлечениям, дикой бездушной беготне, нашим играм на деревенской улице, нашему досугу, когда мы часами лежали в пахучей траве, и нашим скучным занятиям с учителем Левелом, который постоянно ворчал:

— Вы что, хотите быть, как язычники, чтобы слово Божье раздавалось у вас в ушах, но вы никогда не могли бы разобрать его глазами?

Пришел конец блужданию по сосновым лесам и заснеженным горным пещерам и силкам для ловли куропаatok.

Мы пролили кровь — и кончилось это время, у которого не было начала, и короткая, геройская зрелость моих братьев началась. О ней-то я и хотел рассказать. И еще дать ответ на загадку моего народа, чтобы даже римлянин мог понять нас — единственный из всех народов земли, живущий не под защи-

той городских стен и без наемников, которые бы за него сражались, и без Бога, которого можно было бы увидеть воочию.

Вся холмистая страна от Модина до Бет-Эля и до Иерихона и триста двадцать деревень были под властью наместника, настоящего кровососа и вымогателя. Наместника звали Перикл, и в жилах его текло очень мало греческой крови. А тот, в ком мало или вовсе нет греческой крови, — это обычно злейший эллинизатор, ибо он жаждет прослыть большим греком, чем сами греки. Кроме того, у Перикла было немного еврейской крови, и чтобы искупить этот недостаток, он давил тяжелее обычного.

Все это происходило до того, как было решено, что земля наша станет еще лучше и мир выиграет, если евреев не будет вовсе. Дело Перикла было выжимать из нас все соки. С трехсот двадцати деревень он был обязан поставлять в казну Антиоха Эпифана — царя царей, как Антиох любил себя величать, — сто талантов серебра ежегодно. Это и так очень много для такой крохотной полоски земли, а Перикл захотел забирать себе по одному таланту на каждые два таланта, которые он поставлял царю. Для этого нужно было выжать из нас все соки, и Перикл выжимал, и каждый из четырехсот ублюдков-наемников, состоявших под его началом, выжимал еще кое-что для себя.

Перикл был огромный, толстый и сильный человек, розовая кожа висела складками на его чисто выбритом лице, и было в нем больше бабьего, чем мужского. И когда в кедровых зарослях нашли тело Ашера, четырехлетнего сына Рувима бен Гада, с выпущенными внутренностями, разнесся слух — не знаю, справедливо ли, — что это дело рук Перикла. Во всяком случае, он творил многое другое, о чем мы шептались, а однажды Ионатан рассказал о Перикле такое, о чем даже и вспоминать не следует.

На этот раз все началось с того, что, когда мы с Иегудой карабкались по склонам к небольшой долине, где Ионатан пас наших коз, мы вдруг услышали его крики.

Мы понеслись вперед сломя голову и через не-

сколько мгновений были в долине. Среди пасущихся коз Ионатан извивался в ручищах Перикла, а два сирийских наемника ухмылялись, развалившись на траве, небрежно бросив свое оружие.

Все произошло очень быстро. Увидев нас, Перикл отпустил Ионатана, отступил на шаг, и тогда Иегуда с ножом в руке бросился на него. На Перикле был медный нагрудник, но Иегуда нанес греку два сильных удара снизу, и я помню, как был я ошеломлен, увидев красную струю крови. Наемники, казалось, двигались с непонятной медлительностью, и не успел один из них встать, как я ударил его в челюсть камнем величиной с его голову. Второй потянулся за своим копьем, споткнулся, встал на ноги и бросился бежать. В это время появился Эльазар, он с первого взгляда понял, что происходит, и кинулся за наемником. Догнав его в десять прыжков, Эльазар обхватил одной рукой его шею, а другой, схватив за нагрудник, рывком перебросил через себя. Эльазару тогда было только шестнадцать лет, но он уже был выше и сильнее всех в Модиине. Сириец с воплем шлепнулся оземь, а Эльазар, схватив копье, пронзил наемника насквозь. Все было кончено. Другой наемник лежал с разможенной головой, серые мозги были разбрызганы по земле, а Перикл плавал в луже крови.

На поляне было трое мертвецов — и это мы их убили. Детство кончилось навсегда.

Мы нашли адона и брата Иоханана — они строили террасу. Так издревле мы работаем на земле. Мы строим вертикальную стенку на склоне холма, а потом насыпаем землю, принося ее снизу в корзинах. С одной стороны стенки мы выкладываем желоб и водосбор, чтобы в нем накапливалась дождевая вода, и такой участок на террасе дает до пяти урожаев в год. Старик и мой брат Иоханан работали там на солнцепеке, их длинные полотняные штаны были закатаны до колен и вымазаны, а спины лоснились от пота. Адон сильными ударами тяжелого каменного молота пригонял и подравнивал камни в стенке на склоне. Заметив нас, он выпрямился и опустил молот.

Ионатан все еще плакал. Иегуда был бледен, как полотно, а Эльазар снова превратился в мальчишку — напуганного мальчишку, который впервые в жизни убил человека, — непростительный и безусловный грех. Я рассказал адону обо всем.

— Ты уверен, что они мертвы? — медленно спросил адон, потирая рукоятку молота, и его длинная рыжая борода горела на голой груди.

— Они мертвы.

— Ионатан бен Мататьягу, — сказал адон, и Ионатан взглянул на отца. — Вытри слезы. Или ты девчонка, что размазываешь на себе слезы? Издох пес — так стоит ли из-за этого плакать? Где их трупы?

— Мы оставили их там, в долине, — ответил я.

— Оставили там? Ты дурак! Шимьон — ты дурак!

— Но кахан.... — начал я.

Я хотел напомнить отцу про закон, который запрещает кахану дотрагиваться до мертвеца, но отец уже ушел вперед, и мы последовали за ним. Когда мы пришли на поляну, где совершилось убийство, отец, не говоря ни слова, взвалил труп Перикла на плечи. Мы взяли два других трупа и следом за отцом понесли их назад, туда, где он и Иоханан строили террасу. Собственными руками отец снял с Перикла и с наемников доспехи и оружие.

— Возвращайся назад и следи за козами, — сказал он Ионатану, — вытри глаза.

Неожиданно он обнял Ионатана и прижал его к себе, укачивая, как ребенка, и поцеловал в лоб. Ионатан снова заплакал, и отец сказал неожиданно резко:

— Не смей плакать — слышишь? Никогда! Никогда!

Никто нас не видел. Мы незаметно сложили трупы у внутренней стороны только что построенной стенки, забросали их землей, а потом работали до позднего вечера, пока терраса не была закончена. Когда мы бросили на террасу последнюю корзину земли, адон сказал:

— Спите вечно, спите глубоким сном! Да прости Господь Бог еврея, пролившего кровь, и кахана, прикоснувшегося к трупу, и да вырвет Он из ваших сердец алчность, приведшую вас в нашу страну, и да освободит Он нашу землю от всякой мерзости, подобной вам!

И, повернувшись к нам, он добавил:

— Скажите: аминь!

— Аминь! — повторили мы.

— Аминь! — сказал адон.

Мы накинули плащи. Ионатан пришел с козами, и вместе с ними мы вернулись в Модиин. Иегуда нес доспехи и оружие, завернутые в листья и траву.

А вечером, после ужина, сидели мы за столом у единственного светильника, и адон говорил с нами. Со старомодной торжественностью обращался он ко всем по очереди, прибавляя к имени каждого из нас имена трех наших предков:

— К вам, сыновья мои, — к тебе, Иоханан бен Мататьягу бен Иоханан бен Шимьон, к тебе, Шимьон бен Мататьягу бен Иоханан бен Шимьон, к тебе, Иегуда бен Мататьягу бен Иоханан бен Шимьон, к тебе, Эльазар бен Мататьягу бен Иоханан бен Шимьон, к тебе, Ионатан бен Мататьягу бен Иоханан бен Шимьон, — к вам, пятеро сыновей моих, которые поддерживали меня в моем одиночестве и моей скорби, которые утешали меня в моей старости, которые испытывали тяжесть моей руки и силу моего гнева, — к вам обращаюсь, как равный среди вас, ибо для того, кто нарушил Господню заповедь, нет пути назад. Безгрешны были мы, теперь мы не безгрешны. Сказано: не убий, — мы же совершили убийство. Цену свободы, которая издревле платится кровью, мы взыскали, как Моше, и Иошея\* и Гидеон. Отныне мы будем просить не о прощении, а только о силе — только о силе.

Он замолчал, и вдруг стало ясно, что он уже стар — глубокие морщины избородили его лицо, в бледно-серых глазах застыла печаль; это был просто ста-

---

\* Моше, Иошеа — Моисей, Осия.

рый еврей, желающий лишь того, чего желают все евреи: мирно и спокойно жить на земле, в которой лежат их предки. Неуверенно и тревожно переводил он взгляд с одного лица на другое, и кто знает, какими он нас видел — длинное, скуластое, грустное лицо Иоханана, самого старшего; мои простые, почти уродливые черты; высокого, красивого Иегуду с чистой смуглой кожей, с каштановыми завитками бородки; широколицего, ребячливого, доброго Эльзара, сильного, как Шимшон\* и еще более простодушного, ждущего распоряжений от меня, или от Иегуды, или от Ионатана; Ионатана, такого маленького по сравнению с остальными. Адон был весь, как лезвие ножа — сдержанно-страстный, с безграничной жаждой какого-то неведомого служения. Пять сыновей, пять братьев...

— Возложите ваши руки на мои! — неожиданно приказал отец и положил на стол свои большие, сухие ладони, и мы положили на его руки свои руки, склонившись друг к другу. И я никогда не забуду, как мы, чуть не касаясь лбами, дышали друг другу в лицо.

— Заключите со мной договор, — продолжал отец почти просительным тоном. — С тех пор как Каин убил Авеля, между братьями бывали ненависть, и ревность, и раздоры. Заключите же со мной договор, что ваши руки всегда будут вместе и что вы будете готовы жизнь положить друг за друга.

— Аминь! Да будет так, — прошептали мы.

— Да будет так! — сказал адон.

Брат мой Иоханан женился. Я отлично помню, когда он женился, ибо то был последний день передышки — на следующий день приехал Апелл, чтобы стать наместником вместо Перикла. Иоханан женился на простой и красивой девушке по имени Сарра, дочери Мелеха бен Аарона, который делал младенцам обрезание и выращивал самые сладкие и крупные фиги

---

\* Шимшон — Самсон.

в Модиине. Сарру называли "самым сладким плодом отцовского сада", и столь велика была гордость Модиина, что восемь из двенадцати рабов деревни были на радостях отпущены на свободу задолго до истечения семилетнего срока, после которого они могли на это претендовать. В этот день ко всем жителям Модиина съехались родственники, некоторые приехали даже из Иерихона, — ибо, если на то пошло, разве найдется в Иудее человек, у которого нет где-нибудь родственников? Были заколоты сорок ягнят, и над ними хлопотали повара. Зелах\* наполнил своим запахом всю долину, и на каждом очаге дымилась горка с пряным, острым соусом меркаа. Зарезали множество цыплят, их распотрошили, начинили хлебом и мясом, вымоченным в трех сортах старого вина и жарили в общей печи. Я так живо об этом всем вспоминаю, потому что в тот день для меня завершилась целая жизнь. На столах, точно из рога изобилия, громоздились виноград, фиги, яблоки, огурцы, арбузы, капуста, репа. Высокими столбами были сложены золотистые краюхи свежеепеченного хлеба, плоские и золотистые, словно диски, в метании которых греки состязаются на своих стадионах, и в течение дня эти хлебные столбы становились все ниже и ниже, а хлеб обмакивали в ароматное оливковое масло и ели. Четырежды в тот день танцевали левиты, а девушки, еще не нашедшие мужей, играли на свирелях и пели: "Когда мой суженый придет? Когда придет смелый жених?" А затем, на лугу за околицей, сцепивши руки, кружились они в свадебном хороводе, и мужчины, притопывая, хлопали в такт в ладоши.

А после танца я нашел Рут. Я был на два года моложе Иоханана, и я знал, что я ей скажу. Я нашел ее во дворе в объятиях Иегуды.

Я, кажется, ищу и ищу, за что бы мне упрекнуть Иегуду, — его, который в глазах всех был всегда безупречен. Если кого и следует упрекать — за

---

\* Зелах — благовония.

нерешительность, робость и страх — так меня, а не Иегуду. Я, Шимъон, длиннорукий, широколицый, уродливый, в двадцать лет уже лысеющий, медлительный в движениях и почти столь же тугодумный — я, Шимъон, хорошо помнил, как мы возложили руки на руки друг друга, но никто из братьев не знал, что я — да простит мне Господь! — был полон такой ненависти, что ушел из Модина, от веселья и возлияний, от плясок и песен, и много часов бродил в уже наступившей тьме. И у меня возникла мысль — мысль, за которую нет прощения, — что я способен убить брата, собственную плоть и кровь. И наконец, в глубокой ночи, я вернулся назад. Около нашего дома стоял адон, и он спросил меня:

— Шимъон, где ты был?

— Гулял.

— Когда еврей гуляет один в такую ночь, значит нет мира в его сердце.

— Мира нет в моем сердце, Мататьягу, — ответил я горько, впервые в жизни назвав его по имени.

Он, казалось, не обратил на это внимания. Он стоял в лунном свете, почтенный старик, бородатый еврей, с головы до пят закутанный в белый плащ, черные полосы которого причудливо переплелись там, где он покрывал голову адона, и струились до самой земли. Отец, казалось, врос в эту землю, чуждый страстям и ненависти.

— Так! Ты теперь не юноша больше, а муж, достойный противостоять своему отцу.

— Не знаю, муж ли я. Я сомневаюсь в этом.

— Я не сомневаюсь в этом, Шимъон, — сказал отец.

Я попытался было пройти мимо него в дом, но он задержал меня своей железной рукой.

— Не входи в дом с ненавистью в сердце, — сказал он спокойно.

— Что ты знаешь о моей ненависти?

— Тебя я знаю, Шимъон. Я видел, как ты пришел в этот мир, видел, как ты сосал грудь своей матери. Я знаю тебя и знаю других братьев.

— К чорту других!

Последовало долгое молчание. Наконец адон проговорил голосом, дрожащим от горя:

— Так спроси меня теперь, сторож ли ты брату своему.

Я не мог выговорить ни слова. Я стоял беспомощно, и в душе моей была пустота, и вдруг адон сжал меня в объятиях и подержал так минуту. Затем я вошел в дом, а он остался у порога в свете луны.

Можно много объяснять — и не объяснить ничего. Ибо чем дальше я пишу это повествование о моих прославленных братьях, тем меньше, кажется, я понимаю. Единственное, что остается неизменным, неискаженным, незапятнанным, — это воспоминание о старике адоне, моем отце, как он стоит в свете луны на нашей древней-древней земле. Я вижу его ныне так же ясно, как видел в ту ночь, — этого старика, этого еврея, закутанного с головы до пят в широкий полосатый плащ, непохожего на других людей, повторяющего торжественно: "Рабами были мы у фараона в Египте, — и мы никогда не забудем, что рабами мы были в Египте". Твердя эти слова когда-то, давным-давно, наш народ — двенадцать его колен — усталый от скитаний и жаждующий покоя, вышел из пустыни и увидел лесистые холмы и плодородные долины.

Перикл был мертв, и к нам прислали Апелла. Перикл был волком, Апелл был одновременно и волком и свиньей. В Перикле текло мало греческой крови, в Апелле ее не было вовсе.

Вы, которые читаете эти строки, когда уже нет в живых ни меня, ни моих детей, ни детей моих детей, — вы должны понимать, о каких греках идет речь. Те, которых сейчас мы называем греками, — это не народ, не культура, не Афины, не золотая мечта, что хранится где-то в памяти нашей, не мечта о славе древней Эллады. В старинных греческих сказаниях говорится о прекрасном народе далеко на западе, чей

гений создал много такого, чего прежде не ведали люди. Есть ли человек в Иудее, который бы вырос, не зная, что каждый день он пользуется чем-то, что дали нам греки, — будь то ваза, или одежда, или орудие труда, или даже оборот речи?

Тех греков мы не знали — мы встречали лишь опьяненных властью ублюдков, хозяев Сирийской империи на севере, которые называли себя эллинами и пытались научить нас походить на себя, сделав учебником меч. И поэтому, “эллинизируя” нас, они несли нам не красоту и мудрость, но страх, жестокость и ненависть.

И конечным творением “эллинизма”, его красотою и гордостью был Апелл. В нем текла сирийская, финикийская, египетская и еще какая-то кровь. Он явился в Модиин через день после свадьбы Иоханана, покачиваясь на носилках, которые несли двадцать рабов. Впереди шествовали сорок наемников, и сорок наемников — позади; было сразу видно: Апелл сделал все, чтобы его не постигла участь Перикла.

Дойдя до середины деревни, где у нас торговые лотки, рабы опустили носилки, и в этот момент один из них подвернул ногу и упал. Апелл соскочил с носилок и огляделся вокруг. Он держал хлыстик, сплетенный из серебряной проволоки, и, увидев, что раб корчится на земле, подскочил к нему и хлестнул так, что рассек ему на спине кожу, словно ножом. Апелл был приземист, но очень подвижен; жирный, как борз, как будто несколько шаров поставили друг на друга, он смело выставлял напоказ свою безобразную наготу — одет был в изящную короткую юбочку и изящную короткую тунику, но каждый мог любоваться и тем немногим, что было под одеждой.

Все жители Модиина, все мужчины, женщины и дети высыпали взглянуть на нового нашего наместника. После того, как исчез Перикл, мы прожили две блаженные недели в безвластии, и никто не понимал, почему нас не тревожат. Но всем было ясно, что это счастливое время скоро кончится, как кончаются все радости на земле. И вот мы стояли и молча смотрели,

с какой жестокостью Апелл рассек хлыстом спину раба.

На нашем языке понятия "раб" и "слуга" выражаются одним и тем же словом. Никого нельзя держать в рабстве более семи лет. Так записано в нашем Законе еще в незапамятные времена, и это напоминает нам, что и сами мы были когда-то рабами в Египте. Именно поэтому мы были единственным народом, почти без рабов в этом мире, где на каждого свободного человека приходится так много невольников, где каждая община, каждый город зиждется на рабском труде, но лишь у нас одних нет невольничьих рынков. Нам запрещено строить помосты для торговли людьми, и Закон наш гласит, что если хозяин ударит раба, раб имеет право потребовать свободу немедленно. Но не то у культурных народов — и мы с любопытством смотрели, как наш новый наместник впервые проявляет себя.

Наемники оттеснили нас копьями назад и освободили широкий круг. Апелл с надменным видом прошелся взад и вперед и остановился в напыщенной позе: он прижал подбородок к шее, выпятил брюхо, широко раскорячил ноги и сцепил руки за спиной. Облизав языком губы, он заговорил по-арамейски визгливым голосом каплуна:

— Это что за деревня? Какая мерзкая дыра! Что за деревня?

Никто не ответил. Апелл вытащил расшитый носовой платок и деликатно провел им под носом.

— Евреи! — прошепелявил он. — Мне противен даже запах евреев, их вид, их дух. Мне противно, как они задирают нос, — эти грязные, патлатые скоты! Короче, повторяю, я терпеть не могу евреев! Ну, ты! — он ткнул жирным пальцем в Давида, двенадцатилетнего сына Моше бен Шимьона. — Так что же это за деревня?

— Модиин, — ответил мальчик.

— Кто тут адон? — рявкнул Апелл.

Мой отец выступил вперед и безмолвно стоял в гордом достоинстве, запахнувшись в свой полосатый

плащ, сложив руки, и его острое, как у ястреба, лицо было спокойно и бесстрастно.

— Так это ты адон? — раздраженно спросил Апелл. — Сотни вонючих деревень, и в каждой деревне такой вот староста, адон, и всюду он чуть ли не царь и бог! — в издевке Апелла звучали досадные нотки. — Ну, ты! Как тебя зовут? Небось, есть у тебя имя, а?

— Меня зовут Мататьягу бен Иоханан бен Шимьон, — ответил адон своим низким, но звучным голосом, который казался особенно глубоким после визга этого каплуна.

— Гляди-ка, три поколения предков! — хмыкнул Апелл. — Какого еврея ни возьми, будь он хоть вшивый нищий или раб, а туда же, тотчас выпалит тебе три, или шесть, или хоть двадцать поколений предков!

— В отличие от некоторых других людей, — спокойно сказал отец, — мы знаем, кто наши предки.

И тогда Апелл сделал шаг вперед и ударил отца по лицу.

Адон даже не пошевелился, но крик боли вырвался из уст толпы, и Иегуда, стоявший подле меня, рванулся вперед. Я схватил его за руку и удержал, а всех остальных остановили наведенные на них копья. В тот день мое знакомство с Апеллом еще только начиналось, но уже тогда я понял, как сильна та болезненная, извращенная жажда крови, которая побуждает столь многих наместников устраивать кровавую резню в еврейских деревнях.

— Я терпеть не могу наглости и терпеть не могу непокорства, — сказал Апелл. — Я наместник, и мой долг сделать так, чтобы вы, невежды, поняли и оценили ту благородную и свободную культуру, которая сделала греков лучшим народом. Едва ли когда-нибудь Запад сможет понять Восток, или Восток — Запад, но ради блага всего человечества надо бы попытаться. Это, конечно, нам недешево обойдется, но деньги мы найдем. Я не хочу быть жестоким правителем. Я справедлив, и справедливость будет моим законом. Однако наместник царя царей должен обес-

печить себе безопасность, иначе и быть не может. Перикл не вознесся в небо, не испарился в воздухе. Перикла убили, и это убийство не останется безнаказанным. Каждая деревня должна понести свою долю ответственности. Так будет по всей земле установлен закон и порядок, и так восторжествует спокойствие и мир.

Он помедлил и еще раз провел платком под носом и неожиданно крикнул:

— Ясон!

Командир наемников, грязный и потный под своими доспехами, выступил вперед.

— Любого из них! — прошепелявил Апелл.

Наместник прошелся вдоль толпы и остановился против Деборы, дочери учителя Левела. Это была восьмилетняя девочка, милая, веселая, шустрая, белолицая, с черными волосами, сплетенными сзади в две тугие косички. Одним быстрым, рассчитанным движением командир наемников выхватил меч и всадил его девочке в горло, и она беззвучно упала.

Никто не шелохнулся, раздался лишь вопль матери и сдавленный крик отца, но никто не сдвинулся с места. Всем было ясно, чего хотел бы Апелл. Затем в толпе произошло движение. Тогда Апелл снова опустился на носилки, и наемники, держа наготове мечи и копья, сгрудились вокруг него. Рабы подняли носилки, и Апелл покинул Модиин.

Вдогонку ему неслись вопли матери Деборы: она кричала все громче, и громче, и громче.

Страшно было видеть, как Левел у себя дома, рыдая, раскачивался над телом своей дочери — маленький человечек со сморщенным лицом, который так долго учил нас буквам алеф, и бет, и гимел. Он помогал себе на уроках розгой и так часто опускал ее на Эльазара, что тот даже смущенно ухмылялся, если за все утро ему не доставалось ни разу. Теперь этот маленький человечек, в котором не осталось ни следа его властности и достоинства, был совершенно подавлен горем. Он сидел среди своих сыновей, разо-

драв на себе одежду, посыпав волосы и бороду пеплом, раскачиваясь и причитая.

В другой комнате рыдала его жена, и вместе с нею плакали женщины.

— Адон будет здесь на минху,\* — сказал я.

— Господь оставил меня и оставил Израиль.

— Мы совершим службу.

— Разве это вернет мне дочь? Разве адон сможет вдохнуть в нее жизнь?

— На закате, Левел.

Что я еще мог ему сказать?

— Господь оставил меня...

Я вернулся домой. Мататьягу сидел за широким кедровым столом, который, сколько я себя помню, был сосредоточием жизни нашей семьи. Здесь, за столом, ели мы по утрам хлеб, а по вечерам пили парное молоко, здесь праздновали мы Пасху и кончали свой пост после Судного дня. Отец сидел, опустив голову на руки, по-прежнему завернувшись в свой длинный полосатый плащ. Эльазар и Ионатан приуныли у очага, а Иегуда шагал взад и вперед и стонал.

— Вот Шимъон, — сказал адон.

— И Шимъон знает, — крикнул Иегуда, повернувшись ко мне и потянув руки. — Есть ли кровь у меня на руках, или они чисты?

Я сел, налил себе молока из кувшина и разломил ломоть хлеба.

— Но ты удержал меня! — крикнул Иегуда, встав надо мною. — Когда этот пес ударил нашего отца, ты удержал меня! А когда девочку...

— Разве было бы лучше, если бы и ты погиб?

— Лучше умереть, сражаясь.

— Да, — кивнул я, продолжая есть, ибо я был очень голоден. — Их было восемьдесят солдат, вооруженных до зубов и в доспехах, а в Модиине менее мосьмидесяти мужчин, и ни копий, ни мечей и никаких доспехов, кроме тех, что мы сняли с наемников. Так что разговор с нами был бы недолог, а для них

---

\* Минха — предвечерняя молитва.

это была бы забава, и кровь залила бы всю деревню. У нас есть ножи, есть луки и стрелы, — я жевал хлеб и глотал молоко, и горечь переполняла меня, — но луки и стрелы закопаны в землю, ибо нас, которых не так давно называли народом лучников, теперь называют смертью, если у кого находят стрелу.

— Что ж, так мы и будем жить? — спросил Иегуда.

— Не знаю. Я, Шимъон бен Мататьягу, земледелец, крестьянин; я не провидец, не пророк, не рабби — я не знаю.

Положив руки на стол, Иегуда взглянул мне в глаза.

— Ты боишься?

— Мне случалось бояться. Мне было страшно сегодня. И еще не раз будет страшно.

— А когда-нибудь, — медленно, очень медленно проговорил Иегуда, и я начал понимать, что мой девятнадцатилетний брат не похож на других людей, — когда-нибудь я скажу тем, кто не боится: идите за мною! Что ты тогда ответишь?

— Хватит! — сказал адон. — Или вы всегда будете готовы вцепиться друг другу в глотки? Достаточно горя на нашей земле. Наши руки по локоть в крови. Идите же с закатом к Левелу и умоляйте его и Бога о прощении, как сделаю и я.

Я продолжал есть, а Иегуда все ходил взад и вперед. Неожиданно он остановился и, взглянув на адона, сказал:

— Отныне ни один человек не будет умолять о прощении!

Время идет, и благодатная наша земля под благодатным солнцем умеет залечивать раны. Однажды, вскоре после гибели Деборы, я как-то встретил Иегуду, который лежал в граве на склоне холма, пока овцы паслись поодаль. Он взглянул на меня снизу вверх и улыбнулся. Да, улыбнулся, я это ясно помню, ибо улыбку Иегуды, моего брата, нелегко забыть и еще труднее противиться ее обаянию.

— Посиди со мною, Шимъон, — сказал Иегуда, — будь мне и вправду братом.

Я сел рядом с ним.

— Я твой брат.

— Знаю, знаю; я тебя обидел, и не могу понять, чем. Всю жизнь я тебя обижал, Шимъон, — правда?

— Нет, неправда, — ответил я, сразу подпав под его влияние, ибо он, когда хочет, всегда располагает к себе любого.

— И все же, когда мне было плохо и надо было меня утешить, когда я плакал и надо было осушить мои слезы, когда я был голоден и надо было меня накормить, а шел не к адону, не к матери, которой нет на свете, и не к Иоханану, а к тебе, Шимъон, брат мой.

Я избегал смотреть на Иегуду, я не хотел на него смотреть, не хотел смотреть на его красивое, точечное лицо, словно высеченное из мрамора, я избегал взгляда его больших, ясных, голубых глаз.

— А когда мне было страшно, я шел к тебе, чтобы ты обнял и успокоил меня.

— Когда ты женишься на Рут? — спросил я.

— Когда-нибудь... Шимъон, как ты узнал? Но ведь ты все знаешь, правда? Когда-нибудь, когда жить станет легче...

— Жить не станет легче.

— Станет, Шимъон, поверь.

Некоторое время мы молча лежали в траве. Я смотрел в пространство, а Иегуда пристально вглядывался вдаль, туда, где змеились тропы, ведущие к морю. Потом он вдруг спросил:

— Как люди сражаются?

— Что?

— Как люди сражаются? Скажи мне, Шимъон. Я много раз задавал себе этот трудный вопрос, — задумчиво произнес Иегуда. — День и ночь я спрашиваю себя об этом, и только об этом. Как люди сражаются? Шимъон, почему ты не отвечаешь?

Он требовал ответа. Кто бы ты ни был — слуга его или друг, — ты не мог относиться к нему так, как к другим. Иегуда словно захватывал тебя, он привле-

кал к себе, и спокойные, но настойчивые слова его обретали силу принуждения.

— Как люди сражаются? — переспросил я. — Оружием... армиями...

— Армиями? — повторил Иегуда. — А армии состоят из наемников, из одних только наемников, из людей, которым платят. В мире есть три типа людей...

Иегуда повернулся на спину, раскинул руки и устремил взор в небо — в голубое небо Иудеи, на котором тут и там распластались тонкие кружева облаков, как новая кудель на прялке.

— Три типа людей, — тихо повторил Иегуда. — Это рабы, затем их хозяева, и наконец наемники, убивающие за плату. Эти убивают для Греции, Египта, Сирии, или даже для нового властелина на западе, для Рима. Ты слышал о римлянах, Шимъон? Для Рима. А Рим платит меньше, но дает им гражданство. Так или иначе, наемники всегда были. — Он помолчал. — Помнишь, мы как-то видели в детстве сирийских наемников, которые шли на Египет? Война между нохри\* — это всегда одно и то же. Церь нанимает себе десять, двадцать, или сорок тысяч наемников и идет на чужой город. Если властитель этого города сможет тоже нанять достаточно наемников, обе армии сойдутся где-нибудь в открытом поле и начинают рубить друг друга, пока одна из армий не одержит верх. Или же в городе запирают ворота, и тогда начинается осада. Война — это выгода и больше ничего. Но только... Шимъон, ты когда-нибудь задумывался над тем, почему мы через семь лет освобождаем своих рабов?

— Таков Закон, — ответил я. — Так было всегда. Потому что сами мы были когда-то рабами в Египте. Как можно об этом забыть?

— Так бы ответил адон, — улыбнулся Иегуда. — Но это же все было очень давно! А подумай — ведь на земле даже не три, а четыре типа людей: рабы, рабовладельцы, наемники и... и евреи.

---

\* Нохри — иноземец, иноверец, нееврей.

— Но у нас ведь тоже есть рабы, — сказал я.

— И мы освобождаем их, мы женимся на наших рабынях, они входят к нам в дом. А почему у нас нет наемников?

— Не знаю. Я никогда об этом не думал.

— У нас все-таки нет их! И когда начинается война, когда на нашу землю приходят сирийцы, или греки, или египтяне, мы берем ножи, луки, стрелы и идем им навстречу — нестройная толпа против обученных и вооруженных убийц, против безликих людей, которые родились для войны, воспитывались для войны и живут только войной. И они рубят нас в крошево, как могли бы сделать тогда в Модиине.

— Не может у нас быть наемников, — сказал я, подумав. — Ведь тот, кто набрал себе наемников, уже не может не воевать, иначе где ему взять деньги, чтобы расплатиться с ними? А мы сражаемся лишь для того, чтобы отстоять свою землю. Воюй мы так, как воюют нохри, как воюют чужеземцы — ради золота, ради новых рабов, — мы были бы точно такими же, как они.

— Я мог бы разорвать Апелла на части, — медленно проговорил Иегуда. — Он бы у меня треснул, как арбуз. Он и дня в своей жизни не трудился, у него и мускулов-то нет. После купания, небось, чтобы обтереть его, раб приподнимает ему член, если только есть что поднимать. И все-таки он приходит к нам, и с ним восемьдесят наемников, а за ними стоит армия в восемьдесят тысяч человек...

— Это верно.

— И он называет меня грязным евреем, и он бьет моего отца по лицу, и он перерезает горло маленькой девочке! И все это он проделывает в сотнях деревень, а я молчу.

— Это верно.

— Но это лишь до тех пор, пока не лопнет наше терпение. И тогда мы пойдем против них, но мы будем всего лишь жалкой толпой, и они нас всех пере-режут.

Что я мог сказать? Я лишь смотрел на своего

брата, который сумел взглянуть на мир так, как мне никогда не приходило в голову.

— У нас нет рабов, — мерным голосом продолжал Иегуда, — потому что тот, у кого рабы, должен иметь и наемников, чтобы держать своих рабов в узде. И ему нужно золото, чтобы платить наемникам, значит, ему всегда приходится воевать — ведь золота никогда не хватает, — пока не найдется кто-то сильнее его. Поэтому он должен построить города с высокими стенами, за которыми можно было бы укрыться от опасности. А у нас ничего такого нет — ни городов, ни рабов, ни золота, ни наемников.

— Да, у нас ничего такого нет, — согласился я.

— У нас есть лишь наша земля. Но должен же быть какой-то выход! Так воевать, чтобы нас не вырезали! Чтобы сама наша земля стала нашей городской стеной! Должен быть какой-то выход...

Однажды под утро я проснулся в то раннее пред-рассветное время, когда ночь уже на исходе, но день еще не забрезжил, — в тот час, который, как утверждают ученые люди, призван напомнить о поре, когда земля была пуста и безвидна, и дух Божий носился над бездной, и не было ни дня, ни ночи, ни месяцев, ни лет. Мы, как всегда, спали на полу большой и единственной комнаты нашего дома, на тюфяках — мои братья, я и адон, — и было нас теперь только пятеро, ибо Иоханан женился. Я проснулся, повернулся на бок и увидел, что адон стоит у окна черным силуэтом, а в руке у него меч Перикла, который он, видно, извлек из тайника под стропилами. Затаив дыхание, я смотрел на отца: он вытащил меч из ножен и держал его в руке. Держал не так, как человек держит вещь, с которой не знает, как обращаться. Время шло, а отец все стоял с обнаженным мечом, но я не ощущал ни тревоги, ни страха, мне было лишь до смерти любопытно, что у отца на уме — у этого старца, помышлявшего о том же, о чем помышляли все старцы, все почтенные старцы древней земли Израиля.

Адон приподнял меч, как бы определяя его вес и принаравливаясь к нему, чтобы сподручнее было обращаться с ним, когда придет время. Затем, бесшумно двигаясь, направился он к нише, где хранились у нас огромные глиняные кувшины с оливковым маслом. Он приподнял крышку одного из кувшинов и опустил туда меч, прямо в масло, и снова закрыл кувшин. Меч был в надежном месте и всегда под рукой.

Я перевернулся на другой бок и снова заснул.

Недели через две, может быть, меньше или больше, в Модиине появились три женщины. Они чуть не падали от усталости, полуголые, с растрепанными волосами и израненными ногами. Одна из них, совсем молодая, прижимала к груди трупик младенца, другая была постарше, третья — очень старая. Это было начало наплыва беженцев, который в следующие пять-шесть дней хлынул в Модиин и во все другие деревни нашей округи.

И все они рассказывали одну и ту же короткую и страшную повесть. Это были жители Иерусалима, горожане и горожанки. Многие из них уже почти позабыли о том, что они евреи. Они во всем походили на греков и старались вести себя более по-гречески, чем сами греки. Они восприняли греческие манеры и греческую культуру. Они давно уже брили бороды и не носили штанов из льняного полотна и полосатых плащей. Они носили туники и ходили с голыми ногами. Среди них было немало мужчин, которые дали подвернуть себя сложной и болезненной операции, чтобы уничтожить следы обрезания. Многие из этих людей говорили по-гречески и делали вид, что они не очень в ладах с арамейским языком или ивритом. И поэтому то, что с ними случилось, казалось им особенно чудовищным.

Антиох Эпифан, царь царей, который правил нашей землей из своей Антиохии, назначил нового наместника Иерусалима. Звали этого наместника Аполлоний, и был он для Иерусалима больше, чем был

Апелл для Модиина. Он явился в Иерусалим, и с ним явились не восемьдесят, а десять тысяч наемников; и до еврейских обычаев не было Аполлонию никакого дела. И вот в субботу приказал наместник своим наемникам пройти по улицам города и собрать с жителей свое жалованье с помощью мечей — и это в святой день Божий, в тот день, когда никакой еврей не поднимает руку в свою защиту. И с утра до вечера наемники убивали — убивали до тех пор, пока их руки не устали держать мечи. Они отрубали пальцы вместе с перстнями и руки вместе с браслетами. Они превратили весь город в бойню, и обезумевшие жители, которым удалось спастись, рассказывали нам о том, что кровь ручьями струилась по улицам. А затем наемники ворвались в Храм и зарезали свинью на жертвенном алтаре.

И отец мой спросил одного из людей, рассказавшего об этом:

— А где же был первосвященник Менелай?

— Он продан Аполлонию.

Мой отец и прежде ненавидел первосвященника Менелая, обрядившегося в греческую одежду и принявшего греческое имя; но этому отец просто не мог поверить.

— Ты лжешь! — сказал он.

— Бог мне свидетель! Аполлоний купил Менелая за три таланта, и Менелай сотворил молитву над кровью свиньи.

— Это правда, — сказали все остальные.

Отец вошел в наш дом. Он прошел к очагу, набрал горсть пепла и измазал им лицо, посыпал пеплом волосы. И слезы текли у него по щекам, и он молился за души усопших.

— Умойся и оденься, — сказал мне Иегуда. — Адон идет в Храм, и мы идем вместе с ним.

— Он что, спятил?

— Это ты его спроси. Таким, как сейчас, я его никогда не видел.

Я пошел к отцу, чтобы сказать ему: "Ты с ума

сошел! Или тебе не жаль ни своей, ни нашей жизни? Какая польза в том, чтобы лезть головой в львиное логово?"

Все это и многое другое я хотел ему сказать. Но, увидев его лицо, я ничего не сказал.

— Умойся, Шимъон, — мягко сказал мне отец, — и умасти себя маслом, ибо мы идем в Храм Божий.

Так, еще раз — в последний раз — Мататьягу и его пятеро сыновей отправились в Иерусалимский Храм. Как и прежде, мы шли друг за другом: старик адон впереди, за ним мой брат Иоханан, дальше я, Шимъон, за мной Иегуда, затем мой брат Эльзар и последним — Ионатан.

Но время было уже иное: теперь мы были мужчины. Даже Ионатан уже не был мальчиком. За несколько недель утратил он свою хрупкую нежность и стал твердым, суровым и стойким. Он больше не плакал. В то утро я, глядя на него, вспомнил, как он однажды солгал, и как его побил за это Иегуда. А теперь они оба были совсем другие. Скрытая заносчивость, затаенная заносчивость Иегуды, знающего свою покоряющую силу и свое обаяние, — эта смиренная заносчивость, худшая из всех, стала преобразаться в нечто иное — в целеустремленность, которую я тогда едва уловил в нем. Если когда-нибудь я и ненавидел Иегуду, если даже я его всегда ненавидел, то этой ненависти приходил конец. Годы перестали сказываться на Иегуде. Он был без возраста и таким он остался до самой смерти. Иоханан и Эльзар были просты и понятны, но понять Иегуду я был не в состоянии, а в Ионатане перемены лишь начинали сказываться, и ему еще предстояло меняться.

Мы шли и шли вперед по суровой земле. В деревнях, через которые мы проходили, у людей было мало радости, но им становилось еще тяжелее, когда мы говорили, куда мы идем. Иной раз люди, узнав отца, спрашивали его:

— Куда ты, адон?

И он отвечал:

— В святой Храм.

И все озабоченно покачивали головами.

Чем ближе подходили мы к городу, тем чаще на нашем пути попадались наемники. Мы видели, как они напивались в придорожных харчевнях. Мы видели их с женщинами — для наемников повсюду хватает женщин. И мы видели, как они маршируют в кортах.

И наконец мы пришли.

Адон еще дома разорвал на себе одежду и сотворил молитву за души усопших, и потому теперь он даже не изменился в лице и не убавил шага, когда мы вступили в разоренный, разрушенный, разграбленный город, который некогда был гордым Иерусалимом.

Город был не просто разрушен — он был разрушен варварски, издевательски, с особой глумливостью. Над стенами высились бесконечные ряды пик, на которые были насажены отрубленные головы евреев. Весь город был пропитан зловонием разлагающихся трупов, которые никто не убирал, на мостовых — огромные пятна запекшейся крови. На улицах валялись обломки табуретов, столов, кроватей, посуды — все это было выброшено из окон и с балконов. Повсюду торчали обугленные остовы сожженных домов, там и сям попадались отрубленная рука или нога, разлагающиеся и облепленные мухами. По городу бегали псы, и порою проходила мимо группа наемников, подозрительно косясь на нас, но не трогая. Если не считать их, то город был пуст.

И в этот день, как и в тот раз, когда мы впервые вошли в славный город Давида, мы поднимались по улице все вверх и вверх, пока не подошли к Храму. Храм все еще стоял, а за ним виднелась и Акра — огромная каменная крепость, построенная македонцами под казарму для своих войск. Акра не пострадала — скорее наоборот: ее укрепили добавочными стенами и опорами, и вокруг нее оживленно суетились солдаты. Но с Храмом расправились так же дико, как с городом. Величественные деревянные ворота сгорели, драгоценные украшения были содраны, отполирован-

ные стены размалеваны непристойными фаллическими символами и рисунками, изображавшими мужчин и женщин, совокупающихся с животными, — все это, чтобы мы могли лучше узнать, оценить и понять величие греческой цивилизации.

У ворот все еще стояли левиты, — по крайней мере, одеты они были, как левиты. Когда мы приблизились, они сделали движение, чтобы остановить нас, но, узнав Мататьягу и увидев его лицо, они отступили, и мы прошли мимо них.

Мы вошли в Святая Святых, внутреннюю обитель Бога, где обычно лежат священные хлеба и горят семисвечники. Там воняло, как на бойне. Алтарь был измазан кровью и свиная голова глазницами вперилась в нас. По одну сторону от алтаря стояла большая чаша с куском свинины, по другую, на полу, валялись свиные внутренности.

В дверях Мататьягу на мгновение остановился, затем вступил внутрь. И впервые в жизни я полностью осознал, что за человек отец мой, адон. Он сам был Храмом, и Храм — это был он. Евреи в Риме, или Александрии, или в Вавилоне обращаются в сторону Храма, когда они молятся; и все же Храм для них — это в лучшем случае только слово или же образ. Они живут и живут себе, и большинство из них умирает, так ни разу в жизни и не увидев Храма. Но было ли такое время, когда адон не видел Храма, не ходил в Храм, не молился в Храме? Он был каханом. Малейшая щербинка в стене Храма была шрамом на его теле. Так какими словами могу я выразить то, что он ощутил, увидев свиную голову на алтаре?

Но он не дрогнул. Он подошел к алтарю и стал там, в этой мерзости. Мы подошли следом, и Иегуда уже занес было руку, чтобы сбросить свиную голову. — Оставь! — сказал адон спокойно.

Иоханан вполголоса начал читать молитву по усопшим, но адон оборвал его:

— Замолчи! Разве можно здесь молиться за мертвых!?

Минуты проходили, а он все стоял спиной к

нам. Наконец он повернулся очень медленно, — и меня поразило, как бесстрастно было его лицо. Плащ его рапахнулся и чистый солнечный свет, пробиваясь сквозь неплотную крышу, играл на его светлой шелковой рубаше. Его борода и длинные волосы были почти совсем седые. Спокойно взглянул он на нас, переводя взгляд с одного лица на другое, как если бы он безмолвно, но уверенно искал чего-то, что должно быть найдено. И наконец он остановил свой взгляд на Иегуде.

— Сын мой, — сказал он мягко.

— Да, отец, — ответил Иегуда.

— Когда ты будешь чистить это место, чисти его хорошо.

— Да, отец, — прошептал Иегуда.

— Трижды помой его щелоком, как велит Закон. Трижды — золой. И трижды — холодным, чистым песком с Иордана.

— Да, отец, — еле слышно промолвил Иегуда, и в глазах его были слезы.

— И еще трижды холодной водой, чисто и тщательно.

— Да, отец.

Затем адон подошел к Иоханану и поцеловал его в губы. Затем он поцеловал меня, затем Иегуду, затем Эльазара, затем Ионатана. Потом он сказал:

— Больше нам здесь нечего делать. Идемте домой.

Мы пошли прочь от Храма, но у ворот адон помедлил, схватил за локоть одного из левитов, притянул к себе и спросил:

— Где ты живешь?

— В Акре, — отшатнувшись, ответил левит.

— Есть там и другие евреи?

— Да.

— Сколько?

— Тысячи две.

— Богатые люди? — спросил адон. — Люди, у которых есть собственность? Образованные люди?

— Да, образованные люди, — ответил левит.

— Островок западной культуры! — спокойно ска-

зал адон. — Клочок Афин на еврейской земле. Так, что ли?

Левит кивнул, не зная, как понять учтивость адона.

— Друзья царя царей?

— Да, — сказал левит, — друзья царя царей.

— Великолепно! Там, за толстыми стенами, они в безопасности: десять тысяч наемников защищают их от ярости неблаговоспитанного народа. И там же первосвященник Менелай?

— Да, да.

— Так передай Менелаю, что Мататьягу бен Иоханан бен Шимъон из Модина был здесь и любовался великолепием цивилизации; и скажи ему, что я привел сюда пятерых моих сыновей. Скажи ему, что когда-нибудь мы еще вернемся сюда.

И мы двинулись обратно в Модин.

## Часть вторая

### ЮНОША-МАККАВЕИ

Если ты не еврей, а, как принято у нас говорить, один из нохри — чужеземец, то как объяснить тебе, что мы, евреи, имеем в виду, когда произносим слово "Маккавей"?

Это старое-старое слово на языке народа, который так благоговейно относится к словам. Мы — народ Книги, народ Слова и народ Закона. А в самом законе написано: "Не должен ты иметь раба и держать его в невежестве". В мире очень немногие умеют читать и писать, а у нас даже простой водонос читает и пишет; слово для нас — это нечто, к чему не следует относиться пренебрежительно или бездумно. "Маккавей" — это старое-престарое слово, странное слово; и при этом перечтите хоть все пять книг Моисеевых и остальные творения древних времен, — вы не отыщите в них слова "Маккавей". Оно нигде не записано.

Такова суть этого слова: оно — не титул, который может себе присвоить человек, оно, как дар, которым награждает только народ. Во времена моего отца, и во времена его отца, и во времена его деда не было на нашей земле ни одного человека, которого бы нарекли Маккавеем. Но потолкуйте с учеными стариками о Гидеоне, и они назовут его не по имени — Гидеон бен Иоав, но почтительно и смиренно они будут называть его Маккавеем. Но много ли было таких, как Гидеон? Маккавеем не называют ни Давида, ни даже Моисея, который встречался лицом к лицу с Богом, но так называют Иехезкию бен Ахаза и еще, может быть, об одном или двух говорят: "Это были Маккавеи".

Это не такое слово, как, скажем, слова "мелех",\* или "адон", или даже "рабби", что означает "мой господин", но в странном и особо уважительном смысле,

---

\* Мелех — царь.

который нелегко объяснить. Маккавей — никому не господин, ему никто не слуга и не раб. Редко-редко, единожды за много поколений среди людей рождается человек, который — из них, и с ними, и живет ради них; и такого вот человека люди зовут Маккавеем, ибо любят его. Одни говорят, что сперва это слово звучало “макевет“, что означает “молот“, а другие утверждают, что некогда это слово означало “уничтожить“, ибо тот, кто носил имя Маккавей, уничтожал врагов своего народа. Но я знаю только, что слово это несхоже ни с одним словом нашего языка, — это почетное звание, которого удостоились очень немногие, — и я знаю очень немногих, кто достоин был бы носить это имя.

Рабби Рагеш сказал, что есть лишь один такой человек — и его-то он и нарек Маккавеем.

Мы вернулись из Иерусалима в Модиин, отгороженный от мира крутыми горными склонами, окружающими нашу долину. В горах любая долина — это оазис, где не слышно стонов тех, кто страдает; где время неспешно ползет, измеряемое рассветами и закатами, пятью урожаями, снимаемыми в год, вызреванием злаков и жатвами, уборочными днями, когда мы сеем хлеб и сажаем рассаду и когда мы убираем плоды. И все-таки что-то здесь изменилось, и каждый день был последним днем.

Как-то раз я вернулся с поля с мотыгой в руке, покрытый грязью и потом, босой, в закатанных до колен штанах. Я увидел, что адон вынимает меч из кувшина с оливковым маслом. Иегуда стоял у окна, одетый по-дорожному, как одеваются для трудного путешествия по холмам: в тяжелых, грубых сандалиях, в широком полосатом плаще, перехваченном толстым поясом. На столе лежала краюхи хлеба, изюм и сушеные фиги. Я поглядел на отца, потом на Иегуду, но никто из них не промолвил ни слова. Я подошел к рукомойнику, помылся, и пока я вытирал лицо, с заднего двора вошел Эльзар, держа в руках лук Иегуды, закопанный некогда за домом, и связку стрел.

— Вот, — сказал он, вручая все это Иегуде. — И еще раз прошу тебя: позволь мне пойти с тобой.

— Нет! — отрезал Иегуда.

Адон вытирал меч.

— Меч будет мешать тебе идти, сын мой, — сказал адон, — ты же не привык носить меч.

— Многому еще мне придется научиться, — ответил Иегуда. — Меч — это, наверно, не самое трудное. Принеси мне ножины, — обратился он к Эльазару.

— Куда ты идешь? — спросил я.

— Не знаю.

— Куда он идет? — спросил я отца.

Старик покачал головой. Иегуда снял тетиву, смотал ее в клубок и положил в сумку. Короткий лук и стрелы он спрятал под плащом.

— Отвечай! — сказал я сердито. — Я спросил, куда ты идешь.

— Я уже сказал, что не знаю.

— Кто же знает?

— Я иду в горы, — сказал Иегуда, помедлив. — Пройду по деревням. Потолкую с людьми и узнаю, что у них на уме.

— Зачем тебе это?

— Чтобы понять, чего от них можно ждать.

— И чего же, по-твоему, от них можно ждать?

— Не знаю. Поэтому-то я и иду.

Я сел на лавку у стола. Эльазар вернулся с ножнами, Иегуда взял, вложил в них меч и приладил под плащом. Он действовал как бы машинально, почти бессознательно, и это меня раздражало, и в то же время я не мог не восхищаться его величественным видом — ловко стянутым плащом, силой его плотного, крепко сбитого тела, его горделивой осанкой, его коротко стриженной каштановой бородкой и длинными волосами, ниспадавшими до плеч из-под круглой шапочки. Я наблюдал за ним и думал о том, что же он все-таки решил делать. А в это время вошел Ионатан вместе с Рут. Иегуда и Рут вместе вышли через заднюю дверь и вскоре вернулись.

— Я иду с тобой, — сказал я наконец.

— Я хочу пойти один, — ответил Иегуда.

Спорить с ним было бесполезно и невозможно: в нем было что-то, что сразу без споров отметало все возражения. Вошел Иоханан. Теперь мы все были вместе. Иегуда поцеловал всех и сделал мне знак выйти с ним вместе из дому.

Когда мы вышли, он несколько мгновений смотрел на меня, а затем обнял. Как всегда бывало в таких случаях, от моей горечи и досады не осталось и следа.

— Будь настороже, — сказал мне Иегуда.

— Настороже? Чего ты опасаться?

— Не знаю, Шимьон... Не знаю... Я стараюсь что-то увидеть во тьме. Береги их.

Дни тянулись, и каждый следующий день был хуже предыдущего — не намного, но хуже. В небольшой деревушке Гумад, всего лишь в часе ходьбы от Модина, наемники Апелла вырезали всю семью за то, что за стропилами в их доме нашли три стрелы. Главу семьи Вениамина бен Халева распяли. Это было у нас новостью, перенятой Антиохом, царем царей, на западе. Вениамин бен Халев был прибит гвоздями к двери своего дома и провисел так весь день, а наемники слонялись вокруг, прислушиваясь к его стонам, и довольно ухмылялись. Затем, через день или два, в Зоре — деревушке к югу от нас — изнасиловали трех девушек; житель деревни, который попытался вступить за них, был убит. В Галилее, в Самарии, в Финикии, где евреи жили в городах среди неевреев, было еще хуже, и рассказы, один другого ужаснее, о том, что творилось в тех краях, все чаще доходили до нас в Иудею. И все же, как это ни странно, жизнь в Модине шла своим чередом, почти как всегда. Мы снимали урожай; мы молотили пшеницу и сушили плоды; рождались дети и умирали старики; мы выжимали оливковое масло и по вечерам сидели за столом после ужина, вспоминая о лучших днях и ожидая еще худших. Мы пели наши старинные песни и слушали рассказы стариков.

Прошло четыре дня после ухода Иегуды, и в вечерний час дюжина жителей нашей деревни сидела за столом Мататьягу и пили вино, кололи орехи, ели изюм и говорили о том, что сейчас больше всего тревожило нас, — о том, как трудно жить под чужеземным игом. Мы — народ, которому выпало на долю слишком много страданий, — мы научились смеяться даже над своими бедами, без этого мы давно бы уже погибли. Помню, в тот вечер Шимьон бен Лазар рассказывал давно известную историю о трех мудрых шутах Антиоха — одну из тех горьких и страшных историй, каких так много в книгах поработанных народов, — но я не вслушивался в слова Шимьона бен Лазара, ибо во все глаза смотрел на Рут. Она сидела рядом со своей матерью, как всегда гордо и настороженно подняв голову, будто внимательно слушая (помоги мне Боже, я был уверен, что думает она об Иегуде). Огонек лампы бросал на нее косой свет, и лицо ее отливало бронзой. Как ясно я помню ее в тот вечер — наклон головы, тени под скулами, ее вьющиеся локоны, — женщину, которую я давно знал. Для кого еще существовала она, как не для Иегуды? Кто еще мог быть рядом с ней и выглядеть достойные ее, и лицом, и осанкой, и душою быть настоящим каханом?

И тогда-то снаружи заблеял козел, и я выскользнул из дома, полагая, что горный шакал забрался в загон для скота, — выскользнул незаметно, чтобы не помешать рассказчику. Я вышел, пересек двор и направился вверх по склону к каменной ограде загона. Оказалось, что это не козел: два барана сцепились рогами, и один из них вопил от боли. Я разнял их. Вечер был так свеж и приятен, и так ясно сияла круглая луна, что мне не хотелось возвращаться в дом. Я сел под оливковым деревом и смотрел на луну и вдыхал чистый ветерок с моря.

Как видно, прошло с полчаса, а я все сидел, и вдруг я услышал, как кто-то зовет:

— Шимьон! Шимьон!

— Кто зовет Шимьона? — спросил я, хотя уже

понял, кто это, и сердце мое чуть не выпрыгнуло из груди, и руки вдруг сделали липкими.

— "Безумец сидит в ночи, — сказала Рут, выходя из-за угла загона и повторяя слова старинной песенки, — и грезит о девчонке..." Тебе скучно, Шимьон?

— Я подумал, что в загон забрался шакал. Тебе нельзя сидеть тут со мной.

— Почему?

Она остановилась надо мной, лукаво улыбаясь и теребя пальцами босых ног ремешки моих сандалий.

— Почему мне нельзя посидеть тут с тобой, Шимьон, если ты пришел сюда, чтобы спасти козла от шакала? А если бы это был не шакал, а лев — вроде льва, которого встретил Давид?

— Уже триста лет как перевелись львы в Иудее, — сказал я тихо.

— А ты никогда не улыбаешься, правда? И ничто тебя не смешит, а, Шимьон бен Мататьягу? Ты самый несчастный человек в Модиине и, наверно, во всей Иудее, и даже во всем мире. Я бы отдала несколько лет жизни, чтобы у меня из-за спины вдруг выскочил лев и проглотил тебя.

— Едва ли это случится, — сказал я.

— Если ты расстелишь свой плащ, я бы охотно посидела тут с тобой, — засмеялась она.

Покачав головой, я разостлал на земле свой плащ, и она примостилась подле меня. Она явно ждала, чтобы я заговорил, а я не знал, что сказать, и мы сидели молча, а луна взбиралась все выше и выше на небо, и лунный свет заливал серебром холмы Иудеи. И наконец Рут сказала;

— Когда-то я нравилась тебе, Шимьон, — или мне это только казалось?

Я с изумлением уставился на нее.

— Или мне это только казалось, долго казалось, — размышляла она вслух. — Приходя в дом Мататьягу, я спрашивала себя: "А будет ли там Шимьон, и поглядит ли он на меня? Улыбнется ли он мне? Заговорит ли со мной? Возьмет ли меня за руку?"

Задыхаясь от гнева и обиды, я мог лишь сказать:

— А ведь всего четыре дня, как ушел Иегуда.

— Что? — с удивлением переспросила она.

— Ты же слышала, что я сказал.

— Шимьон, да что мне до Иегуды? Шимьон, что с тобой? Что я тебе сделала? Ты стал каменным, ледяным — и не только со мной, но и со своим отцом, и с Иегудой!

— Ты думаешь, это без причины?

— Я не знаю, что у тебя за причина, Шимьон.

— А когда ты вышла вместе с Иегудой перед тем как он ушел из дому...

— Я не люблю Иегуду, — устало сказала Рут.

— Он это знает?

— Он это знает.

Я беспомощно покачал головой.

— Он любит тебя, — сказал я. — Я это знаю. Я знаю Иегуду, я знаю каждое его движение, каждый взгляд, каждую мысль. Он всегда получал, что хотел. Я знаю это его проклятое, дьявольское смирение...

— Потому-то ты и ненавидишь его?

— Я вовсе не ненавижу его.

Она взяла мои руки, положила себе на колени и стала нежно их гладить, повторяя:

— Шимьон, Шимьон! Шимьон бен Мататьягу, Шимьон из Модиина. О, много у меня имен для тебя! Мой Шимьон, мой милый, мой чудной, мой прекрасный, мой мудрый и нелепый Шимьон! Да ведь это всегда был ты и никто другой, только ты, Шимьон! И я мечтала, что Шимьон, может быть, когда-нибудь полюбит меня — нет, даже не полюбит, а просто будет рядом со мной, будет иногда хоть глядеть на меня, хоть говорить со мной. И даже этого мне не дожидаться, а, Шимьон?

— А Иегуда любит тебя.

— Шимьон, ты что, всю жизнь будешь жить одним лишь Иегудой? Есть ли для тебя еще кто-нибудь на свете, кроме него, Ионатана и Эльазара, да еще Иоханана? Что у тебя за чувство вины перед ними? Иегуда обнял меня, и я его пожалела. Но я

ему не принадлежу. Никому я не принадлежу, Шимъон бен Мататьягу, я могу принадлежать только одному.

— Ты пожалела его? — прошептал я. — Ты пожалела Иегуду?

— Шимъон, да, я пожалела его, пойми!

— Нет, — сказал я, — нет...

Она сидела в лунном свете рядом со мной, и как я могу рассказать, чем была она для меня и какова она была в ту минуту? Я обнял ее, и мы укутались в мой плащ. Потом мы легли там, в темноте, под оливковым деревом...

А потом мы бродили ночью, взявшись за руки, карабкались по террасам — с одной на другую, пока наконец не взобрались на самую вершину холма, где гулял ветер и воздух был свежий и благоуханный — я, Шимъон, и эта женщина, которая согнала с меня страх перед будущим, перед смертью, бедствием и унынием. Она помогла мне понять, что я живу так, как никогда не жил прежде, что я, сын Мататьягу, молод, горд и силен, и во мне смешались слезы и смех.

— И я должна была добиваться твоей любви, — сказала она. — Я должна была умолять и просить, чтобы ты обнял меня.

— Нет, нет.

— Да, я должна была...

— Нет, нет, дорогая, потому что я помню. Я помню, как однажды я разбил колено, и ты мне промыла рану и перевязала ее, и я сказал себе, что ради тебя я готов покорить весь мир и принести его тебе.

— В Модиин?

— Да, в Модиин. А когда ты приходила к адону с вином...

— Как-то раз я его пролила.

— Я тогда очень огорчился. А когда ты заплакала, у меня все словно перевернулось внутри.

— А когда тебя ударил отец из-за того, что Иеуда разбил хрустальный бокал, я плакала о моем Шимъоне, о моем прекрасном, нежном, очень добром Шимъоне.

— Не вспоминай об этом.

— Почему? Почему, Шимъон? Шимъон, я тебя люблю. Тебя, мужчину. Когда-то я любила мальчика, а теперь я люблю мужчину.

А когда мы расстались, я мог думать лишь об одном: что я скажу Иегуде?

Я прожил четыре недели острого счастья. Все это скоро перестало быть тайной: в таком местечке, как наш Модин, где половина жителей друг с другом так или иначе в родстве, невозможно сберечь что-то в тайне, и каждому, кто видел, как Рут глядит на меня или я на нее, сразу все становилось ясно.

Трудно описать эти четыре недели, но я должен это сделать, чтобы вы поняли, что случилось потом со мною, Шимъоном, и с моими четырьмя братьями — особенно с тем из них, кого первого называли Маккавеем.

Мне сдается, что евреи — это чужие в нашем земном мире, чужеземцы, которым дано в нем прожить какое-то время, считая каждый свой день последним днем. Мы связаны между собой узами, которые крепче железа, и мы почитаем священным многое из того, что вовсе не свято для всех остальных народов. Но более всего для нас священна сама жизнь, и самым страшным преступлением мы считаем то, что у других народов в порядке вещей, — самоубийство; из-за того, что жизнь для нас так необъяснимо священна, наше отношение к любви почти молитвенное. И когда мы отдаем кому-нибудь сердце, мы отдаем его без остатка.

Так было с Рут и со мной. Мы стали одно целое. Не знаю, что в те дни думал адон. Я жил, и мое сердце пело свою собственную песню. Не знаю, осуждал ли он меня, зная — и я сам часто об этом думал, — что я наносу удар Иегуде.

Рут была моей, и весь мир был моим. Мы бродили по холмам и лежали в благоуханной траве под кедрами. Мы переходили босиком вброд через чистый ручеек Тувел и отдыхали, присматривая за пасущи-

мися козами. Это было безмятежное время. Урожай был собран, а сев еще не начинался, так что с работой, которая должна была на меня навалиться теперь, когда не было Иегуды, можно было еще повременить. Иоханан и Ионатан проводили много времени в синагоге — большом старом каменном здании, которое днем служило школой, по вечерам — местом сельских сходок, а на восходе и закате солнца — молитвенным домом. Иоханан и Ионатан корпели над старинными свитками, мне же, когда сияло солнце и пели птицы и мое сердце пело в ответ им, было не до ученой премудрости. Я был влюблен, и каждый час, который я проводил без Рут, казался мне бесконечным и мрачным.

Тогда-то мы по-настоящему узнали друг друга. Она побудила меня разобраться в себе, оценить свои поступки и осмыслить то подспудное и горькое, что стояло между мной и Иегудой. Как хорошо она меня знала, эта высокая и прекрасная женщина! И как мало я ее знал! Я помню, как однажды я заговорил с ней об Иегуде — больше я уже никогда не заговаривал о нем, — и она чуть не в ярости повернулась ко мне:

— Ты сказал, что ты знаешь Иегуду, но ты его не знаешь! И меня ты не знаешь! Я для тебя — словно неживой человек!

Я посмотрел на нее — длинноногую, высокогрудую, царственно величественную, — на нее, которая для меня была более живым человеком, чем кто-либо на свете.

— Что это у тебя, как в древности, что ли? — спросила она. — Тогда у мужчин было десять жен и десять наложниц, и если рождалась девочка, то ее имя даже не записывали в книги. Если у меня родится дочь...

— У тебя?

— Если у меня родится дочь, — сказала Рут, — будет ли она тебе дочерью?

— Если у тебя родится дочь, — сказал я.

— Шимьон, Шимьон! Чего ты боишься? Иегуда

прекрасный человек, великий человек, и ты — тоже. Я всегда это знала. Когда я приходила к вам в дом, я приходила в дом Мататьягу и его сыновей, и для меня не было другого такого дома. Шимъон, ты хочешь, чтобы я стала перед тобой на колени?

— Дорогая моя...

— Шимъон, когда ты хорошо поймешь меня, то больше не будешь бояться, я тебе обещаю. Ради тебя я буду сильной, Шимъон. Наступают трудные времена, я это знаю, и я знаю, где должны быть сыновья адона. Но ради тебя, Шимъон, я сумею быть сильной. У нас впереди еще долгая-долгая жизнь. И она еще будет такой же, как раньше, — и наступит на солнечной земле мир и покой.

Она любила нашу землю так, как любил я, как могут евреи любить землю и плоды земли. Чрево Рут не бесплодно, и я верил, что будут у нас дочери и сыновья, которые наследуют мне — и старое семя даст новые всходы.

И я сказал адону, что через месяц мы поженимся.

— Ты мужчина, — сказал адон, — и в том возрасте, когда люди могут жениться. Зачем ты говоришь мне об этом?

— Потому что ты мой отец, и я хочу твоего благословения.

— Но ты не спросил меня заранее.

— Мы любим друг друга.

— Где твой брат? — спросил адон.

— Разве это я отослал его прочь? Разве он сказал мне, куда отправляется? Неужели всю свою жизнь я должен слышать: "Где твой брат?" Всегда одно и то же: "Где твой брат?"

— В этом ли твоя жизнь? — спросил мрачно адон. — Твоя жизнь принадлежит Богу — не мне, не тебе самому, а Богу. Горе пришло на землю Израиля, а тебе ни до чего нет дела, кроме своего счастья?

— Это плохо?

— Ты говоришь о том, что хорошо и что плохо, Шимъон бен Мататьягу, или о том, что справедливо и что несправедливо? Или я взрастил тебя так дурно,

что ты уже не еврей, что Закон — это уже не священный договор для тебя? Или ты уже позабыл, что рабами были мы у фараона в Египте?

— Но это же было тысячу лет назад! — воскликнул я.

— А разве тысячу лет назад, — холодно возразил адон, — разве тысячу лет назад ты был в Храме и видел там то, что видел я?

Я рассказал все Рут.

— Он старый человек, Шимъон, — сказала она. — Чего ты от него хочешь? То, что он увидел в Храме, разбило ему сердце.

Она взглянула мне в глаза.

— Шимъон, Шимъон!

— Боже, помоги мне!

— Шимъон, ты любишь меня?

— Люблю, как не любил никого на свете.

— Все будет хорошо, Шимъон, вот увидишь!

Я стал редко бывать дома. Я проводил много времени у Моше бен Аарона, который любил меня с детства, и слушал его рассказы о том о сем. Это был дом Рут, и она была со мной, и там я всегда мог взять ее за руку и взглянуть ей в глаза. Моше бен Аарону довелось изрядно постранствовать по свету и немало повидать. Среди нас это бывает не часто, мы привязаны к своей земле и нас не влечет к торговле, как греков или финикийцев. Он бывал на больших винных базар в Гобале и в Тире, он добирался даже до Александрии, где люди охотно платят высокие цены за вино из Иудеи. На побережье Средиземного моря он видел рабов со странной, пурпурного цвета кожей и рыжеволосых наемников-германцев, которые служат в римских легионах, видел людей и с черной и коричневой кожей. Он любил рассказывать о своих скитаниях, и всегда он повторял:

— Шимъон бен Мататьягу, есть много земель, где стоит побывать, но все это приедается, ибо когда человек по горло сыт рабством и жестокосердием, он должен из мира нохри вернуться к себе. Иначе мир

начинает кружиться у него в глазах, как если бы Бог Авраама, Ицхака и Якова отворотил свой лик, и в мире осталась одна только алчность, жажда денег и еще денег, жажда власти и еще власти...

А с Рут я говорил о ребенке — о будущем нашем ребенке. О Деборе, если родиться девочка, или о Давиде, если родится мальчик. Как ни прекрасна всегда была Рут, теперь она стала еще прекраснее. Даже в нашей деревне, в Модиине, где люди знали ее с колыбели, где видели, как она росла и взрослела, — даже здесь ее почти не узнавали, и люди оборачивались ей вслед и восхищенно говорили:

— Это рыжеволосая царица древнего Израиля, царица из каханов былых времен!

А когда наши деревенские старцы встречали меня на улице неизменным "Шалом леха!,"\* они всегда добавляли:

— И да вырастишь ты семейство царей, волею Божьей!

А когда мы оставались с Рут наедине на склоне холма, она пела мне своим низким, звучным голосом старинную песню о любви:

О любовь! Ты сильна, словно смерть...

Половодье тебя не затопит

И твой жар не потушит поток,

Коль мужчина отдаст за любовь

Без остатка и сердце, и душу,

Если все за любовь он презрит.

Так это было, и так это кончилось. Это было уже так давно, и слезы мои истощились, как истощается всякое горе. Я уже говорил, что жить становилось все тяжелее и труднее — не сразу, но мало-помалу, так что за те две или три недели, что проходили между появлением в нашей деревне наместника Апелла или кого-то из его людей, мы успевали забыть, мы успевали снова втянуться в привычную жизнь. Модиину везло больше, чем другим деревням. Подати станови-

---

\* Шалом леха! — Мир тебе! (Иврит).

лись все тяжелее, нас оскорбляли все чаще, оскорбления становились все более унижительными, и однажды рабби Эноха засекли чуть не до смерти. Но все это еще можно было стерпеть. А затем, через пять недель после ухода Иегуды, в Модиин явился Апелл собственной персоной вместе с сотней наемников и приказал собрать всех жителей деревни на главной площади.

Станный человек был этот Апелл; он расцветал от собственной жестокости, как нормальные люди — от добра и любви. Он не просто был извращен — само извращение заменило в нем все человеческое. С тех пор, как его сделали наместником, он еще более потучнел и стал веселее — он производил впечатление удовлетворенного и жизнерадостного человека. Убивать евреев, наказывать евреев кнутом, мучить евреев, казалось, было для него так же необходимо, как для других — есть и пить. Явившись в Модиин, он бодро соскочил со своих носилок, откинул назад желтую накидку и оправил розовую юбочку. Он был явно счастлив, и, прежде чем объяснить нам цель своего посещения, он нам улыбнулся.

— Приятная деревушка этот Модиин, — прошепелявил он, — но слишком плодородная, слишком плодородная. Надо этим заняться. Эй, друг мой, адон! — позвал он.

Отец выступил вперед и стал перед народом. За последнее время он очень изменился. Борода его еще более побелела. Его серые глаза стали теперь еще светлее, и все его лицо избороздили глубокие морщины. Он уже не был так прям, как прежде, стал как будто ниже ростом, в нем чувствовалась какая-то слабость и усталость, которая все усиливалась с тех пор, как ушел Иегуда. Сейчас, запахнувшись в свой полосатый плащ, он молча и бесстрастно стоял перед Апеллом.

— Тебе будет приятно узнать, — сказал Апелл бодрым, радостным голосом, — что царь царей немало думает о евреях. На последнем заседании царского совета — и я горжусь тем, что принимал в нем

участие, — было решено ускорить и завершить эллинизацию провинции. Предполагается принять определенные меры, и их осуществление будет проведено в жизнь с уважением к закону и справедливости. Само собой разумеется, всякое непокорство будет наказано.

Апелл сделал глубокий вдох, наморщил нос и поправил у себя на плечах желтую накидку. Пошарив жирной рукой в рукаве другой руки, он извлек носовой платок и изящным движением вытер нос.

— Но никакого непокорства не будет! --- улыбнулся он. — Вы сами согласитесь, что гнусные суеверия вашей религии и то, что вы называете Законом, ставит непреодолимую преграду на пути цивилизации. Особенно раздражают греков ваши правила, касающиеся употребления пищи; вы обязаны перестать их соблюдать. Ваше умение читать и писать лишь усугубляет и углубляет мерзость еврейских обрядов; поэтому ваши школы будут закрыты. И поскольку основной источник ваших невежественных суеверий — это пятикнижие Моисея, то ее не будут более ни читать, ни произносить вслух. А для того, чтобы обеспечить выполнение этого последнего указа, мои люди сейчас войдут к вам в синагогу, возьмут все свитки и всенародно их сожгут. Таков приказ царя! — закончил он, еще раз взмахнув платком.

Рут стояла подле меня, и я до сих пор помню, как ее пальцы вдавились мне в запястье, когда Апелл кончил говорить. Но я смотрел на адона, я не отрывал от него глаз, и я знал, что где-то в толпе Эльзар, Ионатан и Иоханан тоже не отрывают глаз от адона, как и все остальные. Мы ждали, что он скажет, — конец это или нет. Но, как и в прошлый раз, адон даже не шелохнулся. Ни одним движением, ни одним взглядом не выдал он своих чувств. Прямо перед ним стоял наемник, наемники окружили толпу, и двадцать всадников зорко следили за толпой, натянув луки и придерживая пальцами стрелы у тетивы.

Мы молча стояли. Четверо наемников вошли в синагогу, сорвали занавесь, прикрывающую ковчег, и вынесли семнадцать свитков Закона. Как хорошо я

знал эти свитки! Как хорошо их знали все мужчины, и женщины, и дети в деревне! Я читал их с тех пор, как научился читать, я прикасался к ним губами, я водил пальцем по старинному пергаменту, разбирая начертанные черной тушью еврейские слова. Восемь из этих свитков были привезены из Вавилона сотни лет назад, когда евреи вернулись из своего долгого изгнания. Говорят, что три из них были времен царя Давида, а один даже принадлежал самому Давиду бен Иессею, и на нем были пометки, сделанные рукою самого Давида. С какой любовной заботой эти свитки хранились! Каждые семь лет их клали в новый, вышитый со всех сторон узорами, футляр из тончайшего шелка, сотканный столь мелкими стежками, что различить их не мог глаз человеческий. Как тщательно эти свитки оберегались от пожаров и других напастей! И вот теперь подлый слуга другого подлеца собрался их сжечь — во имя цивилизации.

Вопль ужаса пронесся в толпе, когда свитки были в беспорядке брошены на кучу соломы. Один из наемников вошел в ближайший дом и вернулся с кувшином оливкового масла; от отбил горлышко и вылил масло на свитки. Другой наемник отыскал где-то в очаге уголек, раздул его и зажег солому.

Апелл в носилках, несомых рабами, уже двинулся прочь — а люди все еще смотрели на адона. Я думаю, не будь мой отец таким человеком, каким он был, вся наша деревня была бы уничтожена до последней живой души. Не знаю, что ощущал он в эти минуты, — я могу лишь догадываться. Я следил за ним и видел, как все тело его напряглось и лишь слегка дрожало, но не настолько, чтобы заметили люди. Потом, я слышал, они говорили, что Мататьягу был каменный. Но он был не каменный, и сердце его обливалось кровью. Апелл и его наемники медленно удалялись. Всадники задержались, наблюдая с натянутыми луками за горящими свитками и за толпой. Грязные, сидели они на неухоженных лошадях, люди, которые никогда не мылись, никогда ни на что не надеялись, никогда ни о чем не мечтали, никогда никого не лю-

били. Грубые, невежественные люди, для которых обычным делом было убийство, а удовольствием — ночь с проституткой или порция гашиша, которые заменяло лишь беспробудное пьянство, скоты, потерявшие человеческий облик и ненавидевшие евреев, ибо они хорошо знали, что евреи никогда не возьмут их на службу.

Они сидели на своих лошадях и ждали. Один свиток откатился чуть в сторону и лежал, еще не охваченный огнем, хотя начинал уже обугливаться и желтеть по краям. Пока наемники ждали, один девятилетний мальчик — это был Рувим бен Иосеф, сын землепашца, — подбежал, юркий, как белка, схватил свиток и кинулся наутек.

Одна стрела вонзилась ему в бедро, и он упал, перекатившись, как брошенный камень. И тогда Рут — моя высокая, мужественная, чудесная Рут — в три прыжка подбежала к нему и схватила на руки. Наемники выпустили остальные стрелы и поскакали прочь. Я помню только, что я бежал за ними с ножом в руке, крича, как безумный, пока меня не догнал Эльзар: он сгреб меня в охапку и крепко держал до тех пор, пока нож не выпал у меня из руки.

Рут была мертва, но мальчик — жив. Она защитила его своим телом, и в нее, как в щит, вонзились все стрелы. Она, должно быть, недолго страдала: две стрелы пронзили ей сердце. Я знаю. Я вытащил эти стрелы. Я поднял ее на руки и отнес в дом ее отца. И всю ночь я сидел возле нее.

А наутро вернулся Иегуда.

Есть вещи, о которых я писать не могу, да они не так уж и важны для этой повести о моих прославленных братьях. Не могу я рассказать, что чувствовал я в ту ночь — это была ночь без конца, которая все-таки как-то кончилась. Люди ушли, и Моше бен Аарон и его жена, чуть не падавшие от усталости, уснули тяжелым сном, и я остался один. Наверно, я не спал, но впал в какое-то забытье. Я опустил голову на руки, уперев их локтями в стол, а затем я услышал

шаги, и поднял голову, и увидел, что уже светает и что в комнате стоит Иегуда.

Но это был не тот Иегуда, который ушел из Мо-диина пять недель тому назад. Что-то в нем было новое — я увидел это не сразу, но сразу почувствовал. Юношей Иегуда ушел из деревни, а вернулся мужчиной. Застенчивость исчезла, появилось смирение. В его каштановых волосах заблестели нитки седины, лоб прорезали морщины, а на одной щеке был свежий, еще не запекшийся шрам. Борода его была нестрижена, волосы --- растрепаны, и он еще не смыл с себя дорожной грязи и пыли. Все это было внешнее, но чувствовалось также что-то новое внутри у него, и внешняя перемена делала его старше и даже вроде бы выше ростом; теперь это был хмурый великан — не красивый своей прежней красотой, но какой-то по-новому прекрасный и величественный.

Мы долго смотрели друг на друга, и наконец Иегуда спросил:

— Где она, Шимъон?

Я подвел его к телу Рут и открыл ее лицо. Казалось, что она спит. Я опустил покрывало.

— Она не очень мучилась? — спросил он просто.

— Едва ли. Я вынул две стрелы у нее из сердца.

— Апелл?

— Да, Апелл.

— Ты, должно быть, очень любил ее, Шимъон, — сказал Иегуда.

— Она носила в чреве моего ребенка. Когда она умерла, во мне все исчезло — все желания.

— Ты еще будешь жить. Это дом смерти, Шимъон бен Мататьягу. Выйдем на солнце.

Иегуда направился к двери, и я пошел за ним. Мы вышли на деревенскую улицу. Деревня просыпалась, и в ней уже начиналась повседневная жизнь, которая, несмотря ни на что, все-таки идет своим чередом. Где-то смеялся ребенок. По пыли, хлопая крыльями, проковыляли три цыпленка. Из дома Мататьягу вышли Ионатан и Эльазар и подошли к нам.

— Где адон? — спросил Иегуда.

— Он пошел в синагогу с Иохананом и рабби Рагешем.

— Дай мне воды, — попросил Иегуда Ионатана.  
— Мне нужно умыться перед молитвой.

Ионатан принес ему воды и полотенце, и Иегуда тут же, перед домом Моше бен Аарона, умылся. Жители деревни, шедшие в синагогу, негромкими голосами здоровались с Иегудой, а женщины стояли у порогов своих домов, некоторые из них плакали, другие жалостливо глядели на нас.

— Пошли, — сказал Иегуда, и мы повернули в синагогу. Иегуда слегка отстал от братьев и обнял меня за плечи.

— Кто тебе рассказал про Рут? — спросил я.

— Адон.

— Все?

— Об остальном я могу догадаться, Шимъон. Шимъон, прошу тебя только об одном: когда настанет время, пусть Апелл будет мой, а не твой.

Мне было все равно. Рут умерла, и ничто не могло ее воскресить.

— Обещай мне, Шимъон.

— Как хочешь. Не все ли равно?

— Нет, не все равно. Сегодня кое-что закончилось и кое-что начинается.

Мы вошли в синагогу. Ковчег был поруган и пуст, никто не повесил сорванную занавесь. Наши жители столпились вокруг адона и кого-то еще; когда мы подошли, круг разомкнулся, и я увидел, что рядом с адоном стоит напряженившийся маленький, необыкновенно уродливый человечек, лет, наверно, пятидесяти, с острым, пронзительным взглядом.

— Рабби Рагеш, — сказал Иегуда, — это другой мой брат, Шимъон бен Мататьягу.

Рагеш повернулся ко мне. Это был чрезвычайно подвижный и настороженный человек, и в его маленьких голубых глазках, казалось, сверкало пламя. Он заключил обе мои руки в свои и сказал:

— Шалом! Я рад видеть сына Мататьягу. Да будешь ты защитой Израиля!

— Мир тебе! — ответил я безучастно.

— Сегодня черный день нашего черного года, — продолжал рабби. — Но пускай твое сердце, Шимъон бен Мататьягу, наполнится не отчаянием, а ненавистью.

”Ненавистью, — подумал я. — Мне преподана новая наука. Когда-то я знал любовь, надежду и мир, а теперь во мне только ненависть, и больше ничего“.

Рагеш был нашим гостем, и его попросили читать молитву. Было свежо, и люди неподвижно застыли, запахнувшись с головы до пят в полосатые плащи и закрыв лица, пока рабби читал:

— Шма Исраэль, Адонай Элокейну, Адонай эхад...\*

Я искал глазами Моше бен Аарона и нашел его. Взошло солнце, и в старую нашу синагогу хлынул поток света. Мы молились о мертвых. Но сам я тоже был мертв. Я жил, но я был мертв. К тому времени, когда молитва окончилась, в синагоге собралась уже вся деревня: и мужчины, и женщины, и дети.

— Чего требует Бог? — спросил рабби Рагеш тем же тоном, каким он читал молитву. — Он требует повиновения.

— Аминь, да будет так! — промолвили люди.

— Сопrotивление деспотизму — не есть ли это повиновение Богу? — негромко продолжал маленький незнакомец.

— Да будет так! — ответила толпа.

— А если ядовитый змей грозит укусить меня, я ли не раздавлю его пятою?

— Да будет так! — сказали люди, и послышалось всхлипывание женщин.

— А если змей грозит Израилью, мы ли не встанем на его защиту?

— Да будет так!

— Если нет человека, чтобы рассудить Израиль

---

\* Шма Исраэль, Адонай Элокейну, Адонай эхад — Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един. (Иврит).

с врагами его, поверит ли Израиль, что Господь оставил его?

— Да будет так!

— И найдется ли Маккавей у нашего народа?

— Аминь! — промолвили люди.

И Рагеш им ответил:

— Аминь! Да будет так!

Он прошел сквозь толпу и приблизился к Иегуде; он положил ему руки на плечи, притянул его к себе и поцеловал в губы.

— Скажи им, — обратился он к Иегуде.

Я уже говорил, что Иегуда вернулся иным: исчезла его застенчивость, появилось смирение. Он вышел вперед и остановился в лучах солнца, с широких плеч свисал просторный плащ, голова склонилась, и каштановая борода сверкала на солнце, словно в ней разгоралось пламя. Я перевел глаза с Иегуды на адона и увидел, что старик плачет, не стыдясь своих слез.

— Я прошел по земле, — начал Иегуда негромко, так что людям пришлось сгрудиться вокруг него, чтобы расслышать, — и увидел страдания народа. Везде было то же, что в Модиине; нет в Иудее счастья. Куда бы я ни приходил, я повсюду спрашивал людей: “Что вы собираетесь делать? Что вы намерены делать?”

Иегуда помедлил, и в мертвой тишине синагоги слышно было лишь рыдание матери Рут. И Иегуда продолжал более громко:

— Почему ты рыдаешь, мать моя? Или нам уже не осталось ничего, кроме слез? Я пришел сюда не для того, чтобы лить слезы. Я видел тысячи сильных евреев, но нашелся только один человек, знающий, что нам делать, — это рабби Рагеш, которого на всем юге люди зовут отцом. В деревне Дан он спросил народ: “Что лучше: умереть стоя или жить на коленях? Ведь вы, евреи, обязались не преклонять колени ни перед кем — даже перед Богом!” И когда появились наемники, рабби Рагеш увел людей в горы, и я ушел вместе с ними. Десять дней мы жили в пещерах. У нас были только ножи и несколько луков, и все же мы

были готовы сражаться. Но Филипп появился со своими наемниками в день субботний, и люди отказались сражаться, потому что это был святой день Божий, и наемники перерезали их всех. Но я сражался, и Рагеш сражался — и мы остались живы, чтобы сражаться снова. И я спрашиваю моего отца Мататьягу, адона: “Чего требует Бог? Дать себя зарезать или сражаться?”

Люди повернулись к адону. Адон взглянул на Иегуду и долго молчал: проходили минуты, и наконец адон сказал:

— День субботний священен, — но жизнь человеческая священнее.

— Слушайте, что говорит мой отец! — вскричал Иегуда звонким голосом.

Женщины еще рыдали. Но мужчины все повернулись к Иегуде и смотрели на него так, точно видели его впервые.

Как мне поведать, что я ощущал, чем я был и чем я стал, когда эта женщина, в которой были для меня все женщины мира, погибла? Как могу я рассказать об этом — я, Шимшон, сын Мататьягу? Писцы, которые отмечают такие вещи, записали, что я взял себе жену, — но это было потом, много позднее. А теперь во мне была одна только холодная ненависть. А вот в Иегуде было, кроме ненависти, еще что-то другое. Эльзар — добродушный великан, самый сильный и самый бесхитростный человек в Модиине — давно уже не был таким, как прежде; и Ионатан, еще почти мальчик, — и тот не был уже прежним. Даже Иоханан как-то странно преобразился, Иоханан — мягкий, кроткий, бесмятежный, почти святой. Он, который уже втянулся было в обыкновенные житейские заботы, в повседневную жизнь еврея: днем он работал в поле, приходил домой, умывался, ужинал со своей семьей и шел в синагогу, углублялся в свитки — священные свитки, благодаря которым мы стали народом Книги, народом Слова и народом слов, — свитки, в которых сказано:

“Как прекрасны шатры твои, о Яаков, жилища твои, о Израиль...”

Как сладостно и захватывающе звучит это: “шатры твои, о Яаков” и “жилища твои, о Израиль”! Мы любим мир. Недаром с незапамятных времен мы приветствуем друг друга словом “Шалом!”, что означает “мир”, и на это приветствие следует ответ: “Алей-хем шалом!”, то-есть “и вам мир!” Не знаю, как у других народов, а у нас, когда мы поднимаем кубки с вином, есть одна только здравица — “Лехаим!”, что означает “за жизнь”, ибо написано, что нет ничего священного, чем Мир, Жизнь и Справедливость.

Мы — мирный народ и терпеливый народ. И у нас долгая память, очень долгая. Мы навсегда запомнили, что рабами были мы в Египте. Мы не ищем славы в войне, и только у нас одних нет наемников. Но наше терпение не беспредельно.

Я должен рассказать, как возвратился Апелл и почему его имя также записано писцами в книги, дабы евреи никогда его не забыли. Но еще до того, как он возвратился, сыновья Мататьягу собрались под родною кровлей; нас было пятеро братьев и адон, и были еще рабби Рагеш и кузнец Рувим бен Тувал. Станный человек был кузнец Рувим — приземистый, коренастый и такой сильный, что мог согнуть руками железную кочергу, темнокожий, черноволосый, черноглазый, весь обросший с головы до пят жесткими завитками черных волос. Рувим происходил из древней семьи, из колена Вениамина, и еще за сотню лет до изгнания предки его занимались кузнечным ремеслом, орудуя молотом и мехами. А в то время, когда евреи томились в вавилонском плену, предки Рувима были среди тех, кто остались в Иудее, и в течение трех поколений они жили в пещарах, как звери. Рувим умел обращаться с любым металлом и, подобно многим еврейским кузнецам, он знал секрет силиката Мертвого моря — знал, как его смешивать и плавить и выдувать из него стекло. Он был не больно-то учен, и меня еще ребенком смешило, как он с трудом читал Тору. Как-то я

посмеялся над ним громко, и адон надрал мне уши, приговаривая:

— Прибереги свой смех для глупцов; оставь в покое человека, которому известны такие тайны мастерства, которые тебе и во сне не приснятся.

В этот вечер адон попросил кузнеца прийти. Не часто бывал Рувим в нашем доме. Его жена обычно скребла и терла его одежду так, что она сияла на нем белее горного снега. Он вошел к нам смущенно и робко, и когда адон пригласил его сесть с нами за стол, он покачал головой и ответил:

— Если позволит адон, я постою.

Мой отец, который понимал, как обходиться с каждым человеком, не настаивал, и кузнец продолжал стоять всю беседу. Этот неразговорчивый, непробиваемого спокойствия человек был полной противоположностью нервному, порывистому рабби Рагешу, который не мог минуты усидеть на месте, все время вскакивал, бегал по комнате взад и вперед, набрасывался на всех, подкрепляя свои слова ударами кулака по ладони другой руки. Он кричал:

— Восстание! Восстание! Восстание! Пусть это слово станет нашим кличем, пусть оно облетит всю страну, от севера и до юга, везде, где живут евреи! Восстать! Разбить угнетателей!

— А они разобьют нас, — спокойно сказал адон.

— Ах, как мне опротивели такие речи! — воскликнул в сердцах Рагеш.

— Моя кровь кипит так же, как и твоя, — холодно сказал отец. — Я стоял перед своими людьми, и Апелл ударил меня по лицу, а я стерпел и стоял неподвижно, иначе наша деревня не дожидая бы до следующего утра. И когда я пришел в Храм и увидел свиную голову на алтаре, я проглотил свою горе и свою ярость. Умереть легко, рабби! Но научи меня, как сражаться и выжить.

— Назад пути не будет, — сказал Иоханан, и его длинное лицо выражало скорбь и тревогу. — У нас не случится того, что случилось на юге, где кучка людей ушла в горы и там погибла. Вся страна встанет,

как один, если люди узнают, что адон Мататьягу бен Иоханан из Модина поднялся против греков. Но потом, когда к нам нагрянет войско в двадцать, или тридцать, или сто тысяч наемников, — кто останется тогда в Израиле, чтобы оплакать мертвых?

— Мы выстоим! — крикнул Рагеш. — Что думаешь ты, Шимъон?

Я покачал головой.

— Не меня спрашивать об этом. Мне сейчас милее умереть, чем жить. Но это будет такая же резня, как тогда, когда восставали наши отцы и наши деды. Наемника начинают воспитывать лет с шести. Он растет в военном лагере; днем и ночью его учат убивать. Только это он и умеет; и только для того он живет, чтобы носить на себе сорок фунтов доспехов и вооружения, чтобы сражаться в строю, в фалангах, прикрываясь щитом и орудуя боевым топором и мечом. А у нас — только ножи и луки. Что же до мечей и доспехов... Рувим, сколько человек ты мог бы вооружить здесь, в Модине, чтобы у каждого был меч, копье, щит и нагрудник — хотя бы только это, без наголенников, шлема и налокотников?

— Из железа? — спросил кузнец.

— Из железа.

Кузнец подумал, подсчитал что-то на пальцах и ответил:

— Если перековать лемехи плугов, серпы и мотыги, я мог бы сделать оружие человек для двадцати. Но это дело долгое, — вздохнул он. — А как мы соберем урожай, если мы перекуем плуги на мечи?

— И если бы даже, — продолжал я, — если бы даже Бог дал нам столько железа, сколько он дал когда-то манны, когда мы блуждали в пустыне, откуда нам взять так много людей? Где мы найдем в Израиле сто тысяч мужчин? А если и найдем, кто их будет кормить? Кто будет возделывать землю? Кто останется в деревнях? Даже будь у нас войско в сто тысяч человек, сколько еще лет надо учить этих людей сражаться?

— Мы умеем сражаться, — сказал Иегуда.

— Сражаться в фалангах?

— А кто сказал, что сражаться обязательно можно только в фалангах? Помнишь, что произошло два года назад, когда греки вышли своими ровными фалангами против римлян? Римляне метательными снарядами рассеяли фаланги в пух и прах. Когда-нибудь и наемники тоже научатся драться новым оружием. Но нам нужно не новое оружие — нам нужно по-новому воевать. Когда какой-нибудь царь посылал против нас своих наемников, какие же дураки мы были, что выходили против них в поле и гибли! Мы дрались чуть не кулаками против мечей. Это же не война, это просто убийство!

Адон с горящими глазами подался вперед.

— О чем ты думаешь, сын мой?

— О том, как люди сражаются. Целый год я думаю только об этом. Они сражаются за власть, за добычу, за золото, за рабов. А мы сражаемся за нашу землю. У них есть наемники и оружие. А у нас есть земля и свободные люди. Вот наше оружие: земля и наши люди; это наши доспехи и наше оружие. У нас есть ножи и луки — что нам еще нужно? Может быть, разве что копья — так один Рувим накует вам по сто наконечников в неделю, правда, Рувим?

— Наконечники? Да, — кивнул кузнец. — Наконечник — это не меч и не нагрудник.

— И мы будем драться по-нашему, и им тоже придется драться по-нашему, — воскликнул Иегуда. — Когда рабби Рагеш повел своих людей в пещеры — я этого еще не знал, рабби, — и люди пошли за ним, они просто пошли умирать. Нет, нам это не подходит! Слишком долго мы умирали — теперь настал их черед!

— Но как, Иегуда, как? — спросил Иоханан.

— Пусть они ищут нас! Пусть пошлют против нас свои войска! Войско не может карабкаться на кручи, как горные козлы, а мы можем! Пусть стрелы летят в них из-за каждой скалы, с каждого дерева! И камни пусть катятся на них с каждого обрыва! Мы не станем встречаться с ними лицом к лицу, не выйдем против них в поле, не попытаемся их остановить, но мы будем

повсюду нападать на них, чтобы они не знали покоя ни ночью, ни днем, чтобы они не могли спать ночью, опасаясь наших стрел, чтобы они не отваживались сунуться ни в одно узкое ущелье, чтобы вся Иудея стала для них ловушкой. Пусть их войска топчут наши поля — мы уйдем в горы. Пусть они пойдут в горы — там каждый камень будет против них. Пусть они ищут нас, а мы будем делать вылазки и снова исчезать, как туман. А если они появятся со своими отрядами на перевалах, мы рассечем эти отряды на части, как рассекают змею.

— А когда они придут в деревни? — спросил я.

— Деревни будут пусты. Что, они будут держать гарнизоны в тысячах пустых деревень в Иудее?

— А если они сожгут деревни?

— Мы будем жить в горах — если нужно, то в пещерах. И война станет нашей силой, как сейчас наша сила — земля.

— И надолго все это? — спросил Иоханан.

Рагеш воскликнул:

— Хоть навсегда! Хоть до дня страшного суда!

— Нет, это не навсегда, — сказал Иегуда.

И Эльзар, положив на стол свои огромные руки, нагнулся вперед, к Иегуде; он улыбался, и Ионатан тоже улыбался, и в улыбке его была не радость — нет, он улыбался чему-то, что он видел своим внутренним взором, и молодое лицо его, освещенное свечильником, сияло, и огонь горел в его глазах.

Я не мог уснуть и вышел в ночную тьму. На склоне холма кто-то стоял. Я подошел ближе и увидел, что это отец мой, адон; закутавшись в свой шерстяной плащ, он стоял и смотрел на спящую долину, озаренную луной.

— Привет, Шимъон, — сказал он мне. — Подойди, побудь со мной. Старикку легче, когда его сын рядом с ним.

Я подошел к нему, и он обнял меня за плечи.

— Чего ты здесь ждешь, отец? — спросил я.

Он пожал плечами и ответил:

— Может быть, ангела смерти, который так часто посещает нашу Иудею. Или, может быть, я просто хочу поглядеть еще раз на эти серебристые взгорья: ведь я же прилепился к ним сердцем, это древняя земля моих отцов. А ты приходишь сюда потому, что в тебе — горе и ненависть, и они, как нож, вонзились тебе в сердце. Поверишь ли, Шимьон, ведь когда-то я так же любил одну женщину, но она умерла от родов, и сердце мое затвердело, как горный валун, и я кричал Богу Израиля: “Будь Ты проклят! Ты подарил мне пять сыновей, а отнял ту единственную на свете, кого я люблю!” Но Бог справедлив, он кладет на одну чашу весов слова человека, а на другую — его горе; ибо подумай, как благословен я был в эти годы, годы моего увядания. Мои пятеро сыновей не обратились против меня, хоть был я суров и холоден с ними, и ни один из них не поднял руки на другого, — а ведь этого не мог сказать о своих сыновьях даже сам Яков, благославенна память его! Как же, Шимьон, твое сердце может обратиться в камень?

— А ты хочешь, чтобы я смеялся от радости? — спросил я.

Старик кивнул, и его длинная белая борода опустилась ему на грудь.

— Хочу, Шимьон. Мы здесь, на земле, живем всего только день. Давно ли Мататьягу целовал женщину вон под тем оливковым деревом? Я закрываю глаза, и мне сдается, что это было только вчера, и нам всего лишь мгновение дано пробыть на лоне древнего Израиля. Господь ждет не слез, но смеха, а мертвые спят спокойно. Живые должны радоваться — если не за это, так за что же еще нам сражаться, Шимьон? Что даст тебе силы сражаться, и уповать, и верить, если тебя влечет к мертвецам?

— Ненависть, — ответил я.

— Ненависть? Поверь мне, сын мой, ненависть — это не то, что может вдохновить еврея. Как написано в одном из свитков, которые они сожгли? “И провозвестишь свободу по всей земле всем живущим; и будет то прославление твое; и вернешь ты всякого к тому,

чем владеет он, и всякого к семье своей“. Иешаягу\* не призывает людей к ненависти, он учит их, что справедливость должна быть глубокой, как море, а право — словно могучий поток. Сбереги свою ненависть для врагов, сын мой, для своего же народа взлелей в своем сердце любовь и надежду; а иначе — отложи в сторону свой лук, прежде чем ты положишь на тетиву хоть одну стрелу. Взгляни, Шимьон, разве одному только Рагешу, этому неистовому маленькому человеку, Господь дал право решать, кто Маккавей? Лишь народ может кого-то из своих назвать Маккавеем и вознести его. Да, они пойдут за Иегудой, ибо он — как пламя; и я, его отец, говорю тебе, его брату, что никогда не рождался еще в земле Израиля такой человек, как Иегуда — да, даже сам Гидеон не сравнится с ним, да простит мне Господь. Но пожар разгорается — и кто может из пепла построить новую жизнь? Шимьон, Шимьон..

— Войдем в дом, — сказал я, ибо старик тяжело оперся на меня и слегда дрожал, — ночь такая холодная.

— Да, — ответил он, — и я, старый дурак, слишком уж разболтался, а сказал-то мало путного.

И, поддерживая адона, я повел его вниз по склону холма.

На другой день я пришел в дом Моше бен Аарона. Винодел стал похож на свои виноградины, выжатые досуха и уже ни на что не годные; а его жена сидела в углу, как тень, накинув на голову черное шерстяное покрывало.

— Входи, Шимьон, — сказал Моше бен Аарон, — входи, мой сын, сними обувь и побудь с нами. Может быть, хоть на миг нам почудится, что дочь наша снова здесь.

— Нет, не почудится, — безжизненным голосом отозвалась его жена.

— Выпей, сын Мататьягу, — сказал он, наливая мне вина. — Я словно опять посылаю ее в дом адона

---

\* Иешаягу — Исаия.

с кувшином вина из нового урожая. Пусть Мататьягу бен Йоханан отведает его и вынесет свое суждение... Шимъон, Шимъон, наш дом опустел.

— Почему ты все говоришь о ней? — спросила жена. — Пусть мертвые спят спокойно.

— Тише, женщина. Чем я нарушаю ее покой? Это тот человек, который ее любил, это Шимъон бен Мататьягу. О чем же еще мне с ним говорить? Когда она была ребенком, он играл с нею, а когда она стала женщиной, он держал ее в объятиях. О чем мне еще говорить с ним?

— Об Апелле, — сказала она.

— Да сторит он в аду! Его имя оскверняет мой язык!

— Об Апелле, — повторила она.

— Поговори с ней, Шимъон, — обратился он ко мне с мольбой в голосе. — Поговори с ней. Она отказывается от пищи и от вина, только сидит, как тень. Поговори с ней.

— Хватит с меня разговоров! — сказала мать Рут. — Что еще мне могут сказать сыновья адона? Я была им — как мать, но свое дитя у меня было только одно. Шимъон, что ты будешь делать, когда Апелл возвратится в Модиин?

Оба пристально смотрели на меня, и я кивнул. Я налил другой кубок вина и протянул ей.

— Выпей, мать моя. Время поминовения мертвых кончилось.

Она поднялась, взяла кубок и выпила его до дна.

За небольшой оградой, сложенной из обломков старинной каменной стены, древней, как мир, помещалась кузница Рувима. И сейчас, как в годы моего детства, здесь было излюбленное место ребятишек. Матери посылали их туда с прохудившимся котлом, а отцы — со сломанной мотыгой; и уже после починки дети чуть ли не до самого заката, затаив дыхание, следили, как широкоплечий, коренастый кузнец, у которого руки словно из того же железа, с которым он работал, покрытый копотью и гарью, машет гигантским молотом, а меха разверзаются, словно драконья пасть. Рувим

жил в мире жара и огненных искр, и мертвый металл оживал под его руками. Он любил детей и часто рассказывал им удивительные истории, каких больше никто рассказывать не умел. Помню, как-то пришел я к нему вместе с Рут, и помню, как она испуганно жалась ко мне, когда Рувим рассказывал нам о Каине с черными бровями и красными руками, который спустился в преисподнюю и там первым из людей увидел, как бесенята куют железо. Рассказ Рувима становился чем дальше, тем страшнее, и в конце концов Рут заплакалась.

— Не плачь, девочка, — сказал Рувим, сразу смягчившись и подняв ее в воздух своими волосатыми ручищами, — не плачь, золотая моя, не плачь, царица Израиля, чудесная моя!

Но она извивалась и царапалась, пока он ее не отпустил, и тогда она убежала и спряталась в нашем чулане, где я ее нашел и успокоил.

Когда я пришел в кузницу Рувима, там все было, как всегда: Рувима окружали дети, столпившиеся вокруг наковальни, он работал молотом, а Иегуда, голый по пояс, помогал ему, крепко зажав щипцами кусок железа.

— А вот и Шимьон! — сказал Рувим, не переставая ударять молотом: ух, ух, ух! — Ты тоже пришел учить меня моему ремеслу? Я работал с железом, когда вы оба еще ходили пешком под стол. А я поездил по белу свету и немало повидал, я ведь дважды был с Моше бен Аароном на севере в горах: я покупал железо там, где его добывают из земли. Рабы там ползают под землей, точно кроты, голые и слепые, и спят они ночью в загонах, как звери. Все это я видел собственными глазами в предгорьях Аарата — там, где после потопа пристал когда-то ковчег. Греки сгоняют туда рабов со всего света, чтобы те добывали им руду. А наконечники для копий у меня, видишь ли, получают не как надо — слишком короткие в черенке и слишком тяжелые в острие..

— Нужно, чтобы оружие служило человеку, а не человек — оружию, — сказал Иегуда.

— Ты только послушай, что он говорит, а, Шимьон

бен Мататьягу! — улыбнулся Рувим и трахнул с размаху молотом, так что искры веером разлетелись во круг. — Он говорит мне об оружии! Да еще когда ты грудь сосал, когда ты еще в пеленках лежал, я уже видел, как в Тир пришла римская когорта — в первый раз, понял? И я видел у них копья — шесть фунтов железа, а потом еще шесть фунтов дерева. Вот это, я вам скажу, оружие! Видел я и копья тех дикарей, что живут за Араратом: наконечник у них в форме листа, и длиной ступни в три. А еще я видел парфянское копьё, длинное и узкое, как змея, — опасная штука! — и сирийское копьё, черенок у него широкий вроде совка: как вонзится, так все в тебе разворотит! Есть еще такая греческая метательная штука, длиной четырнадцать ступней, ее поднимают 3—4 человека. Видел я и жалкие египетские копья с бронзовыми наконечниками, и бедуинские пики. Помню, римский капитан мне тогда в Тире сказал: “Ты кто такой?” А я ему: “Я еврей из Иудеи, кузнец, а зовут меня Рувим бен Тувал”. Я его языка не знал, а он по-нашему тоже не говорил, но мы нашли толмача. “Никогда, — говорит он, — не видел еврея”. — “А я, — говорю, — римлянина никогда не видел”. Тогда он мне и говорит: “Что, — говорит, — все евреи такие сильные и безобразные, как ты?” А я ему: “А что, все римляне такие же злые на язык и такие невежи, как ты? В руках у тебя, — говорю, — поганое оружие, а во рту поганый язык”. Я был молодой, Иегуда бен Мататьягу, и никого на свете не боялся. Так вот, римлянин взял тогда у одного из своих солдат метательное копьё, а по улице шел осел, его тянул на поводке какой-то парень. “Смотри, еврей!” — говорит римлянин, и как метнет копьё, одним движением он пронзил осла насквозь, да так, что железный наконечник вышел с другой стороны и торчал на добрых две ступни. “Вот, — говорит, — вот, еврей, какое у нас оружие! и хорошо платят, и много славы”. А парень кричит, убивается. Говорю тебе, я никого тогда не боялся. Я бросил парню серебряную монету, плюнул римлянину в лицо и пошел прочь. Он бы, небось, рад меня убить, да они там были, как-никак, чужие...

Дети обожали истории, которые рассказывал кузнец, и нисколько не задумывались, что в них — правда, а что — выдумка; они в восторге впивались в него глазами и ловили каждое слово.

Иегуда поднял щипцами наконечник копья — длинный, узкий, как тростинка, еще алый от жара.

— Закали-ка его! — велел кузнец.

Иегуда опустил наконечник в бадью с холодной водой. От бадьи поднялось облако пара и окутало махавшего молотом кузнеца.

— Чересчур хрупкий наконечник — сказал Рувим, — чересчур хрупкий! Доспехов он не пробьет.

— Но тело человека пробьет, — ответил Иегуда. — Мы найдем ему применение. Давай, Рувим, давай, делай такие наконечники!

И в месяце тишрей, когда свежее дыхание нового года повеяло над землею, возвратился Аpell. Так все имеет начало и конец — даже Модиин.

Иегуда не терял времени и все хорошо подготовил. День и ночь без устали он работал, строил планы, готовился, и день ото дня росла в кузнице грудa тонких, длинных копий. Обреченной деревней был Модиин. Мы выкопали из земли наши луки, сделали новые стрелы. Мы наточили ножи так, что они стали острыми, как бритва, и перековали лемеха плугов на копья. И уже не к кому-нибудь, а к Иегуде шли теперь из Модиина со своими заботами.

— У нас шестеро детей, Иегуда бен Мататьягу! Как нам запасти пищи для шестерых детей?

— А что делать с козами?

— А наши запасы взять с собой?

У учителя Левела была своя забота:

— Я мирный человек, я мирный человек, — повторял он, придя к адону, и в глазах его стояли слезы. — Ну куда сейчас податься мирному человеку в Израиле?

И тогда адон позвал Иегуду, который выслушал Левела и спросил:

— Будут ли наши дети расти, как дикари в пустыне?

— Нет, — сказал Левел.

— Вырастут ли из них евреи, не умеющие читать и писать?

Левел покачал головой.

— Так смирись сердцем, Левел.

Затем Иегуда сказал адону, что тех немногих рабов, которые были в Модиине, нужно отпустить на свободу.

— Почему? — спросил адон.

— Потому что только свободные люди могут сражаться, как свободные люди.

И адон сказал:

— Спроси у людей.

Так мы впервые собрали свой сход в долине. Из соседних деревень Гумада и Демы пришли люди, и синагога просто не вместила бы всех. И Иегуда, взобравшись на остаток старинной каменной стены, говорил:

— Пусть не идет за мной тот, кто робок душой! Пусть не идет за мной тот, кому его жена и дети дороже свободы! Мне не нужен тот, кто считает меру своего участия в борьбе! У нас есть лишь один путь, и кто пойдет этим путем, должен идти налегке. Мне не нужен ни раб, ни слуга — пусть он либо уходит, либо берет оружие в руки.

— Кто ты такой, чтобы так говорить? — спросили из толпы.

— Я еврей из Модиина, — ответил Иегуда. — Если еврею нельзя говорить... Что ж, я замолчу.

Была в нем необычайная простота, но он также прекрасно знал толпу. И стал он спускаться, но раздалась крики:

— Говори! Говори!

— Я не принес вам даров, — сказал Иегуда просто. — Я принес вам тревогу, и на руках моих кровь, и ваши руки тоже будут в крови, если вы пойдете за мною.

— Говори! — кричали ему из толпы.

И потом, когда из Гумада пришло двадцать вооруженных мужчин и искали Иегуду, они спрашивали в деревне:

— Где нам найти Маккавея?

И люди Модиина показали им на дом Мататьягу. Так было перед возвращением Ашелла.

Я говорил уже, что дорога, проходящая через нашу деревню, пересекает всю долину. Много чего сделал в деревне Иегуда, но наблюдение за дорогой я взял на себя: каждое утро я посылал кого-нибудь из наших деревенских парней в дозор на высокий утес над деревней, с которого видна дорога в обе стороны на много миль. С одной стороны эта дорога вела на восток — через соседние деревни, горы и долины к самому Иерусалиму, а с другой стороны, на западе, она ныряла в густой лес и через этот лес вела к Средиземному морю. Один день на дозоре стоял Ионатан, другой день — еще кто-нибудь. И с восхода до заката, сидя на утесе, наш дозорный вглядывался вдаль — не блеснут ли там на солнце начищенные доспехи, не засверкают ли пики. Я знал, что это случится, и случится скоро. В такой земле, как наша, ничего не сохранишь в тайне, и любая новость быстрее ветра облетает все долины и деревни.

У меня не было той абсолютной уверенности, как у Иегуды. В нашей деревне были люди сильные и слабые, бедные и богатые; легко было толковать за столом, как мы будем сражаться, но что в действительности произойдет, когда наступит решительный час? Эльзар с Ионатаном боготворили Иегуду; любое его слово, любое его желание было для них законом. Могу ли я отрицать, что меня охватывала зависть, когда я видел, как они слушают его, как смотрят на него. Иногда я чувствовал, что во мне просыпается былая ненависть, горечь, и спрашивал себя: “Почему он не такой, как другие?” Я чувствовал свою вину, ибо в глубине души я знал, что если бы Иегуда был в тот день в Модиине, Рут не погибла бы, — и меня раздражало в Иегуде даже то, что я не услышал от него ни слова укора, гнева или осуждения. И все же, когда Иоханан пришел ко мне за сочувствием, я напустился на него.

— И ты тоже за это? — спросил он.

Его жена ждала ребенка.

— За что я? — переспросил я.

— За войну, за смерть. В Писании сказано: “Живите в справедливости, живите в мире”. Но как только начинает говорить Иегуда, мы сразу же перестаем думать своей головой.

— А ты о чем думаешь, Иоханан? — спросил я.

— По крайней мере, так мы хоть останемся живы.

— А жизнь тебе очень дорога? — закричал я. — Разве это хорошая жизнь, счастливая жизнь, радостная жизнь?

Я осекся. Не уподобляюсь ли я уже адону? Кто он — мой брат или чужой человек? И все же, даже сам того не желая, я нашел самый жестокий укор, какой мне только мог прийти в голову:

— Сын ли ты Мататьягу, или выродок? Еврей ли ты?

Это было, как удар кнута, и Иоханан весь сжался. Нет, это было хуже, чем удар кнута, ибо он был святой человек, он ни разу в жизни ни на кого не повысил голоса, он принимал волю Божью и на все отвечал покорным еврейским “Аминь, да будет так!” Он поглядел на меня, опустил голову и пошел прочь.

А затем возвратился Апелл.

Утром тринадцатилетний Натан бен Барух сбежал быстрее оленя с утеса, крича во весь голос:

— Шимъон! Шимъон!

Его сразу же услышала вся деревня, и, когда я вышел из дому, мне пришлось проталкиваться сквозь густую толпу, чтобы поговорить с мальчиком.

— Откуда?

— С запада.

— Далеко?

— Мили две или три примерно. Я следил, не блеснет ли где железо, как ты мне велел, а потом увидел людей...

— У нас еще есть время, — сказал Иегуда, успокаивая толпу. — Ступайте по домам, заложите засовами двери, закройте ставни и ждите.

У него был маленький серебряный свисток, который Рувим сделал специально для него.

— Когда я вас позову, выходите: у кого есть копьё — с копьём, остальные — с луками. Следите, чтобы хорошо класть стрелу на тетиву, и старайтесь целиться метко.

— А как же люди из Гумада?

— Слишком поздно, — сказал Иегуда. — Придется справиться самим.

— Мы могли бы уйти в горы, — предложил кто-то.

— Мы могли бы стать на колени перед Апеллом. Ступайте по домам — и кто боится, пусть остается там.

Все сделали, как он сказал. Двери затворились, и деревня сразу же словно вымерла. Адон, рабби Рагеш, Иегуда, Эльзар и я стояли на площади и ждали. У меня был за поясом нож, а Иегуда спрятал под плащом длинный обоюдоострый меч Перикла. Потом из дома выбежал Ионатан и стал рядом с нами. Я хотел было послать его назад, но Иегуда взглянул на меня и кивнул — и я промолчал. Через минуту к нам подошел Иоханан и Рувим бен Тувал. Кузнец был в плаще, под которым прятал свой молот. Итак, нас было восемь. Придвинувшись друг к другу, мы стояли и ждали. А затем мы услышали бой барабана и лязганье брони — появились наемники: сначала строй в двадцать человек, за ними Апелл на носилках, а затем еще шестьдесят человек, по двадцать в ряд. Всадников на этот раз, к нашему облегчению, не было, но зато среди наемников шагал еврей — это был левит в белой одежде, и я сразу же узнал в нем одного из служителей Иерусалимского Храма.

Рабы опустили носилки, и Апелл спрыгнул с них, комически великолепный в своем вышитом золотом плаще и короткой красной юбочке. Я отлично помню, как он стоял на деревенской площади в то прохладное, какое часто бывает осенью в Иудее, утро — апостол цивилизации, тщательно завитой и причесанный, с накрашенными губками и чисто выбритыми розовыми щечками; под подбородком у него красовался золотой нагрудник. Грудь каплуна выгнулась колесом под плащом, толстый зад выпирал из обтягивающей юбочки, а маленькие ножки были втиснуты в серебряные сандалии, и ремешки от сандалий стягивали толстые икры.

— Адон Мататьягу, — приветствовал он нас, — благородный властитель благородного народа!

Отец кивнул, но не промолвил ни слова.

— И так-то меня принимают? — прошепелявил Апелл. — Восемь человек — разве этого достаточно, чтобы встретить наместника?

— Все люди у себя дома.

— У себя в свинарниках, — улыбнулся Апелл.

— Мы позовем их, если желаешь, — сказал адон спокойно и почтительно.

— Конечно, конечно! — подтвердил Апелл. — У меня сейчас как раз настроение встретиться с вами. Все надо делать культурно. Ясон! — закричал он, махнув рукой в сторону левита.

Левит нетвердым шагом подошел к Апеллу. Он был явно напуган. Лицо у него было белое, как его одежда, а его жидкая бороденка и редкие усы заметно дрожали.

— Добро пожаловать в Модиин, Иосеф бен Шмуэль, в нашу бедную деревню, — учтиво сказал отец.

— Шалом, — прошептал левит.

— Старинное приветствие, доброе приветствие! — сказал адон. — Мир тебе, Иосеф бен Шмуэль. Мы польщены визитом старейшины левитов.

— Он здесь для того, — улыбаясь, прошепелявил Апелл, — чтобы совершить жертвоприношение. Великий царь так сказал своему недостойному наместнику: “Сердце болит, когда я размышляю об этих темных людях и их прискорбных суевериях. Народ, у которого незримый бог, — это скрытный и злокозненный народ”. Так сказал царь царей мне, недостойному наместнику, и что мог я сделать, как не повиноваться его воле? Но я привел сюда доброго Ясона, левита, чтобы он совершил обряд и принес жертву так, как положено по вашему закону.

Апелл хлопнул в свои пухлые ладошки, и двое наемников вынесли и поставили перед нами на землю бронзовый алтарь. Это была изящная вещь высотой, наверно, ступни четыре, и был он украшен статуэткой Афины.

— Афина Паллада, — сказал Апелл, суетясь во-

круг алтаря. — Это я выбрал ее — богиню мудрости. Сначала приходит знание, а следом за ней — цивилизация. Не так ли? Сначала Афина, а потом Зевс и быстроногий Гермес. Полноценный человек — это многосторонний человек, не правда ли? Зажги огонь на алтаре, Ясон, и воскури фимиам, — и тогда мы вызовем людей: пусть они полюбуются, как адон воздаст почести этой благородной госпоже.

— Да, зажги огонь на алтаре, Иосеф бен Шмуэль, — сказал адон. — Сначала Афина Паллада, а потом Зевс и быстроногий Гермес. Зажги огонь на алтаре, Иосеф бен Шмуэль.

Глядя на адона, не отрывая от него глаз, левит приблизился к алтарю. Быстрым движением отец протянул свою длинную руку, схватил еврея и молниеносно, так что я едва успел уследить за этим движением, выхватил нож и всадил ему в сердце.

— Вот твоя жертва, Апелл! — крикнул он, отшвыривая мертвого левита прямо к алтарю. — Жертва богине мудрости!

Пронзительный свист Иегуды прорезал утренний воздух. Двое наемников, которые принесли алтарь, вскинули копья и двинулись на нас, но Эльзар поднял алтарь и швырнул в них, сбив обоих с ног. Апелл бросился бежать, но Иегуда ринулся следом, схватил его сзади за плащ и рывком сорвал с плеч. Полуголый Апелл споткнулся, упал, перекувырнулся и дико завизжал, увидев над собою Иегуду. Иегуда убил его голыми руками, свернув ему шею, точно цыпленку; визг прекратился, и голова Апелла безжизненно свесилась набок.

Тогда я в первый раз увидел, как дерется Иегуда. Наемники бросились на нас, подняв щиты и уставив копья наперевес. Иегуда выхватил свой меч. Я схватил копье одного из наемников, которых Эльзар сбил с ног алтарем (сам этот наемник стонал и корчился на земле), а в руках Эльзара появилась откуда-то огромная клюшка для размешивания винного суслу длиной не менее восьми ступней с тяжелым, фунтов в двадцать, утолщением на конце. С молотом в руке к нам подбежал кузнец, но именно Эльзар остановил

первую атаку наемников: размахивая своей страшной ключкой, точно цепом, он расстроил боевой строй первой шеренги наемников. Тем временем к Эльазару уже подбежал Иегуда с мечом в одной руке и с ножом в другой и тоже вступил в схватку; он остервенело сражался, рубил, колол, орудуя мечом с нечеловеческой быстротой.

Битва длилась недолго, и мое участие было невелико. Один наемник копьем порвал на мне плащ, а я о его щит сломал свое копьё, и тогда мы сцепились с ним врукопашную и покатались по земле. Он пытался дотянуться до своего меча, а я хотел добраться до его горла, но мне мешал нагрудник, доходивший ему чуть ли не до подбородка. Ему уже удалось было вытащить меч из ножен, но тогда я, отчаявшись задушить его, ударил его изо всей силы кулаком в лицо, и еще раз, и еще раз, и продолжал быть даже тогда, когда он был уже мертв. Я схватил его меч и бросился в схватку. Казалось, мы бились несколько часов, хотя на самом деле, прошли считанные минуты. Люди Модиина высыпали из домов, кто с копьём, кто с луком, и деревня из конца в конец огласилась боевыми криками и воплями.

Мы расстроили боевой строй, в котором наемники привыкли сражаться, когда они смыкают щиты и выставляют вперед копьё. Теперь они дрались мелкими группками, многие уже лежали на земле, а некоторые удирали.

Но вокруг Иегуды, Эльазара и Рувима стянулась, как узел, куча наемников, словно именно этих троих им надо было во что бы то ни стало уничтожить и принести в жертву каким-то своим богам. Я врезался в эту кучу, в которой бились мои братья, а следом за мной — адон с ножом в руке, в порванном и забрызганном кровью плаще. Я убил еще одного человека, вонзив ему меч в спину, как раз под доспехами, и впервые ощутил (до сих пор это помню) кощунственную легкость убийства, а адон сразил другого — старого волка с узловатыми руками чудовищной силы. Вскоре все было кончено. Иегуда, Эльазар, Рувим, адон и я стояли, отдуваясь и тяжело дыша, у наших

ног лежало двенадцать мертвых и умирающих наемников, а остальные обратились в бегство.

Они бежали по деревенской улице, но евреи стреляли им вслед из луков и добивали их. Другие пытались укрыться в домах, но их и там преследовали и убивали, как бешеных псов. Некоторые пытались взобраться вверх по склону холма, но их настигали стрелы. Мы не брали пленных. Последнего из наемников вытащили из чана с оливковым маслом и пронзили копьем.

Так закончилась битва в Модиине. Погибло лишь восемь евреев, и человек пятьдесят было ранено, среди них — адон. Но наемники погибли все до одного. Апелл был мертв, и левит был мертв. Из нохри остались в живых лишь рабы, которые несли носилки Апелла.

И вот я повествую об этом — я, Шимъон, ничтожнейший из братьев, — я повествую о том, как завершилась битва в Модиине и как Рут была отомщена, хоть слово это все равно не заполняет пустоты. И кровь струилась по деревенской улице, и вся долина была как кладбище — на ней лежало девяносто трупов. То был конец и начало, ибо после нашей первой победы никто уже не был таким, как прежде; и доныне о тех немногих из нас, кто сражался в той битве и дожил до сего дня, — а таких осталась жалкая горстка — говорят: “Он был в Модиине в тот день, когда в первый раз перебили наемников”.

За один лишь час мы — мирные люди, люди Книги — научились убивать, и научились неплохо. И вместе с Иегудой подошел я к кучке дрожащих от страха рабов, которые несли Апелла. И Иегуда холодно сказал им:

— У вас есть выбор. Либо примыкайте к нам, сделайте обрезание, станьте евреями и сражайтесь вместе с нами, либо навсегда убирайтесь из Иудеи.

Они молча глазели на Иегуду, ничего не понимая, и Иегуда еще раз повторил им то, что уже сказал, но они так ничего и не поняли и тупо стояли, открыв рты и выпучив глаза, в которых был ужас: они все еще не пришли в себя после той короткой, кровавой,

жестокой битвы, в которой никто не просил пощады и никого не щадили.

Куда им было идти? У каждого из них на груди и на лице было клеймо раба. Рабами были они, и рабами дано им было остаться до конца их дней, и не было мужества в их сердцах. Тело любого из них носило следы хлыста Апелла; но его, по крайней мере, они знали, а мы были для них неведомыми и непонятными бородатыми дьяволами. И в конце концов побрели они прочь из нашей долины на запад, к морю, где, наверно, нашли себе нового хозяина и новое ярмо.

У нас еще оставалось немало дела. Недолго мы оплакивали погибших — слишком недолго для евреев, у которых так крепки родственные связи и для которых семья — муж и жена, родители и дети — священна. Мы похоронили мертвых. Мы собрали тела наемников, сняли с них оружие и доспехи и закопали их всех в одну могилу. Лишь одно тело подверглось поруганию — тело Апелла. Моше бен Аарон, несколько раз раненый в битве и весь залитый кровью, отрезал Апеллу голову. Сначала кто-то пытался его остановить, но адон сурово сказал:

— Оставьте все его! Пусть он сам примирится с Богом!

И винодел, как в бреду, пошел по деревне, держа голову Апелла за кудрявые, нафабранные волосы и оставляя за собою кровавый след. Его жена с воплями шла следом за ним. Когда-то он не понимал ее лютой ненависти к Апеллу, а теперь она кричала мужу:

— Ты навлечешь на нас проклятье! Человек ты или дьявол?

— Дьявол, — ответил он непреклонно. — Оставь меня, женщина.

Наконец он остановился на площади, где разыгралась самая кровавая схватка и где на земле до сих пор лежал бронзовый алтарь. С суровым лицом он поднял и поставил алтарь и водрузил голову Апелла на статуэтку Афины.

— Вот так я молюсь, — сказал он и плюнул в мертвое лицо и отвернулся. Он, маленький, философского склада человек, которого год назад мутило бы

от одного вида крови. Что случилось с ним, я расскажу в своем месте и в свое время.

Мы закончили наши приготовления. Мы собрали наши запасы зерна и пищи, согнали коз, овец и ослов. Ослов навьючили домашним скарбом, нагрузили на себя все, что мы могли унести с собой, а что унести не могли, мы уничтожили. Каменные чаны со свежим оливковым маслом мы забросали грязью. Огромные кувшины с вином мы разбили. Мы прощались со всем, что нам было знакомо и дорого — с налаженной жизнью, с повседневным бытом. Мы прощались с Модиином, с крохотной нашей долиной, в которой мы выросли, с нашими священными свитками, от которых осталась лишь горстка золы, со старинной каменной синагогой, с плодородными полями на горных террасах, сложенных нами, и до нас — нашими отцами, и до них — отцами наших отцов. Мы прощались с кладбищем, на котором мы и наши предки уже сотни лет хоронили своих родных и близких. И на следующее утро, чуть свет, мы тронулись в путь — и стали мы скитальцами, бездомными странниками.

Так мы ушли из Модиина и направились на север, но теперь у нас было оружие. Мы несли копья, и мечи, и луки, и мы поднимались толпой по террасам, с одной на другую, все выше и выше. В Гумаде, где мы сделали привал, нам принесли молока, и плодов, и вина, и мы рассказали о битве в Модиине. Когда же мы двинулись дальше, вместе с нами пошли двенадцать семей из этой деревни. Мы никого не вербовали, никого не убеждали.

— Надолго ли? — спрашивали нас люди.

И мы отвечали:

— До тех пор, пока мы не будем свободны. До тех пор, пока мы трижды не очистим землю, как сказано в нашем Законе.

На закате мы остановились на ночлег на пустынном склоне горы, и когда солнце село, мы прочли молитвы по усопшим. Теперь, утомленные тяжелым переходом, многие дети заплакали, и матери убаюкивали их песней, которая, наверно, была старой уже тогда, когда рабами были мы в Египте:

Спи, мой ягненок, спи, мой кудрявый,  
Тьмы ты не бойся: сердечко твое  
Звездочкой яркой в ночи засияет.  
Маленький Божий скиталец, усни.

Я сидел у огня, когда Иегуда неожиданно тронул мою руку. Я пошел за ним, и мы начали взбираться на утес, и взбирались все выше и выше, пока с вершины утеса не увидели Средиземное море, окутанное розовой дымкой заката. Иегуда указал мне вниз, где далеко в долине притулился Модиин, и я увидел зарево. Это не было зарево заката: горела наша деревня, горел наш Модиин.

Долгий час простояли мы на утесе, не произнося ни слова и наблюдая, как горит наша деревня. И наконец Иегуда сказал:

— Они заплатят за все: за каждый язык пламени, за каждую каплю крови, за каждую рану.

— Это не вернет нам Модиин.

— Мы сами вернем себе Модиин.

Мы обсудили, куда идти. В двадцати милях к северу от Модиина, в двух днях пешего пути для взрослого мужчины — а для нашей толпы это значило добрых четыре дня пути, — лежит на самой границе Иудеи безлюдная земля Офраим. Когда-то, сотни лет тому назад, еще до вавилонского изгнания, там была густонаселенная земля, более плодородная, чем даже покрытые террасами холмы и зеленые долины вокруг Иерусалима. В те дни здесь жило много тысяч евреев, ибо земля здесь богаче, чем где-либо в Палестине. Но во время вавилонского изгнания земля эта обезлюдела, и лишь горстка упрямцев вернулась после изгнания в эти покинутые долины. Иегуда здесь уже бывал, и Рагеш тоже, а за много лет до них бывал здесь отец и еще несколько стариков. Но я в тот день, когда мы сюда пришли, впервые видел эту землю — громадные, суровые, поросшие лесами холмы и возвышающуюся над ними мрачную гору Офраим, раскинувшую свои массивные края на восток, до самой горы Гааш; дремучие леса, в которых росли и кедр,

и сосна, и береза; голые утесы и бездонные, темные глухие ущелья.

Когда мы вошли в Офраим, нас охватило тягостное молчание. Оборвались разговоры, затих даже не смолкавший детский смех. Мы вступили в узкую долину и пошли по ней куда-то вниз, сквозь буйно разросшийся дикий лес, куда солнечный свет полосами проникал сверху и разбивался в листве на мелкие блики. Иногда мимо нас проносились олени, однажды в зарослях залаял шакал, и много других неведомых нам звуков доносилось из чащи. В глубине долины чернело болото, с которого, когда мы шли мимо, взлетели журавли и цапли. Несколько часов мы месили ногами грязь, пробираясь по трясине, и наконец добрались до небольшой, укрытой со всех сторон долины усыпанной желтыми листьями и сосновыми иглами. Здесь царило мрачное безмолвие, и сюда почти не добирался солнечный свет.

Мы, оставившие свои дома, снова обрели пристанище. Это было начало.

ЭЛАЗАР — КРАСА БИТВЫ

Мрачное это было место, земля Офраим, и чем дальше мчались дни, тем более мрачным оно нам казалось. Пепел Модина не успел еще остыть, как сотни других деревень в Иудее превратились в факелы, зажженные во славу греческой цивилизации. И в нашу укромную долину стали стекаться беглецы — кто в одиночку, кто парами, а то и по пяти и по десяти человек.

Наше убежище кто-то назвал словом “Мара”,\* ибо оно родилось в скорби и страдании, и это название так и сохранилось за долиной.

Беглецы шли сюда, в Мару, потому, что им было все равно куда идти, потому, что они слышали: здесь, в Маре сыновья Мататьягу. Аполлоний, главный наместник Иерусалима и Иудей, расставил вдоль дороги из Модина в Хадид семьсот кольев, на которых торчали головы евреев — расплата за голову Апелла на алтаре Афины. С пятью тысячами наемников рыскал Аполлоний по всей Иудее, из конца в конец, убивая, сжигая и разрушая. А мы скрывались в горах и поначалу бездействовали, пока пострадавшие люди не стали приставать к Мататьягу:

— Что мы будем делать?

— Мы будем сражаться, — ответил Иегуда.

Но одно дело было говорить это здесь, спрятавшись в укромной долине, другое — быть в деревне, когда туда приходит враг. Старик-адон молчал. Как постарел он за последний год! Волосы его еще более побелели щеки ввалились, и лишь его крупный крючковатый нос напоминал о прежнем адоне — человеке несокрушимой и непреклонной воли. Часами сидел он один, подперев кулаком подбородок, и думал, размышлял, мечтал Бог знает о чем. И мне нередко казалось,

---

\* Мара — желчь (иврит).

что когда люди приступают к нему со своими заботами, он не видит и не слышит их.

Как-то мы с Иегудой пришли к нему; он с раздражением спросил:

— Кого из вас Рагеш назвал Маккавеем?

— Чего ты хочешь от нас? — вспыхнул Иегуда

— А чего вы от меня хотите? Я сижу здесь, адон этой проклятой Богом долины, и вспоминаю о юных своих годах. Или я по-прежнему молод, что спрашиваете меня, как вам поступать?

— Людям страшно, они одиноки, и в их сердцах горечь, — сказал я.

— Это вам страшно, а не им, — презрительно отозвался старик.

— Что же нам делать?

— Приведите ко мне ваших братьев и всех, кто не знает страха, и я вам скажу, что вам делать.

Иегуда пристально посмотрел на него, отвернулся и зашагал прочь. Я пошел следом за ним. Иегуда не изменился, и в моей душе была та же безнадежность и пустота. Но мир вокруг нас изменился. Мы были бездомной горсткой небольшого племени, которое когда-то мирно пахало землю в долинах Иудеи называло себя евреями, поклонялось незримому Богу; мы почитали себя непохожими на все другие народы. Теперь же эта горстка людей бросила вызов всей мощи Сирийской империи со ста двадцатью большими городами, с греческой аристократией и несметными тысячами наемников. Об этом думал я, об этом думал Иегуда, об этом думали все, кто бежал в Офраим; о мощной Сирийской империи, опиравшейся на сто тысяч талантов золота и на сто тысяч наемников — и еще сто тысяч, которые появятся, если первые сто тысяч погибнут; а за Сирией стояли другие греческие государства, а на юге притаился Египет, выжидающий, когда можно будет урвать кусочек от наших цветущих долин; а дальше был остальной мир, готовый бросить все свои дела, чтобы расправиться с евреями, ибо все племена и народы ненавидели этих проклятых евреев, которые живут не так, как все.

Мы с Иегудой пошли к нашим братьям, и к Раге-

шу, и к кузнецу Рувиму, и к Моше бен Аарону и нашли немного людей, способных вооружиться и последовать за адоним вместо того, чтобы горестно причитать. Мы взяли ножи и луки, а некоторые опоясались мечами — те, кто хотел попробовать, каково это сражаться невиданным для нас оружием, — и все вместе мы явились к адону.

Адон встретил нас неприветливо.

— Там, где нужна бы сотня, нашлось только двадцать человек — сказал он.

И больше он не произнес ни слова за все те часы, что мы быстрым шагом шли и шли следом за ним — долговязым, хмурым старцем, не знающим усталости.

Мы пришли в Шило, лежащий по дороге в Иерусалим, — приятную деревушку у горного ручейка. И сердца наши разрывались от боли, так походила эта деревушка на наш Модиин. Здесь был постоялый двор, где обычно останавливались путники, ибо Шило славился своим янтарным виноградным вином и сыром. Когда мы входили в деревню с хмурыми лицами и покрытые пылью, друг подле друга, люди глядели на нас с изумлением и страхом. Оружие мы спрятали под плащи, но кто в Иудее не знал (хотя бы по рассказам) высокого, седобородого адона Мататьягу? И кто в Иудее не знал, что адон и его сыновья — это изгой, смертельные враги и македонцев, и первосвященника Менелая?

Изумление жителей деревни нам было понятно, но трудно было понять, откуда этот животный страх, — несмотря даже на то, что в Шило, судя по всему, хорошо поработал Апелл: на главной площади деревни высился алтарь Зевса, украшенный плодами и запятнанный свежей кровью. При всем этом трудно было понять этот страх, хотя мы знали, что трусость — совсем не редкость в такое время, как наше, и покориться легче, чем допустить, чтобы сожгли твой дом, легче, чем уйти из уютной деревни в горные пещеры земли Офраим.

И вдруг у постоялого двора мы увидели наемников: они развалились на лужайке, ели хлеб и жареных цыплят, пили вино, и жир стекал по их немытым под-

бородкам. Их было человек двенадцать, и при них два раба, чтобы таскать их щиты и копья. Удобно устроившись на траве, наемники сняли и отложили в сторону тяжелые нагрудники, распахнули кожаные куртки, и юбки их задрались, так что их мужская суть была обнажена и открыта взору, как и грязь на их потных, немых телах. Наемники всегда были да и теперь остаются для евреев загадкой: что это за существа — без родины, без народа, без семьи, рожденные и возвращенные лишь для того, чтобы убивать. Они служили грекам, они переняли обычай греков брить бороду, но почему-то на лицах у них всегда торчала щетина. Вода была им противна, она не касалась ни их глоток, ни их кожи, им нравилась вонь, которая от них исходила, им нравилась грязь, коростой покрывшая их тела: вонь и грязь — всегдашние спутники их тупого невежества.

В Шило жила несчастная, слабоумная девочка — позднее мы узнали, что звали ее Мирьям, — прилюдная сиротка из Иерусалима. Ее из милости приютили в деревне, но мало кто заботился о ней. Когда мы вошли в деревню, наемники забавлялись ею, не стесняясь окружающих, и громко при этом гоготали, отпуская соленые шуточки на грубом и искаженном арамейском наречии, на котором обычно говорят наемники в македонских войсках.

Мы приблизились к постоялому двору и остановились — двадцать евреев, высоких и мрачных, покрытых дорожной пылью, закутанных в плащи, во главе с тощим, с лицом ястреба, седобородым стариком, в чьем спокойствии таилась угроза. Эту угрозу наемники не могли не почувствовать, как они наверняка должны были заметить внезапную перемену в деревне, которая сразу как-то притихла, насторожилась и почти обезлюдела.

— А ну, катись отсюда, старый хрыч! — крикнул один из наемников, и все расхохотались. Но хохот у них был какой-то натужный, а Мирьям села и заревела. Из дома суетливо выскочил хозяин постоялого двора — толстый, гладко выбритый, но, судя по говору, еврей.

— Что тут такое? — спросил он. — Я не желаю скандалов. Нищим мы не подаем.

— Разве мы похожи на нищих? — мягко спросил адон. — Кто ты такой, что называешь нас нищими? Если мы пришли из пустыни и нас мучит жажда, неужели здесь для нас не найдется кружки вина?

Пока мой отец говорил, командир наемников подошел к дому и остановился на пороге, потягивая вино и с наслаждением предвкушая схватку между нами и хозяином постоялого двора.

— Вы видите, мой дом занят, — сказал хозяин, но уже не столь уверенным голосом, подозрительно и с опаской оглядывая нас.

— Разве такие слова говорил наш благословенный праотец Авраам, когда к его шатру явились три незнакомых мужа? — продолжал адон еще более мягко и учтиво. — Разве не принес он им свежей воды, чтобы омыли они ноги? А разве жена его Сарра не приготовила им пищу, чтобы они насытились? А ворота твоего двора закрыты для сынов твоего народа — если есть еще у тебя народ, — но они широко распахнуты для грязных тварей, которые убивают за деньги.

Наемники и их начальник едва ли что-нибудь поняли из того, что сказал адон, ибо он говорил не по-арамейски, а на иврите, однако хозяин гостиницы побледнел, как полотно. Весь дрожа и заикаясь, он спросил:

— Кто ты, старик?

— Это адон Мататьягу, — взвигнула Мирьям.

Отец и мы все сразу же сбросили плащи и схватились за мечи — кроме Ионатана, который во мгновение ока натянул свой лук; командир наемников с криком рванулся было вперед, но крик его захлебнулся в крови, когда стрела, пущенная Ионатаном, вонзилась ему в горло. Хозяин гостиницы скрылся в доме. Полупьяные наемники, пораженные неожиданным появлением двадцати вооруженных людей во главе с яростным стариком, не успели подняться — мы всех перебили на месте без жалости и сострадания. Зрелище было страшное и жестокое, но не те это были люди, которых можно взять в плен, с которыми можно

вести переговоры, которых можно тронуть, уговорить — нет, это были наемники.

Когда все было кончено, осталось лишь двое рабов, которые прижались друг к другу и выли от страха. Мирьям подползла к отцу и обняла его ноги. Он постоял немного без движения, держа в руке окровавленный меч, затем бросил его, поднял девочку, поцеловал ее и спросил:

— Как тебя зовут, дитя мое?

— Мирьям.

— Кто твой отец? Кто твоя мать?

— Я не знаю, — всхлипнула она.

— И сколько тут таких, как ты! — вздохнул старик. — Ты знаешь, где находится земля Офраим?

Она кивнула.

— Так умойся и иди туда, — и какого там ни встретишь еврея, попроси его привести тебя туда, где живет Мататьягу, и если он спросит тебя, кто твой отец, скажи ему, что твой отец — Мататьягу.

— Мне страшно... Мне страшно.

— Иди, — сказал он сурово. — Иди и не озирайся назад.

Затем он обернулся к нам:

— Приведите мне хозяина!

Жители Шило стали выходить из домов. Сначала — дети, за ними потянулись взрослые, и вскоре нас окружили напуганные жители; они молча смотрели на нас и на трупы наемников. Эльзар и Рувим вошли в дом; слышно было, как они прошли по комнатам, а потом они появились, таща за собою хозяина — он был ни жив ни мертв от страха, вопил и стонал. Эльзар и Рувим швырнули его на землю, и он пополз на животе к адону и стал лобызать ремешки его сандалий.

— Перестань! — проревел отец. — Ты кто — еврей, или грек, или ты животное, чтобы ползать на брюхе? А ну, вставай!

Но хозяин так и остался лежать на земле; он стонал и перекатывался с боку на бок своей жирной тушей. Отец пнул его ногой, отошел и обратился к толпе:

— Поглядите на него! Я мог бы его убить, но пусть

он живет и помнит, как он ползал на брюхе, и расскажите об этом людям по всей земле, чтобы жизнь стала для него адом и чтобы он не мог взглянуть людям в глаза от стыда. наших людей пытаются и убивают, вся страна стонет, а эта мразь валяется на брюхе, рожей в грязи. Он храбрец, когда за его спиной стоит вооруженный насильник, так же, как и вы все, жалкие, мерзкие людишки! Да падет на вас проклятие Господне!

Женщины начали всхлипывать; там и сям слышались возгласы:

— Нет! Нет!

И люди прикрыли лица плащами.

— Вам стыдно взглянуть мне в глаза! — закричал адон. — Неужели я страшнее, чем наемники?

Какой-то старик протолкался сквозь толпу и подошел к адону.

— Возьми назад свое проклятие, Мататьягу бен Иоханан бен Шимъон! Чем мы заслужили твое проклятие?

— Тем, что вы стали на колени, — холодно ответил адон.

— Разве ты забыл меня, Мататьягу? — спросил старик. — Разве ты забыл Якова бен Гершона?

— Я помню тебя, — ответил отец.

— Я не стал на колени, Мататьягу. Девятнадцать человек убили они здесь, в Шило, и четверо из этих девятнадцати были только что обрезанные младенцы, — все это для того, чтобы мы приняли греческие обычаи и перестали обрезать своих детей, — и тогда мы примирились с ними. Возьми назад свое проклятие.

— Что удерживает тебя здесь, старик? Или жизнь так прекрасна? Мне уже за шестьдесят, как и тебе. Что удерживает тебя здесь?

— Куда мне идти, Мататьягу? Куда нам идти?

— Идите в землю Офраим, — ответил отец с горечью и непреклонностью в голосе. — Идите в пустынную, дикую землю, где мы живем в шалашах, как жили когда-то наши праотцы, и где мы накапливаем силы для борьбы. И не преклоняйте колени ни перед кем, даже перед Господом Богом нашим, ибо он не требует этого.

И, отстранив Якова, адон прошел к алтарю, опрокинул его и пошел прочь из Шило. Мы молча двинулись за ним, лишь Иегуда прошептал мне на ухо:

— В нем пылает пламя. О, если б он был молод, Шимъон, если бы он был молод!

— Он молод, — отрезал я. — Он молод, и он не нуждается в том, чтобы его называли Маккавеем.

— Что ты имеешь в виду?

— Разве не ясно, что я имею в виду? — пробормотал я.

Он схватил меня за плащ и спросил жалобно:

— И ты тоже, Шимъон... Во имя Бога, что я тебе сделал, почему ты так ненавидишь меня?

— Ничего.

— И ты ненавидишь меня из-за ничего?

— Ничего, — повторил я. — Ничего. Пошли! Старик не будет нас ждать.

Мы вышли на дорогу, пересекли долину и пошли вверх по склону холма. Уже вечерело, когда мы поднялись на вершину утеса, откуда нам открылся широкий обзор на много миль вокруг. Там мы устроили привал, поели хлеба и запили его вином, а затем, завернувшись в плащи, улеглись спать вокруг тлеющего костра. Спустилась ночь, но мне никак не спалось, я все вспоминал и вспоминал события этого дня — короткую кровавую резню возле постоянного двора и суровость адона, и еще вспоминал я о том, что было раньше: вспоминал наше счастливое детство в Модиине, вспоминал Рут и ее любовь ко мне и мою любовь к ней, — теперь эти воспоминания уже поблекли, так коротка и непознана была нами жизнь наша. И как бывает всегда, когда в короткие часы между ночью и рассветом человеку не спится, жизнь представилась мне пронсящейся грезой, которую хочется удержать, мечтой, к которой вечно стремимся, как я стремился к любви и нашел ее в тот миг в Модиине, — в тот краткий, напоенный солнцем миг, когда не было для меня никакого вчера и никакого завтра, а было лишь сейчас. И столь тяжек был для меня гнет воспоминаний, гнет страха и одиночества, что я поднялся и подошел к угасающему костру, который уже не излучал

тепла в тот тоскливый предутренний час. Вдруг кто-то тронул меня за локоть, и я, обернувшись, увидел адона, который смотрел на меня своим ястребиным взглядом. Или ему тоже не спалось?

— Найди своего брата, Шимъон, и пойдем со мной, — сказал отец.

Я разбудил Иегуду, и мы пошли вслед за адоним по склону холма к каменистому обрыву.

— Вот! — сказал отец, указывая вдаль, где за долиной, далеко за Шило, виднелся на горизонте Иерусалим. А там, в долине, среди еще не рассеявшейся тьмы, глубоко под нами, увидали мы кольцо огней, как будто кто-то разбросал остывающие угольки.

— Что скажете? — спросил адон.

— Скажу, что надо было убить эту жирную свинью, хозяина постоянного двора, — сердито ответил Иегуда. — Там лагерь наемников. Быстро же он их привел!

— Но тогда, в Шило, ты ничего не сказал, — пробормотал адон.

— Да, я ничего не сказал.

— Ну, что же теперь, Иегуда, которого Рагеш зовет Маккавеем? — ехидно продолжал адон. — Что ты скажешь теперь?

Молча, с окаменевшим лицом, Иегуда смотрел вниз, на долину.

— Что же теперь, Иегуда Маккавей? — презрительно спросил отец. — Они уже там, в долине, и едва лишь займется день, они придут в Шило и спалят его дотла. Если бы я убил хозяина, Иегуда Макаквей, я сделал бы это своими руками и своим мечом. Но ты, ты так красиво говоришь о войне, ответь мне: сколько детей завтра погибнет в Шило?

Не отвечая, Иегуда тяжелыми шагами вернулся к нашему костру, и я в ярости повернулся к отцу:

— Неужели ты хочешь сломить всех вокруг себя, старик?

Отец сжал мне плечо своей железной рукой, как клещами — еще много дней там был синяк, — и сказал своим мягким голосом, столь жутким в своем спокойствии:

— Почитай своего отца, Шимъон, ты же сын моих чресл, и ты еще молод. Ради всего святого, или не услышу я доброго слова от своих сыновей? Того, кто силен, разве возможно сломить?

И он пошел вслед за Иегудой.

Когда я вернулся к костру, все уже проснулись, и мы сразу же тронулись в путь, и вел нас теперь Иегуда. Не было произнесено ни единого слова, но отец уступил свое место Иегуде. Ночь кончалась, на востоке занималась розовая заря, и тропа, по которой мы шли, была хорошо видна. Иегуда вел нас на юг, поднимаясь все выше и выше по склону, пока мы не достигли зазубренной кручи, и пошли по ней быстрым шагом, не переводя дыхания; и наконец мы дошли до крутого уступа, нависшего над лагерем наемников, который лежал как раз под нами на расстоянии шестисот или семисот ступней вниз, где сходились дорога и два горных склона, окаймлявших долину. Наемники спали. Греки проявили все свое презрение к мирным землепашцам-евреям, не умеющим владеть оружием и неспособным за себя постоять: наказать Шило было послано всего лишь сорок пеших наемников, которые, устроившись на ночлег, даже не позаботились выставить дозорных — только сложили в кучу мечи и пики, побросали доспехи и теперь спали мертвецким сном.

Иегуда действовал без колебаний; он отдавал приказания быстро и точно. Одной группе людей под началом Ионатана — мальчика Ионатана, беспокойного, быстрого, юркого, как ящерица, — он приказал отойти на несколько сот шагов к северу; с ними пошел и Иоханан, но руководил не он, а Ионатан; эта группа должна была спуститься и, подобравшись к наемникам с севера, притаиться на расстоянии длины копья от дороги и ждать. Другая группа во главе с адоном отклонилась к югу. Эльазар, Рувим и я остались с Иегудой. Он повел нас к огромному валуну на самом уступе, — валун лежал, наверно, на этом уступе еще с тех самых пор, как Господь сотворил горы на нашей прекрасной, древней земле.

— Эльазар, ты можешь его сдвинуть? — спросил Иегуда.

Эльзар, улыбаясь, подполз под валун, расставил руки, уперся в землю и с натугой взялся за него. Уже забрезжила заря, чудесная розовая заря Иудеи, и в неярком утреннем свете Эльзар казался легендарным Шимшоном. Он сбросил плащ, снял рубаху, скинул сандалии. Одетый лишь в полотняные штаны, он весь напрягся, напружился, на теле его вздулись мускулы, и наконец одним резким рывком он пошатнул валун, и тот чуть-чуть стронулся с места — должно быть, впервые с сотворения мира. Валун дрогнул, мы все дружно навалились на него, и Эльзар криком подбодрил его, как живого, и вот камень сдвинулся дальше, осел, накренился и перевернулся. Одно мгновение он помедлил в воздухе, повис на краю откоса, а потом рухнул вниз с диким грохотом, потрясшим скалы, подобно грому; ударившись о другой валун, он раскололся надвое и полетел дальше, увлекая за собою лавину из сотен камней и обломков скал, которые, грохоча и гремя, покатались следом за нашим валуном прямо на спящих наемников. Нет, они уже не спали — разбуженные грохотом лавины, в ужасе проснулись они и бежали, ползли, хватались за оружие и вопили, пытаясь вернуться от летящих на них камней.

Выхватив мечи, мы кинулись вниз с уступа, следом за лавиной. Человек десять или даже больше сразу же было насмерть задавлено или искалечено камнями, а человек пять бросились врассыпную, и их поразили стрелы наших людей из групп, засевших на северном и южном склонах долины. Но остальные наемники — а было их вчетверо больше, чем нас, — сгрудились в кучу и встретили нас мечами и копьями. И снова увидел я, как дерутся братья — быстрый, страшный, свирепый Иегуда и мягкий, добрый Эльзар, который упивался боем и крушил людей направо и налево, как демон, вырвавшийся из ада. Нас было лишь четверо, и мы были не валуны, а люди из плоти и крови, а их против нас стояло человек пятнадцать. Пусть никто не говорит, что наемники не умеют драться: это единственное, что они умеют делать хорошо. Я узнал это в то утро, когда защищал свою жизнь, и по одну сторону от меня был Иегуда, а по другую

— Рувим. Впервые я это понял, а нам еще много лет предстояло сражаться.

Мы бы тогда наверняка погибли, если бы не Эльазар, который в самом начале схватки — а мы еще тогда и драться-то толком не умели — убил двух наемников и еще одного ранил. Битва, казалось, продолжалась целую вечность, время остановилось, и сила уходила из наших тел, как вытекает вода из дырки в кувшине. Встали мы друг к другу спинами, образовав четырехугольник, и отражали натиск, и сразили уже семерых. Я был ранен и весь залит кровью, и Рувим тоже. Мы отразили первый натиск, но наемники с копьями наперевес опять устремились на нас. Но тут-то подоспел Ионатан со своими людьми, и все было кончено. Двое наемников пытались было взобраться вверх по склону, но Эльазар, босой и безоружный, бросился за ними вдогонку, прыгая, как кошка, с камня на камень. Догнав одного, он убил его страшным ударом своего могучего кулака, но другой остановился и метнул в Эльазара длинное сирийское копьё. Эльазар отклонился и, молниеносно выбросив руку, поймал копьё на лету. Наемник же, не удержав равновесия, упал вперед, и Эльазар кинулся на него. Все произошло так быстро, что мы даже не успели ничего сделать, лишь стояли и смотрели. Тяжело дыша, истекая кровью, мы стояли и смотрели, как будто был между нами неписанный договор, по которому именно Эльазар бен Мататьягу, и никто иной, должен был расправиться с этим наемником. Эльазар навалился на него, схватил обеими руками за горло и, рванув его на себя, встал, приподнял над землей и держал, сжимая ему железной хваткой горло, пока тот не перестал извиваться, а потом швырнул мертвое тело на землю.

Мы взяли все оружие, какое могли унести с собой, подтащили все трупы к дороге и сложили там в кучу. Почти все мы были ранены, даже отец, и некоторые довольно тяжело. Но мы были живы и могли идти, а все наемники были мертвы. Мы сложили трупы, и Иегуда сказал:

— Так, и только так, и снова и снова так, пока мы не отвадим их от нашей земли!

Затем мы промыли раны и легли отдохнуть.

Так это началось, и так мы стали привыкать к войне — к войне народной, в которой сражаются не армии, нанятые за деньги, а сам народ. Мы вернулись в Шило и рассказали там, что произошло. И двенадцать мужчин из этой деревни примкнули к нам. Мы дали им оружие из трофеев, захваченных у наемников. А те, кто остались в деревне, выставили дозоры на окрестных холмах, чтобы, упредив появление наемников, вовремя захватить свои пожитки и скрыться.

И после этого девять дней мы ходили по холмам и долинам северной Иудеи. В эти девять дней мы учились воевать; мы учились сражаться иначе, чем когда-либо прежде сражались люди. Свои переходы мы делали по ночам, при свете луны и звезд, а днем отсыпались в пещерах или в тенистых чащах. Ударив в одном месте, мы сразу же исчезали и быстро двигались в другое место. И Иегуда начал отрабатывать приемы, которые позже стали основой нашего военного искусства: нападение сзади, неожиданное появление в тылу у врага, преследующего нас. В наших передвижениях была размеренность и равномерность, в которую мы втянулись и которую Иегуда запрещал нарушать, не давая нам ни отдыха, ни сроку. И многому еще иному мы научились. Например, сначала мы навьючивали на себя чересчур много тяжелых мечей и копий, взятых у наемников, а некоторые из нас еще нацепляли и нагрудники, но если мы что-то и выигрывали от пользования непривычным оружием, то явно проигрывали в подвижности, и потому мы бросили почти все наши доспехи. Наемники обычно плохо стреляют из лука, и если у них в войсках и есть отряды лучников, то луки у них громоздкие, из тяжелого дерева, длиной в пять—шесть ступней. Сначала мы пользовались этими луками, которые на первый взгляд казались таким страшным оружием, но вскоре мы убедились, что гораздо лучше нам служат наши небольшие, легкие луки из слоистого бараньего рога, — луки, к которым мы с детства привыкли, охотясь на зайцев, шакалов и птиц. По возможности, мы на-

падали перед зарей, или в другое время ночи. Но не всегда мы брали верх. После двух побед у Шило мы слишком о себе возомнили и уже наемников в грош не ставили. И нам пришлось заплатить за это страшную цену. Окрыленные успехами, мы отважились напасть около Бет-Эля среди бела дня на отряд из шестидесяти наемников; они успели нас заметить издали, сомкнули щиты и двинулись на нас строем. К тому времени у нас уже было тридцать девять человек, но мы погибли бы все до одного, если бы не яростная отвага Эльазара и Иегуды, которые отбивали один натиск за другим, даже когда из нас лишь девять еще могли сражаться. В конце концов и мы, и наемники — те, кто еще держались на ногах, — измученные схваткой, разошлись в разные стороны, и тогда мы смогли подобрать и унести наших раненых.

На этом закончился наш поход; но за эти девять дней вся Иудея воспламенилась, забурилась и забушевала. И не было в Иудее семьи, в которой бы не знали о Мататьягу и его сыновьях. И греки, зализывая свои раны, уже не считали евреев робкими и безответными книжниками, которые в субботу скорее дадут себя резать, чем поднимут руку в свою защиту. И их наемники не бродили уже, где им вздумается, по нашим дорогам в одиночку, или вдесятером, или даже человек по двадцати; они засели в своих крепостях, а если и выходили за их стены, то целыми армиями; и на ночлегах они выставляли дозорных, которые всю ночь ходили вокруг. Нет, нам было еще далеко до победы, ибо они продолжали мстить, они убивали, грабили, жгли, и по ночам вся земля озарялась пламенем горящих деревень. Но народ уже сопротивлялся. Люди умирали в своих горящих деревнях, сжимая ножи, и повсюду, со всех концов земли, тысячи людей уходили в горы — в дикие, лесистые горы Иудеи, Бет-Эвена и Гилеада. И отовсюду, со всей земли, самые сильные, самые отчаянные и самые смелые шли в землю Офраим.

Среди раненых, принесенных нами в свое укрытие после схватки под Бет-Элем, был наш отец, адон Мататьягу, на бедре у него была глубокая рана, нанесен-

ная мечом, а в плече — рваная рана от удара копья. Я собственными руками перевязал его раны, и пальцы мои ощущали, какую страшную он испытывал боль, хотя его бескровное, острое, как у ястреба, лицо не выдавало и тени переносимых им страданий. Как можно бережнее мы отнесли его назад в Офраим, и никто, кроме его сыновей, не брался за ручки носилок. Когда наконец мы добрались до маленькой нашей долины, чтобы рассказать о наших схватках, победах и поражениях, его раны воспалились и загноились. Он лежал в шатре и кто-нибудь из нас постоянно сидел около него, но ему становилось все хуже. Рабби Рагеш, который обучался врачеванию у александрийских мудрецов, вставлял ему стеклянные трубочки в раны, чтобы они оставались открытыми, и гной свободно выходил из них, но адон мягко укорял своего врача:

— Рагеш, Рагеш, зачем столько хлопот из-за пустяков? Слишком горькой стала моя жизнь, чтобы я за нее цеплялся. Как всякий старый еврей, я отправлюсь к моему Господу с гордо поднятой головою и открытым сердцем, и страшиться мне нечего.

— Ты не отправишься к Богу, Мататьягу, — улыбался Рагеш, — ты нам еще нужен. Дай срок, и...

— Я вам не нужен. Я оставлю вам пятерых сильных сыновей, так что убери свои дьявольские приспособления, Рагеш, и оставь меня наедине с моей болью.

День за днем его лихорадило все больше и больше, пока он совсем не впал в беспамятство и перестал понимать, где он и что с ним случилось. Он бредил, вспоминая свою молодость, когда вся земля была залита ласковым солнцем, и на ней царил мир, и когда он склонялся в синагоге над священными свитками и под руководством книжников изучал писания вавилонских мудрецов. Он страшно исхудал за эти дни, кожа туго обтягивала его лицо, черты его обострились. Лишь однажды, на несколько кратких мгновений, он очнулся от бреда и позвал нас, своих сыновей, и мы обступили его. Иоханан поддерживал его в полусидячем положении, чтобы он мог видеть всех нас, Иегуда гладил его костлявую руку, а Эльзар, упав на колени, ры-

дал, как ребенок. В шатре было полутемно, снаружи лил дождь, но даже сквозь шум дождя я, казалось, слышал гул голосов людей, всех людей Офраима, собравшихся вокруг шатра, где умирал старый адон Мататьягу.

— Где вы, сыновья мои, сильные и гордые сыновья мои? — шептал он на иврите, а не по-арамейски, расставляя слова в том торжественном строе, как это принято в наших старинных свитках. — Где вы, сыновья мои?

— Здесь, — ответил я. — Здесь, отец.

— Тогда, Шимьон, поцелуй меня в губы, — сказал он. — И пусть передастся тебе остаток сил, еще сохранившийся во мне. Слушай, что я скажу, ибо ты силен, мужествен и устремлен к цели, каким был я.

Я поцеловал его. Подняв руку, он погладил меня по лицу, ощутил на моих глазах слезы и покачал головой:

— Нет, нет, не плачь. Разве ты женщина, чтобы плакать над умирающим? Всякой плоти суждено умереть, не следует из-за этого плакать.

— Я не буду плакать, — пробормотал я.

— Теперь слушай, что я тебе приказываю.

В его голосе послышалась прежняя властность, столь свойственная адону.

— Мы маленький народ, крошечный народ, судьба нас забросила в гущу других народов, и как нам выжить, если не будем следовать стезею добра? Ибо несхожи пути наши с путями других народов, и Бог наш несхож с другими богами. Да будет благословен Господь наш, Бог Израиля, и все те, кто блюдут договор с Ним, ибо что изрек Господь?

Я покачал головой.

— Что изрек Господь, Шимьон? “Иди по стезе правды, возлюби добро и возненавидь зло“. Так Господь избрал нас, упрямый, жестоковыйный народ; и еще было в его договоре, что не должны мы преклонять колени ни перед кем — ни перед кем, Шимьон! Держите же высоко голову — или вся Иудея превратится в пустыню.

Долгая речь утомила отца; он, тяжело дыша, от-

кинулся на руки Иоханана и закрыл глаза. Затем он продолжал:

— С тобой, Шимьон, остаются братья твои. Будь же сторожем брату своему — ты один и только ты: препоручаю их тебе, препоручаю их тебе. И если будет в Израиле мужчина, или женщина, или ребенок, которых нужно будет поддержать, которых нужно будет накормить, которые попросят о помощи или милости, — да не отвернешься ты и не пройдешь мимо, Шимьон бен Мататьягу, и да не зачерствеет твое сердце, не зачерствеет твое сердце...

Затем он позвал:

— Иегуда! Иегуда, сын мой!

Иегуда склонился над ним, и отец взял его руки и поцеловал.

— Ты Маккавей, — сказал старик, — и люди пойдут за тобой, и станешь ты их вождем, Иегуда. Не возражай...

— Все будет так, как ты говоришь, — прошептал Иегуда.

— Ты станешь вождем — таким, как Гидеон. И ты, Иоханан, мой первенец, мягкий и добрый Иоханан, и ты, Эльзар, краса битвы за свободу, и ты, Ионатан, дитя мое — дитя мое Ионатан, подойдите все ко мне, и я обниму и поцелую вас, и затем я скажу: “Слушай, Израиль: Господь, Бог наш...”

Он откинулся назад, и его ястребиное лицо неожиданно смягчилось, и он уснул навеки. И длинные, белые, точно снег, волосы и белая борода были ему как саван. Я вышел под дождь, где, накрывшись плащами, ждали люди.

— Адон Мататьягу скончался, — сказал я, — да будет Господь милостив к нему, отцу моему.

И я вернулся, чтобы плакать вместе с братьями; и сквозь шум непрерывавшего дождя я слышал, как плачут люди.

Мы перенесли его тело обратно в Модиин — мои братья и я, и рабби Рагеш — неистовый человек, которого люди юга любили почти так же, как люди севера чтили адона и, может быть, даже любили: не мне это

знать, я его сын, а это совсем не просто — быть сыном яростного поборника правды. Может быть, люди знали его лучше, ибо в какую бы мы ни приходили деревню, едва мы говорили, что несем тело адона Мататьягу бен Иоханана, как тотчас же вокруг простого кедрового гроба, в котором лежал адон, собиралась толпа, и каждый старался дотронуться до гроба или приложиться губами, чтобы потом об этом рассказывать детям и внукам своим. И везде — в полуразрушенной ли деревне, которую люди все не решались оставить, или в укромной теснине, где беглецы укрывались от наемников, — везде встречались нам старцы, которые воздавали адону последнюю почесть, прижимая руки ко лбу, — старинный-старинный жест, которым пращурьы наши приветствовали своих мелехов, царей, в те седые времена, когда у нас еще были цари. А потом старцы запахивались с головою в свои просторные полосатые плащи и, раскачиваясь взад и вперед, протяжно голосили, обращаясь уже не к отцу нашему, а к Богу, которому поклонялся адон:

— Да возвеличится и да святится славное имя Твое во веки веков!

А то, бывало, дети убирали гроб яркими полевыми цветами — нарядными полевыми цветами, которыми так богата наша земля.

Так, сменяясь попарно, несли мы гроб, пока наконец не добрались до вершины утеса, с которого уступами сбегали вниз живописные террасы, а под ними, в глубине, раскинулась цветущая долина, где некогда был наш Модиин, а теперь среди черной золы осталось лишь несколько полуразрушенных стен да сиротливо торчали печные трубы.

Мы принесли гроб к вырубленному внутри холма склепу, где хоронили всех из нашей семьи, и положили отца в могилу рядом с останками его отца и деда.

— Покойся, как суждено каждому, — сказал Рагеш.

На заброшенном модиинском кладбище — этой мертвой обители воспоминаний — мне стало одиноко и страшно. Тот, кто берет меч, от меча и гибнет — даже адон, чей облик когда-то, давно, в детстве, сли-

вался в моем сознании с обликом сурового и справедливого Бога. Измотанный и одинокий, сел я на камень рядом с Рагешем и братьями, разломил краюху хлеба и пригубил вина из бурдюка. Террасы уже поросли сорняками, и плодам на неприсмотренных деревьях предстояло перезреть, и зачервиветь, и опасть, и сгнить без всякой пользы.

Когда мы приближались к Модину, во мне теплилась надежда, что дух Рут слетит ко мне и осенит меня. Но нет, я не почувствовал этого, лишь горькие воспоминания нахлынули на меня, и я смотрел на братьев, переводя глаза с одного лица на другое, и видел, что их тоже гложут мрачные и тяжкие воспоминания. Иегуда сидел растерянный, и я был озадачен, подумав, как он еще молод. В его коротко стриженной бороде и длинных каштановых волосах уже мелькали нити седины, и в прекрасных его чертах отражалась задумчивая печаль.

И Рагеш, сидя на камне и ковыряя веточкой землю, тоже время от времени поглядывал на Иегуду.

Неожиданно Иегуда спросил Рагеша:

— Почему мы такие, какие мы есть?

Рагеш вздрогнул, потом улыбнулся и покачал головой.

— Многие народы живут в мире, — продолжал Иегуда, — но для нас, ненавидящих войну и желающих только, чтобы нас оставили в покое, — для нас нет мира, и на этой земле тысячи лет льется кровь.

— Верно, — кивнул Рагеш.

— И нет жизни ни мне, ни всем нам, сыновьям Мататьягу, да почитет он в мире! Для нас нет ни мира, ни женщины, ни дома, ни детей...

Рагеш снова опустил глаза, но Иегуда накинулся на него и закричал:

— И ты еще смеешь называть меня Маккавеем! Я проклят, говорю тебе, проклят! Погляди на мои руки: они уже по локоть в крови, а будет на них еще больше крови и ничего, кроме крови! Этого ли я хотел? Этого ли я просил? Давид мечтал стать царем, а мне этого не нужно. Но получил ли я хоть раз в жизни то, что хотел?

— Свободу, — спокойно сказал Рагеш.  
Иегуда плакал, закрыв лицо руками.

Не таким запомнится все это людям, по-другому запомнится людям все то, что произошло за следующие пять лет. Но для меня воспоминания об этих годах — это прежде всего воспоминания о моих прославленных братьях, о том, как Эльзар, возглавляя наши наступления на сирийские отряды, громил их так, как это не умел делать никто на свете, кроме римлян; воспоминания о битве Иегуды против греческого наместника Аполлония — того Аполлония, который хвалился, что собственной рукой умертвил тысячу сто пятьдесят девять евреев, Аполлония, который устроил когда-то страшную резню в Иерусалиме в день первого осквернения Храма, Аполлония, который однажды велел привести к нему десять еврейских девственниц и за одну ночь обесчестил их всех, дабы доказать свою мужскую мощь и превосходство западной цивилизации.

И все-таки я должен рассказать о том горе и той безнадежности, которые охватили страну, когда не стало адона Мататьягу. Похоронив отца, мы вернулись в Офраим. Там мы застали людей в смятении и животном страхе — да они и жили-то, как животные, в пещерах и шалашах. В нашем урочище и во всей нашей отрезанной от мира долине, путь из которой вел через зловещее, унылое болото, жило теперь более двенадцати тысяч евреев, и большинство пришло сюда, не взяв с собой ничего, кроме одежды на плечах и груза своего горя, без орудий труда, без пищи, без оружия, но зато с детьми — с бесчисленными смеющимися детьми, упитанными, как иудейские маслины. Они поселились в глухой, укрытой лесами долине, где среди ядовитых испарений огромного смрадного болота людей то и дело трепала лихорадка.

Весной на склонах горы Офраим и других гор таяли снега, и вода струилась вниз и вливалась в болото, откуда не было стока, и там все последующие десять жарких месяцев вода зацветала и гнила, отрав-

ляя воздух зловонием. Как я уже говорил, давным-давно, еще до вавилонского изгнания, земля Офраим была одной из благодатнейших и плодороднейших областей во всей Палестине. В те годы горные потоки стекали в построенные для этого большие каменные водоемы, а оттуда в засушливые месяцы накопившаяся вода заботливо и искусно распределялась по десяти тысячам террас, и вся земля была цветущим садом. Теперь же и террасы, и водоемы обветшали и разрушились, и земля Офраим сделалась самым труднодоступным, диким, заброшенным местом к западу от Иордана. По ночам в чаще лаяли шакалы, и им вторили своим криком цапли. И это было единственное место в Иудее, где люди были свободны.

За эту свободу приходилось платить дорогой ценой. В первые месяцы люди, объединенные общим горем, жались друг к другу, но потом они разделились на имущих и неимущих. Одни голодали, другие припрятывали еду. Люди завидовали друг другу, и порою происходили между ними мелкие стычки. Однажды в болоте затравили и убили доносчика, и его семья пылала жаждой мести. Сильные духом гневно клеймили тех, кто отчаялся и готов был смириться с поражением, а таких было немало, и они, в свой черед, ополчились на тех, кто звал к борьбе. В земле Офраим была кучка жителей из Иерусалима; они держались особняком от деревенских жителей, те же всячески старались отравить горожанам жизнь и преуспевали в этом. Павшие духом, опустили совсем: они жили в грязи, склочничали, попрошайничали, голодали. Такой мы застали долину, когда вернулись из Модина, и у меня при виде всего этого опустили руки.

Иегуда созвал на совет в шатер Мататьягу всех адонов и старейшин. Явилось двадцать семь человек, но девять из них отчужденно держались в стороне; и тогда Иегуда велел Эльазару и мне пойти и привести людей Модина и Гумада, которые были самыми стойкими и на которых мы всегда могли положиться. Грустно было наблюдать все это; всегда тяжело видеть, как еврей идет против еврея, но такое

бывало и раньше. Мы привели людей Модина и Гумада. Вдруг один из собравшихся, Шмуэль бен Зевулон, адон Гевеи, надменно обратился к Иегуде:

— Кто ты такой, чтобы тащить меня сюда, ты, у кого еще молоко на губах не обсохло?

Это был гордый и высокомерный человек лет шестидесяти. Но Иегуда, стоявший в глубине шатра, лишь пристально взглянул на него и смотрел так долго, что в конце концов адон Шмуэль не выдержал и отвел глаза.

— Так изберите себе вождя, — холодно сказал Иегуда, — и я последую за ним, если он поведет нас сражаться. А если он не хочет сражаться, так есть среди нас и такие, которые хотят. А если даже вы все пойдете и станете на колени перед сирийцами, то я и мои братья все-таки будем сражаться, чтобы слово “еврей” не сделалось у нохри позорной и оскорбительной кличкой.

— Это ли мудрость юности? — съязвил Натан бен Иосеф, рабби из Иерусалима.

— Нет у меня мудрости, — сердито ответил Иегуда. — Но адон Мататьягу научил меня двум вещам: любить свободу и не склонять колени ни перед человеком, ни перед Богом.

— Спокойнее, Иегуда, спокойнее! — остановил его Рагеш.

— И эти-то две вещи, из коих слагалась мудрость Мататьягу, — сказал Шмуэль бен Зевулон, — довели Иудею до беды. Земля наша запущена, и народ рыдает в отчаянии. Воже меня сохрани и помилуй от мудрости Мататьягу!

Не успел он закончить, как разъяренный Иегуда, сжав кулаки, подскочил к нему, схватил его обеими руками около горла за плащ и, притянув к себе, прохрипел зловецким шопотом:

— Обо мне, старик, говори, что хочешь, но ни слова про адона Мататьягу! Слышишь: ни слова — ни хорошего, ни плохого! Да ты недостойн касаться его плаща, ты даже служить ему недостойн, недостойн быть у него мальчиком на побегушках!

— Иегуда! — крикнул рабби Рагеш, и этого окри-

ка оказалось достаточно, чтобы мой брат отпустил старика, склонил голову и вышел.

Мы вышли следом за ним — Эльазар, Иоханан, Ионатан и я. Я нежно обнял Иегуда за плечи.

— Успокойся, Иегуда! Все будет в порядке.

— Не могу я с этим справиться, Шимъон! Ты видел, что со мной было. Не могу я с этим справиться...

— Кто же тогда может? Кто?

— Ты.

Я покачал головой.

— Нет, нет, во всем Израиле есть лишь один человек, за которым они сейчас пойдут в огонь и воду, как пошли бы за адоном, да почиет он в мире! Кому это знать лучше, чем мне, Иегуда? Ибо разве не правда, что всю жизнь свою я ненавидел в тебе то, чего недостает мне?

— Что же, Шимъон? Что?

Я ответил:

— Ту силу, которая заставляет людей любить тебя больше жизни.

— И все же, — сказал Иегуда задумчиво, и в голосе его звучала безнадежность, — то, что хотел я, досталось тебе.

Братья приблизились к нам. Мы сели под деревом, и я сказал Иегуде:

— Нас пятеро, мы сыновья Мататьягу и братья. Ты был прав, Иегуда: если даже остальные все уйдут и покроют себя позором, мы будем делать то, что пристало делать человеку. Не знаю уж, благословение ли это или проклятие адона, но это — в нас, во всех нас, какие бы мы ни были разные. Но они не уйдут, Иегуда, они не уйдут. Мы сами вышли из их среды, как говорил адон, и это они сделали нас такими, какие мы есть. Да иначе и быть не может. Дано ли было египтянам или грекам — родить Маккавея?

Эльазар остановил меня, ибо увидел, что к нам подходит рабби Рагеш.

— Хватит, Шимъон, — сказал Иегуда, и лицо его исказило страдание.

Рагеш обратился к Иегуде со словами укора:

— Так-то ты считаешь старость в Израиле!  
И тебя-то я назвал Маккавеем!

— Я что, просил я тебя об этом, что ли? — жалобно сказал Иегуда. — Просил я тебя об этом?

— Проси, когда ты этого заслужишь. А теперь ступай назад, они все еще ждут тебя.

Мы встали и все вместе вернулись в шатер.

— Я прошу у вас прощения, — сказал Иегуда старикам.

И они ответили:

— Аминь! Да будет так!

И тогда Иегуда начал говорить, и все слушали его. Они сидели, скрестив ноги, завернувшись в свои просторные полосатые плащи, — старики, внимавшие мальчику, ибо Иегуда и был для них мальчиком, — они сидели как давным-давно их предки сидели в своих шалашах из козьих шкур. Пока Иегуда говорил, я следил за ними. И до сих пор я отчетливо помню их лица, их резко очерченные, суровые, острые, с орлиными носами, непримиримые лица, обветренные, бородатые лица, по которым издали можно было признать евреев; и неповторимыми сделали эти лица не их внешние черты, но их образ мысли и образ жизни, которые наложили свою неизгладимую печать на очертания носа, глаз, рта и щек, — лица адонов, учителей и почитаемых старцев. Люди привыкли чтить седину — а разве не видели старцы, что у Иегуды, который был в расцвете своей юношеской красоты, в волосах и бороде уже пробивается седина? Сначала все они были настроены против него, но по мере того, как он говорил, они смягчались, и, наблюдая за ними, я снова думал о беспредельной простоте моего брата и еще кое о чем, ибо в нем была непрерываемая власть, покорявшая всех. Не знаю, осознавали они это или нет, но в тот вечер Иегуда установил железный закон для нашего народа, которому предстояло тридцать лет ожесточенно сражаться за свободу. Многие ли из этих стариков остались еще в живых? Но тогда они об этом не думали. Они вглядывались в этого юношу, в котором как бы воплотились все предания Израиля, юношу, который был прекрасен, как Давид.

чист и целеустремлен, как Гидеон, страстен, как Иирмеягу\*, и гневен, как Иешаягу, и на их суровых лицах разглаживались морщины, и все чаще и чаще повторяли они:

— Аминь! Да будет так!

И при этом Иегуда возложил на себя и на нас, его братьев, самое тяжелое бремя. Не мне его судить, но я бы так не сделал. Однако Иегуда так сделал — не знаю, к добру или к худу. Он взял на себя руководство военным обучением людей и боевыми действиями — такова была цена, которую он платил. Эльазар и мальчик Ионатан остались при нем. На Иоханана он возложил снабжение и заботу о пропитании. Мне, Шимъсну, предстояло судить людей, и я должен был творить суд сурово и нелицеприятно, железной рукой — так, как судят на войне. Такую цену я платил.

— Дорогая цена, — сказал один из адонов; но Иегуда покорил их всех.

— Я умею лишь одно, — сказал Иегуда. — Я умею сражаться. Я всегда узнаю врага, кто бы он ни был: толстосум ли еврей, засевающий за стенами Акры в Иерусалиме, или наемник, состоящий на жалованье у греков. Вот уже несколько месяцев я и мои братья живем для одной лишь войны — для того, чтобы сражаться и убивать. Когда война закончится, мы, если вы пожелаете, уйдем — или мы унизимся и будем целовать край вашей одежды. Но до того я назначаю цену за кровь Мататьягу: вы слышали цену.

— Ты хочешь стать царем? — спросил кто-то.

И тогда случилось чудо: на глазах Иегуды показались слезы — мы все это видели, — и он воскликнул:

— Нет, нет! Клянусь именем Господа!

Они не могли вынести его унижения.

— Да будет с тобой милость Господа! — сказал Рагеш.

И Шмуэль бен Зевулон, который еще недавно так разъярился на Иегуду, теперь подошел к нему, обнял его за плечи и поцеловал.

---

\* Иирмеягу — Иеремия.

— Маккавей, — сказал он мягко, — плачь, ибо нам предстоит страдания. И старцы пойдут туда, куда поведет их юноша. Да дарует тебе Господь силу, и страсть, и да будешь ты страшен врагам, и да люби ты всегда свободу и справедливость!

В глазах Иегуды еще стояли слезы. И мы все ушли из шатра и оставили его одного.

Прошло шесть недель. Все это время Иегуда формировал наше войско, и все это время мы поджидали Аполлония, главного наместника Иудеи, который хотел ощутить укус офраимского комара, а потом безжалостно этого комара раздавить. Еще в первую из этих шести недель в Офраим пришел еврей из Дамаска по имени Моше бен Даниэль с двадцатью двумя мулами, тяжело груженными мешками с тонкой пшеничной мукой. К тому времени Иоханан и я установили в нашей долине распределение продуктов поровну между всеми, так что никто, может быть, не ел досыта, но никто и не голодал. И тогда-то люди почувствовали, как говорили, железную руку Шимъона бен Мататьягу, — железную руку, которая, по моему, была чересчур мягка и бесполезна и остается такою же, помоги мне Бог, и по сей день. Я не унижаюсь, я знаю себя.

Эти сорок четыре мешка муки были для нас воистину драгоценным даром — тем более драгоценным, что даритель жил так далеко от Иудеи. Купец, торговец мукой, Моше бен Даниэль насчитывал в Дамаске уже десять поколений своих предков, и все же он оставался евреем, и каждое утро и каждый вечер обращался он лицом к Храму и творил молитвы. И когда до него дошли слухи, что евреи в Иудее восстали против угнетателей и что сопротивление разгорается, подобно медленному пламени, он подумал о том, что может он сделать для этих людей. И он привез нам муку, и дочь его Дебора, девушка семнадцати лет, белая, как лилия в пруду, пришла вместе с ним в нашу мрачную и заброшенную землю Офраим. И он был не один такой: уже тогда все евреи по всей земле — в Александрии, в Риме, в Афинах, даже в далекой

Испании — подняли головы и расправили плечи, когда дошла до них весть о том, что в Иудее народ поднялся за свободу.

В тот вечер, когда появился Моше бен Даниэль, Рагеш откупорил драгоценную бутылку янтарного семата. Купец с дочерью сидели за столом в палатке Рагеша и беседовал с моими братьями, и со мной, и с несколькими старцами. Все мы смотрели на него — все, кроме Эльазара, который видел только Дебору; а она прятала глаза от розовощекого, рыжебородого великана.

Моше бен Даниэль был человек светский — такого еврея я еще никогда не встречал. Дело было не только в том, что он привел с собою двенадцать чернокожих рабов, которые его обожали, — огромных, вечно улыбающихся африканцев, учтивых и мягких, но, как я потом узнал, страшных в бою и неукротимых в своих чувствах; и не только в том, что он был разодет в шелка, каких я доселе ни разу не видывал; и не только в том, что его изогнутый меч был украшен сотнями мелких драгоценных камней; но и сам этот человек не походил ни на одного еврея, которого я знал. В отличие от эллинизированных поклонников всего греческого, Моше бен Даниэль никогда, ни на одно мгновение, не забывал о том, что он еврей, мы же думали об этом меньше, чем он; но познания его были шире и глубже, чем познания любого эллинизированного еврея. Он был начитан и хорошо образован. И когда Рагеш сказал:

— И если чужеземец будет в гостях у тебя, в земле твоей, не причинишь ты ему зла...

Моше бен Даниэль ответил на прекрасном, чистом иврите:

— Чужеземец в гостях у тебя да будет тебе как рожденный в доме твоём, и да возлюбишь ты его, как самого себя, ибо рабами были вы у фараона в Египте...

— И столь многие из нас стали чужеземцами, — продолжал Моше бен Даниэль, — и мы забываем землю предков наших, и древние обычаи наши. Но ветер разносит великое слово “свобода”, и евреи встречаются на перекрестках дорог земных.

— И что они говорят?

— Они шепчутся кое о чем, — рассмеялся Моше бен Даниэль, скрестив ноги и поглаживая свои штаны из тонкого льняного полотна. — Трудно жить в изгнании, — признался он, — но и в этом есть свое вознаграждение. Тяжело у человека на сердце, и дом его — это остров; но вот приходит откуда-то весть, что в Израиле поднялся Маккавей.

— А что думает царь царей Антиох? — спросил Иегуда.

— Он знает имя Иегуды бен Мататьягу, — ответил купец. — Я принес дары: не должен был я приходиться с пустыми руками, ибо хоть и радостен приход чужеземца, он может сделать свой приход еще более радостным, не так ли?

— Разве может еврей быть чужеземцем в Иудее? — рассмеялся Рагеш.

Моше бен Даниэль вдохнул запах вина, тихо произнес благословение и пригубил.

— Вы делаете мне честь, — вздохнул он. — О чем может тосковать тот, кто живет среди нохри? Об иудейском небе, об иудейских холмах, или об иудейском вине. А теперь позволь мне ответить тебе. Ваш наместник Аполлоний пришел к Антиоху, ибо, как он выразился, в Иудее взбунтовалась шайка жалких евреев. Мне известно об этом из самых надежных источников, можете мне поверить. Вы знаете царя царей?

Он оглядел нас всех по очереди.

— Мы не сподобились этой чести, — ответил Рагеш. — Мы простые крестьяне, мы пашем землю. Богатые, знатные высокородные евреи укрылись в крепости Акра в Иерусалиме вместе с первосвященником Менелаем.

— Так позвольте мне рассказать вам, кто таков этот царь царей, который владеет половиной мира, как он выражается. Это тучный, неизмеримо тучный человек, у него уродливо отвислая нижняя губа, и он вечно не в духе, но он убежден, что красивее его нет никого на свете. У него много женщин, и он совершает с ними такое, о чем мне даже и говорить не

хочется. И еще он любит животных. И он принимает гашиш. И когда он примет гашиш, он жестоко издевается над всеми своими приближенными, и его боятся даже такие люди, как Аполлоний. И все же Аполлоний явился к нему во дворец и попросил у него еще наемников. “Против кого?” — спросил царь. И Аполлоний ответил: “Против евреев, мой господин, которые покрыли меня позором”. “Евреи? — спросил Антиох. — А кто такие евреи?” “Люди, которые издавна живут в Палестине, — ответил Аполлоний, — страна их называется Иудея”, — продолжал он, хорошо зная, что Антиох ведет счет каждому шекелю, который выжимают из нашей земли. “Евреи? Иудея? — сказал Антиох, взглянув на Аполлония так, что тот сразу же покрылся холодным потом, — а что, у тебя нет людей?” “У меня семь тысяч наемников”, — сказал Аполлоний, и тогда царь так и взревел: “Семь тысяч человек! — заорал он, — и у тебя хватает дерзости беспокоить меня из-за каких-то паршивых евреев! Наемники мне дороже заместников!” Так он сказал. И все убеждены, что он вас отыщет даже здесь, в Офраиме.

— Кто? Аполлоний?

Моше бен Даниэль мрачно кивнул головой.

— Как служат царю? Плохо. мой юный друг, — сказал он Иегуде. — Цари отнюдь не мудры; напротив, они просто глупы, а этот царь — совсем набитый болван, он даже не понимает, что лучшего заместника, чем Аполлоний, он днем с огнем не сыщет. Он только и сумсет, что расправиться с Аполлонием, если этот грек — а Аполлоний грек или почти грек, что в наши дни одно и то же, — если этот грек не расправится с бунтовщиками. Он и понятия не имеет, что Аполлоний в лепешку разбивается, чтобы удержать в узде тысячу деревень, — да царю наплевать на это. Но Аполлонию совсем не наплевать, останется он заместником в Иудее или не останется, — и поэтому он к вам нагрянет, и очень скоро.

Последовало долгое молчание. Я наблюдал за Иегудой, и я знал то, чего не знал больше никто из присутствующих, — я знал, как ему страшно. Но когда

он обратился к купцу, его голос звучал беспечно и бодро:

— А ведь я никогда не был и в десяти милях за пределами Иудеи, и Дамаск для меня — как чудо света. Расскажи мне про этот город. И расскажи про царя: как он живет, как он правит...

В тот день зародилась новая армия, новый тип войны, новая могучая сила, которая вскоре придала слову “еврей” новое значение и вложила в звучание этого слова новые ощущения — любовь и ненависть, восхищение и презрение — в зависимости от того, кто это слово произносил.

И так продолжается до сего дня, когда я сижу и пишу эти строки, припоминая то одно, то другое событие минувших дней для того, чтобы не исказить истины и в то же время что-то объяснить. Так продолжается до сего дня, когда Сенат могущественного Рима присылает своего легата специально для того, чтобы встретиться с Маккавеем. Но Маккавея нет в живых, а я только старый еврей, каким был отец мой, адон, и его отец, и его дед, — старый еврей, которого терзают воспоминания. А как можно просеять свои воспоминания, чтобы поведать о том, что в действительности случилось, вместо того, чтобы украшать свою повесть красивыми выдумками о том, что должно было случиться? Не так давно шел я по улице возле рыночной площади, и там был певец, один из настоящих певцов из племени Дан, и пел он песню о пяти сыновьях Мататьягу. Я прикрыл лицо плащом и слушал, а он пел:

— Вперед, Эльазар, краса битвы! Эльазаром его звали, и Господь был оружием его..

Но теперь, сидя здесь и возвращаясь мысленно к тому, что было, я вижу Эльазара, как он гулял в ту ночь с девушкой из Дамаска, мой безгневный, беззлойный брат, и ступал он так осторожно, так мягко, и был больше еврем, чем любой из нас. Я вижу, как Иегуда посмотрел в ту ночь в глаза Рагешу, и Рагеш сказал:

— Если уйти на юг Негева...

Но Иегуда прервал его:

— Неgev слишком большой. Я останусь здесь, где Аполлоний сможет нас разыскать, и мы встретим его.

— Без войска?

— Мы создадим войско, — сказал Иегуда.

Рагеш поглядел на меня.

— Народ станет войском, а мы с братьями будем его обучать.

Это была мечта, но никто ему не возразил. А потом мы увидели, как Эльазар бродит с девушкой при свете луны, и Рагеш сказал в почтительном изумлении:

— А вы воистину сыны Мататьягу...

Наше первое крупное сражение — крупное по сравнению с прежними стычками, но ничтожные по сравнению с предстоящими нам боями, — наше первое крупное сражение произошло через шесть недель после появления в Офраиме дамасского купца и через неделю после того, как Эльазар женился на его дочери, взяв в приданое двенадцать чернокожих невольников. И эти чернокожие до конца оставались преданы ему. Они приняли еврейскую веру, жили как евреи и умерли как евреи.

За эти шесть недель мы собрали под знамя Макавея тысячу двести человек. Ничего подобного не было видано прежде в Израиле, да и в любой другой земле. Люди наши не были наемниками, и не были они дикими варварами, чья жизнь столь тесно связана с войной, что одно без другого у них и представить себе немислимо. Нет, наше войско состояло из простых земледельцев, мирных книжников, глубоко почитавших Закон, священный Завет и древние свитки. Некоторые из нас, правда, довольно умело управлялись с небольшим луком из бараньего рога, научившись владеть им еще в мирные дни, когда с таким луком охотились на куропаток и зайцев; но и у тех, кто владел луком, не было никакого опыта в обращении с копьем и мечом. А многие были подобны ученикам Лазара бен Шимьона, святого человека, державшего школу в Мицпе и проповедовавшего учение всеохватывающей, безграничной любви ко всему живому, вплоть до мельчай-

шего насекомого, так что ученики Лазара бен Шимьона всегда ходили босые, опустив очи долу, чтобы не раздавить какое-то из созданий Божьих. А теперь такие люди маршировали в боевом строю, разбившись на двадцатки, а Рагеш, которому довелось побывать у парфян — лучших в мире лучников, — учил новобранцев стрелять из лука тонкими еврейскими стрелами, пуская их быстро, одну за другой, чтобы дождем метко пущенных стрел создавать бреши в боевых рядах противника.

Обучались мы и другим вещам — и я, и мои братья, и все солдаты нашей маленькой армии, создаваемой в Маре. Эфиопы — чернокожие невольники дамасского купца — показали нам, как превращать пику в копье, которое можно метнуть во врага, и как прикреплять к нему кусочки кожи, которые точно направляют копье в полете по ветру. Иегуда обучил нас обращаться с длинным сирийским мечом; сам он уже владел им так, что меч казался чуть ли не частью его тела, продолжением его руки. Моше бен Даниэль оставил у нас свою дочь и отправился в Александрию. Через месяц он вернулся оттуда с сотней юношей-евреев, добровольцев из александрийской общины, и вдобавок привез с собою дар александрийской синагоги — десять талантов золота. Среди александрийских добровольцев было шесть искусных умельцев; двое из них некоторое время жили в Риме, и теперь они научили нас изготовить катапульты, наподобие римских. Я до сих пор помню, как приплыли они в Офраим из далекого-далекого Египта, нагруженные дарами и красиво одетые, так что рядом с ними наши земляпашцы выглядели убого. Они принесли особый дар Маккавею: знамя из голубого шелка с вышитой на нем звездой Давида и надписью под ней: “Иегуда Маккавей. Борьба с деспотизмом — повиновение Богу”. И я помню, как, едва придя, они бросились прежде всего взглянуть на Иегуду, который уже стал легендой, и как они были поражены, обнаружив, что Иегуда не старше большинства из них, а некоторых — даже моложе.

Но, в общем, все шло не так уж гладко и просто.

У нас в Офраиме никогда не было вдоволь пищи, а люди все прибывали и прибывали по мере того, как Аполлоний обрушивал свою ярость на Иудею. Везде, где правили греки, евреи страдали, и беженцы стекались в Офраим даже из таких отдаленных краев, как Галилея или Гешур. Ноги у них были изранены и стерты в кровь, многие были еле живы от голода, и все эти несчастные повторяли одну и ту же страшную повесть об издевательствах, насилиях и убийствах. На меня и Иоханана возложена была обязанность заботиться о них. С раннего утра до позднего вечера сидел я, выслушивая просьбы и жалобы (это было совсем не то, что сидеть сейчас этнархом в Иудее), и разбирался в непрерывающихся перебранках и склоках. Моя молодость обижала старцев и давала молодым повод для нападок — и тогда родилось выражение: железная рука Шимьона бен Мататьягу.

Как часто завидовал я моим братьям — Эльазару, Ионатану и Иегуде: их военные учения казались мне сущим пустяком по сравнению с теми заботами, которые легли на мои плечи. Однако, как вы увидите дальше, на мою долю тоже досталось немало военных дел.

Однажды, донельзя утомленный, я прервал прием жалобщиков и пошел поглядеть, как Рувим и Эльазар работают в открытой кузнице, оборудованной под склоном горы. Здесь было царство огня и железа, и Рувим с Эльазаром — самые сильные люди в Иудее — били молотами по податливому металлу, бормоча при этом старинные заклинания, которые, наверно, возникли еще во времена Каина, первого кузнеца. Окруженные вихрем огненных искр, они приветствовали меня, и я понял, что они счастливы: Рувим — необузданный потомок сыновей Эйсав\*, и Эльазар, не знающий ни сомнений, ни страха, ни даже ненависти, но исполненный любви ко всему существу и преклонения перед Иегудой и мною — преклонения, почти мистического. Не в его натуре было в чем-то сомневаться: он был

---

\* Эйсав — Исав.

создан, чтобы драться и учить других драться. И он прокричал мне через голову вечно заполняющей кузницу любопытной толпы — детей и взрослых, и женщин, пришедших сюда не только ради Рувима и Эльазара, но просто посмотреть на огонь, на этих двух мужчин, на старцев, любящих давать людям советы, на эфиопов, восхищенных и рукоплещущих, — через голову этой толпы Эльазар прокричал мне, зажав в щипцах раскаленное докрасна клинок меча:

— Эй, Шимъон, эти чернокожие делают нам металлические копья! Но мне это не подходит!

— А что же тебе подходит? — спросил кто-то.

Эльазар сунул лезвие меча в бадью с водой, вода забурлила, от бадьи поднялись клубы пара. Затем он поднял с земли тяжелый молот.

— Вот это! — сказал он.

Люди стали ощупывать молот — огромный кусок железа с рукоятью из двенадцати приваренных один к другому железных стержней. Женщины, смеясь, напрасно пытались поднять молот, дети осторожно и почтительно дотрагивались до него, а Эльазар смотрел и весь светился от гордости. Он поднимал свой молот, раскручивал его над головой, держа за кожаный ремень, и толпа со смехом опасливо расступалась. Рувим был старше Эльазара больше чем вдвое, но они оба с одинаковым простодушным удивлением ковали железо, радуясь тому, как оно послушно превращается в оружие. Таков был мой брат, мой брат Эльазар...

Ко мне пришли муж и жена из далекого южного города Кармея. И муж Адам бен Элизер, высокий, смуглый, статный, как многие из тех, кто живет в пустыне бок о бок с бедуинами, обратился ко мне:

— Ты ли Маккавей?

— Нет, Маккавей — это мой брат Иегуда. Ты, должно быть, недавно в Маре, раз ты не знаешь Шимъона бен Мататьягу?

— Да, я здесь недавно; и я не знал, что творить суд здесь будет мальчишка.

А его жена, красивая, круглолицая, но сломленная и согбенная горем, молчала.

— И все-таки это я здесь творю суд, — сказал я. — Если это тебе не по душе, иди к грекам, там ты найдешь других судей.

— Ты суров, Шимъон бен Матаьягу, как был суров отец твой, адон.

— Каков я есть, таков есть.

— И он такой же! — неожиданно вскрикнула его жена, указывая на своего мужа. — У мужчин в Израиле больше нет сердца, осталась одна только ненависть. Он мне больше не нужен. Разведи нас, пусть мы будем чужие друг другу.

— Почему? — спросил я ее.

— Нужно ли объяснять? Каждое мое слово будет пропитано кровью.

— Хочешь — говори, не хочешь — не говори, — сказал я. — Но я не заключаю и не расторгаю браки. Обратись к рабби, к старцу, а не ко мне.

— Разве старцы могут что-то понять? — холодно сказал мужчина. — Выслушай меня, Шимъон, а потом посылай меня, куда хочешь — хоть в преисподнюю, хоть к своему брату, Маккавею.

— Мы женаты двенадцать лет, — начала женщина монотонным голосом, каким сказочники на площадях рассказывают свои сказки. — У нас была дочь и трое сыновей. Они были умные, розовощекие, красивые, они были отрадой моего сердца и моего дома, они были для нас благословением Божиим. А потом пришел наш наместник, его звали Ламп, и он поставил на площади греческий алтарь и приказал всем нам подойти и стать на колени и воскурить перед алтарем благовония. А он, — она в ярости повернулась к мужу и ткнула в него пальцем, — он отказался стать на колени, и тогда грек аж заулыбался от удовольствия...

— Да, от удовольствия, — подтвердил Адам бен Элизер. — Ламп подходящий наместник для юга. Есть твердые люди в Иудее, но если хочешь встретить людей еще более твердых, ступай на юг.

— И Ламп убил мою маленькую дочку, — продолжала женщина, — и повесил ее над дверью нашего дома, так что кровь капала на порог. И она висела

там днем и ночью а поодаль сидели наемники, они жрали, пили и смотрели, чтобы никто не снял ее тело и не похоронил, как положено.

Она рассказывала об этом, и в глазах ее не было слез. Я творил суд под открытым небом, сидя на камне, и люди нередко приходили послушать. И сейчас вокруг нас были люди, и они все подходили и подходили, и собралась уже большая толпа.

— И так продолжалось семь дней. А когда наступила суббота, Ламп собственными руками перерезал горло моему младшему сыну, и повесил его рядом с телом девочки, которое уже разлагалось. А мы должны были там жить. И все время у дома сторожили наемники с пиками, день и ночь, так что мышь — и та не могла бы прошмыгнуть незаметно. А потом, в третью субботу, к Лампу приехал сам Аполлоний, и это была для них хорошая забава...

Женщина вдруг вроде бы задохнулась, и голос ее прервался; она не заплакала, не вскрикнула, только голос прервался.

— Да, это была для них забава, ведь греки любят забавляться! — продолжал ее муж. — И Аполлоний собственными руками перерезал горло нашему второму ребенку и объяснил нам, что народ, который ни перед кем не склоняет колени — ни перед человеком, ни перед богами, — такой народ позорит землю; и, значит, сказал он, убивать детей такого народа — это даже милосердно, потому что только так можно приблизить то время, когда люди, наконец, навсегда избавятся от евреев, и тогда на земле наступит золотой век.

— А на следующую неделю они убили нашего первенца, — добавила женщина так же бесстрастно и безучастно, как раньше. — И все четыре тельца висели в ряд над дверью, и их клевали птицы. А мы не могли их снять, мы не могли их снять, и плоть, которая вышла из моего чрева, гнила на солнце. И поэтому я ненавижу его, моего мужа, как я ненавижу нохри, за его проклятую гордость, которая погубила все, что мне было в жизни дорого.

Она не заплакала, но шопот ужаса прошел по толпе.

— Он чересчур горд, — сказала женщина, — он чересчур горд.

Долго никто не мог произнести ни слова, и тишину прерывал только плач тех, кто не стыдился плакать. Но я не мог рассудить этих людей, и я позвал Рагеша, который стоял поодаль и слушал.

-- Рассуди их, — попросил я его. — Ты человек в летах, и ты рабби.

Но Рагеш покачал головой, и мужчина и женщина стояли, скруженные людьми, как две погибшие души, обреченные на вечную муку; но тут толпа раздвинулась, и появился Иегуда. Он остановился перед ними, и на его юном и прекрасном лице была такая скорбь и любовь, какой я никогда ни прежде, ни потом не видел ни на одном лице человеческом. Все, что женщина говорила о смерти и убийстве, казалось, отпечаталось на лице Иегуды, который был воплощением жизни. Он взял ее руки и прижался к ним губами.

— Плачь, — сказал он мягко. — Плачь, мать моя, плачь.

Она затрясла головой.

-- Плачь, ибо я люблю тебя.

Но она трясла головой все безнадежнее.

— Плачь, ибо ты потеряла четырех детей, а приобрела сто. Я ли не дитя твое, ты ли не любишь меня? Так плачь обо мне, плачь обо мне, или боль за твоих детей ляжет мне на сердце и погубит меня. Плачь обо мне, ибо на моих руках — кровь. Я тоже горд, и я ношу свою гордость, как камень на шее.

И медленно, медленно в ее огромных черных глазах заблестела влага, а затем полились слезы — и, издавая протяжные, громкие стоны, она рухнула на землю и осталась лежать. И муж поднял ее на руки, и он тоже плакал, как и она, и Иегуда повернулся и пошел прочь, и люди расступились, давая ему дорогу. Он прошел сквозь толпу, опустив голову, и руки его безжизненно висели вдоль тела.

Произошли два события: во-первых, мой брат Эльзар женился и, во-вторых, из Иерусалима пришла весть, что Аполлоний собрал три тысячи наемников

и готовит поход на Офраим. Это не было такое уж большое войско, но оно состояло из хорошо обученных, дисциплинированных и безжалостных профессиональных солдат, да и числом они втрое превосходили нас. Не подумайте, что нам не было страшно: у еврея удивительно чувствительная кожа, и страх пустил в нас, наверно, даже более глубокие корни, чем в людях других народов, точно так же, как и стыд, и точно так же, как гордость, за которую нас ненавидят нохри. Всю Мару охватила тревога, и смех, который и без того звучал здесь не часто, совсем замолк, когда пришла эта весть.

Но все-таки у нас оставался еще какой-то запас времени. Земля наша невелика, но каждая долина — это свой обособленный мир, и подобно тому, как неисчислимы наши горы, так же неисчислимы и долины. И если между двумя деревнями расстояние по прямой, скажем, не больше мили, то на деле для путника, который взбирается с холма на холм и переходит из одной теснины в другую, расстояние это может вырасти до добрых десяти, а то и двадцати миль. Есть в нашей земле большой проезжий тракт, идущий с севера на юг и связывающий города Сирии с городами Египта, и есть еще дорога из Иерусалима к морю, но все остальные пути — это тропки, по которым иногда может проехать телега, но чаще они такие узкие и крутые, что по ним пройдет только пеший путник. Эти тропки вьются между горами, ныряют в ущелья, поднимаются на утесы. Мы на этой земле родились и выросли, и поэтому мы легко ходим по всем этим холмам и горным кряжам; но вооруженные люди стараются держаться долин, и это удлиняет им дорогу. И поэтому, хотя по прямой от Иерусалима до Офраима было всего миль тридцать, войско наемников, даже идущее скоростными переходами, не могло проделать этот путь быстрее, чем за три дня. И мы из этих трех дней выжали все, что возможно.

Как только до нас дошло известие о том, что Аполлоний выступает в поход, Иегуда созвал на общий сход всех людей земли Офраим — мужчин и женщин, малолетних детей и скрюченных стариков.

Это был первый из общих сходов, которые потом собирались много раз в течение всего того времени, что мы вели борьбу. Иегуда отправил гонцов во все концы Офраима, и почти сразу же в наше укрытое кедрами урочище стали стекаться люди. Первые из них появились уже рано утром, а когда собрались все, было уже далеко за полдень. Тут были и старики, и молодежь, и даже женщины с грудными детьми на руках. Немногочисленные, отрезанные от мира, поселки в Офраниме совершенно обезлюдели, а жители Лебони, Карима и Йошая перебрались через горы и спустились в Мару. Люди покинули свои пещеры, шалаши, свои глинобитные хижины. И час за часом подходили все новые группы.

Никогда еще не видел я такого людского потока: он вливался в нашу долину, как полноводная река. Позднее на наши сходы собиралось иной раз до сотни тысяч человек; но тогда, в Маре, когда пятнадцать тысяч евреев собрались слушать Иегуду, взобравшегося на камень, чтобы обратиться к ним, — тогда казалось, что нет в мире силы, способной одолеть эту массу мужчин, тревожно глядевших женщин, притихших детей и юношей с горящими глазами.

Вся эта многоголосая толпа издавала нестройный гул, напоминающий далекий водопад, пока Иегуда не поднял над головой руки, прося тишины, и гул сразу же смолк, и было слышно лишь дыхание людей да шелест ветвей, в которых играл ветер. Вечерело, и первые лучи заката заливали долину золотым светом, струившимся с бледного неба, чуть розоватого по краям; над урочищем описывали круги два ястреба, они то взмывали вверх, то плавно опускались вниз; и деревья под напором ветра пригибались к нам, как бы желая, чтобы мы лучше насладились благоуханием свежей листвы. Необъяснимое очарование нашей земли словно заколдовало всю толпу и принесло ей успокоение, так что матери, уставшие держать младенцев на руках, сели на землю, и владевшее людьми напряжение спало, и они распрямили плечи, и наслаждались красотой вечера, и вдыхали душистый, свежий воздух. И перед ними на высоком валуне стоял Иегуда —

высокий, статный, весь в белом, и его длинные каштановые волосы развсвались на ветру; он был их дитя и их отец, юноша и старец, и в нем причудливо смешались доброта и ярость, кротость и гордыня, смирение и неукротимость.

И он произнес слова, которые ныне запечатлены в истории:

-- Наемное войско сирийцев движается сейчас в Офраим, чтобы уничтожить нас; но, как бы нас ни было мало, мы выйдем против них и одолеем их. — Он говорил на иврите, в котором можно найти лучшие слова для лучших мыслей. — Мы переломаем им ребра и бедра, уничтожим их с корнем, ибо ведет их наместник всей Иудеи. Настанет час, когда мы скви-таемся с царем, и если он посылает к нам три тысячи живых людей, мы вернем ему три тысячи мертвецов: мера за меру.

Люди впивались в Иегуду глазами; никто даже не шевельнулся, казалось, никто не дышит.

-- Чаша нашего терпения переполнена, — продолжал Иегуда, — воистину, она уже переливается через край. Почему они приходят в нашу землю и грабят нас? Разве мы не люди из плоти и крови, что не смеем рыдать, когда они убивают наших детей? Пусть они уходят прочь и больше не возвращаются, иначе наш гнев будет страшен.

Но в голосе Иегуды уже не было гнева, только простое, ненарочитое сожаление, и люди чуть слишком шептали:

— Аминь! Да будет так!

— Если у вас еще сохранился дом, — сказал Иегуда, — то возвращайтесь туда. Мне нужны лишь те, кому нечего терять, кроме своей неволи. Если у вас есть кувшин золота, берегите его и не идите к нам. Если ваши дети вам дороже, чем свобода, то уходите, и не будет на вас позора. И если вы обручены, то идите к своей нареченной, — мы же обручены со свободой. Но если среди вас найдется один, только один человек, готовый пойти на смерть за наше дело — да, на смерть, ибо то, что я ему готовлю, сулит смерть и только смерть, — если есть такой человек, то он

найдет меня в моей палатке. Мне нужен только один человек, только один человек.

Он помолчал и оглядел толпу.

— Боевые отряды по двадцать человек будем составлять здесь, в Маре. Всем остальным — уйти в горы, в пещеры и роции, спрятаться там и ждать.

Я пошел в нашу палатку; там было четверо мужчин: они молча ждали Иегуду. Эти четверо не только не боялись смерти, которая страшит всех людей, но готовы были приветствовать ее и горели ненавистью. Там был Левел, школьный учитель, который когда-то обучал меня складывать буквы в слова, который изо дня в день сопровождал толкование страниц Закона молниеносными движениями своей розги, безошибочно находившей и опускавшейся на пальцы тех учеников, которые отваживались дремать или перешептываться с соседом, — Левел, отец Деборы, заколотой наемником Ясоном, Левел, начинавший каждый свой урок одной и той же присказкой: “Чего требует Бог от человека, как не смирения и праведной жизни?”, Левел, который был добр и нежен, словно ягненок.

Был там и Моше бен Аарон, отец единственной в мире женщины, которую любил и я, и Иегуда; и Адам бен Элизер, суровый и твердый южани, у которого было чересчур много гордости; и еще рабби Рагеш, любознательный философ, для которого смерть была такой же увлекательной загадкой, как и жизнь.

— Мир вам! — приветствовал я их.

-- Мир и тебе! — ответили они.

Но мысли во мне смешались, и на сердце у меня было тяжело, и я был не в силах больше вымолвить слово, пока не пришел Иегуда.

Все четверо были люди в годах, но Иегуда повел себя с ними так, будто они были в расцвете девственной юности: он поцеловал каждого из них и каждому сказал с глубоким почтением:

— Ты готов умереть, ибо я говорю, что смерть твоя нужна!

— Ты — Маккавей, — пожал плечами Адам бен Элизер.

— Рагеш, — сказал Иегуда, — ты, у которого нет ни ненависти, ни гордости, — почему ты хочешь умереть?

— Все умирают, — улыбнулся Рагеш.

— Но мне нужен только один человек. И ты мне не подходишь, Рагеш, потому что Аполлоний тебя знает, и разве он поверит, что рабби Регеш способен предать свой народ, и своего Бога, и свою страну? Мне нужен тот, кто сможет повести их прямо в ад, а за это они убьют человека, предавшего их. Мне нужен человек, который отправится к грекам и будет с ними торговаться. А затем он станет их проводником и приведет их в то место, которого они достойны, — через Гершонский холм, в большое болото, куда ведет только одна тропа и откуда нет выхода. И ты тоже не подходишь, Адам бен Элизер, ибо разве ты сумеешь ступать вкрадчиво, опустив глаза, как изменник? Левел, Левел, неужели тебя я должен послать на смерть? Всему, что я знаю, научил меня ты, и чем я тебе отплачу?

— Я пришел просить о милости, а не о жертве, Иегуда Маккавей, — сказал учитель просто.

— Но сумеешь ли ты сыграть свою роль? Да ведь Аполлоний в твоих глазах сразу же прочтет всю доброту твоей души. Нет! Изменник — это очень сложное существо, а совсем не простое, это — человек, знающий свет и лишенный чести. Мне нужен грек, чтобы послать его к грекам.

Иегуда подошел к Моше бен Аарону и взял его за руки.

— Да поможет мне Бог и да простит меня Бог! — сказал он.

— Годы идут, и если не теперь, так позже, — ответил винодел. — Та, кого я любил, погибла, а ты — Маккавей, Иегуда. Так скажи мне, что я должен делать.

Когда стемнело, Ионатан и я и еще четыреста человек двинулись на юг через горы по узким, извилистым тропам. И мы шли всю ночь, пока не зарделись на небе первые лучи зари. А тогда мы залегли

в густом кустарнике и, обессиленные от усталости, на пять часов забылись тяжелым сном. Мы шли налегке, вооруженные лишь нашими маленькими луками и ножами, и каждый из нас нес с собой сумку с едой. Иегуда дал мне ясные и четкие указания: мы должны были поравняться с передовым отрядом Аполлония и не давать ему спокойно вздохнуть: убивать отставших или отошедших в сторону солдат, закидывать наемников камнями, когда они будут проходить по стремнинам и ущельям, и не оставлять их в покое, не давать им ни охнуть, ни вздохнуть ни днем, ни ночью. И только после того, как к наемникам явится Моше бен Аарон, мы должны были отстать от них и как можно быстрее вернуться в Офраим. А между тем Иегуда и Эльзар должны были устроить им ловушку в болоте.

Уже смеркалось, когда мы слышали голоса наемников, тяжелое лязганье их доспехов и приглушенный бой походных барабанов. Еще загодя я разбил своих людей на два больших отряда по сто человек, подчинявшихся Ионатану и мне, и еще на десять двадцаток — наши ударные силы. Мы залегли на краю уступа над тесниной и ждали, и вскоре внизу показались наемники, шагавшие строем по три в ряд и растянувшиеся по дороге огромной змеей длиною более полумили; на солнце сверкали их медные шлемы, сияли до блеска надраенные нагрудники, реяли боевые знамена, и колыхались, как рябь на воде, ряды высоко поднятых пик. Зная, что его войску предстоит идти по горным тропам и перевалам, Аполлоний не взял с собою конницы; лишь сам он ехал верхом на красивой белой лошади. В тот день я впервые увидел Аполлония. Это был высоченного роста густобровый человек в ослепительно начищенных доспехах, в снежнобелом плаще, с длинными, ниспадавшими до самых плеч черными волосами. Это был не такой наместник, как Апелл, которого рабы таскали в носилках, — нет, это был настоящий вождь и воин: сильный, властный и кровожадный, страшный в бою убийца.

Теперь уже греки понимали, что мы — не те деревенские увальни, какими они нас поначалу считали;

войско Аполлония двигалось медленно и осторожно. Это была суровая, могучая, неотвратима сила: в первых рядах шли лучники с луками наготове, и боевые двадчатки постоянно озирали громоздившиеся вокруг горы. Но заметили нас наемники только тогда, когда засвистел мой свисток и на них обрушился ливень наших стрел. Послышалось несколько четко отданных приказов вперемешку с руганью и воплями раненых, и наемники выставили перед собою свои щиты, образовав "черепаший панцирь", так что во мгновение ока весь растянувшийся по дороге строй превратился в длинную ящерицу, покрытую чешуйками щитов, под которыми наемники укрывались от наших стрел; один лишь Аполлоний, пренебрегая опасностью, метался на своей белой лошади взад и вперед вдоль строя, отдавая приказания и обрушивая на нас, залегших на высоком уступе, все известные ему проклятия. И все же, как ни проворно действовали наемники, наши стрелы оказались еще проворнее, и несколько человек упало замертво, а другие корчились, тяжело раненные, на земле. Нет, не так уж выгодно было служить в наемных войсках — даже с точки зрения головорезов и насильников: тех раненых, которые уже не могли идти сами, тут же на месте приканчивали их товарищи, ловко и умело перерезали им горло, а оставших добивали мы. Однако наемники не стали задерживаться и не попытались взобраться на уступ, чтобы расправиться с нами, что было бы для них чистейшим самоубийством. Не нарушая строя, они ускорили шаг, чтобы поскорее выбраться на поляну, где на открытом месте они были бы в большей безопасности. Однако под Аполлонием была убита лошадь. В него самого целилась, наверно, добрая сотня лучников, но он остался невредим. Лошадь его была вся утыкана стрелами, но он соскочил с седла и, прикрывшись щитом, продолжал путь во главе строя.

Мы следовали за наемниками по краю горного гребня и не давали им покоя до тех пор, пока дорога, по которой они двигались, шла внизу под нами вдоль кряжа. Но когда они выбрались на открытое место, их лучники изгоготовились атаковать нас. Мы быстро

отступили, и наемники в своих тяжелых доспехах не могли за нами угнаться. А потом, сделав круг по горам, мы зашли к ним с другой стороны.

Когда греки расположились на ночлег, мы окружили их и всю ночь не оставляли в покое, то и дело осыпая их стрелами. Дважды они пытались навязать нам схватку, наступая на нас сомкнутым строем в несколько рядов, но мы каждый раз ускользали и рассеивались в разные стороны, а наемники, грохоча доспехами, беспомощно тыркались во тьме, разыскивая своих врагов, неожиданно исчезнувших как привидения. Мы же устроили свой ночлег, примерно, в миле от них и спали по очереди, позаботившись, однако, о том, чтобы наемники всю ночь не могли сомкнуть глаза. Во время этих ночных стычек мы потеряли только четырех человек, и еще семеро было ранено, но не тяжело, так что все они могли идти. Позднее, уже после ухода наемников, мы обшарили место их ночлега и обнаружили там восемнадцать трупов.

Наутро Ионатан подполз к лагерю греков и увидел, как там появился Моше бен Аарон. Ионатан видел, как наемники схватили Моше бен Аарона, как он умолял их о пощаде; а потом Моше бен Аарон долго и убежденно втолковывал что-то Аполлонию, и наконец с лица наместника исчезла угрюмая ненависть, и на губах его зазмеилась ухмылка. Ионатан вернулся и рассказал нам о том, что видел, — и мы, не мешкая, вернулись обратно в Офраим.

Трудно рассказать о битве, трудно описать, как она проходила от начала до конца, ибо сперва битва разворачивается на большом пространстве, и схватки идут в разных местах, а ведь видишь ты только то, что у тебя перед глазами. Но во многих битвах сражался я до самого конца, а это уже нечто совсем иное. Здесь я должен рассказать, в меру сил своих и способностей, как все происходило, ибо кто из моих прославленных братьев или из людей Модина может об этом поведать? Где они все?

Я должен поведать о том, как погиб Моше бен Аарон, — подобно тому, как поведал я о гибели его

дочери Рут, которая была душою моею, и плотью, и кровью моею. Но его смерти я собственными глазами не видел. Наш отряд вернулся обратно в Офраим, за два дня и две ночи мы преодолели семьдесят миль по горам, неся с собою раненых. Но у Иегуды не нашлось для нас ни слова похвалы, ни слова участия. Он приказал мне снова поднять своих людей, повести их и затаиться у входа в узкий лог, который вел к смраднему офраимскому болоту.

— Но мы двое суток не спали, — возразил было я.

— Придете на место, там и поспите, — отрезал Иегуда. — И да хранит Бог того, кто позволит обнаружить себя, пока греки не пройдут мимо: я убью его собственными руками.

Я открыл рот, но слова застряли у меня в горле, и я ничего не сказал. Я увидел, что Иегуда преобразился. В нем появилось что-то яростное. И он не допускал возражений даже со стороны близких. Мы с Иегудой стояли в долине, в которой еще так недавно во-всю кипела жизнь, а сейчас тут было пусто и тихо. Казалось, что Иегуда здесь один — властитель и повелитель этой необитаемой земли.

— Куда девались все люди? — спросил я.

— Спрятались; ждут, пока мы либо победим, либо погибнем.

Он сжал мне руку — это напоминало мне железную хватку адона — и сказал:

— Шимьон, Шимьон, есть только одна дорога, ведущая в Офраим, и одна, ведущая оттуда, — и ты должен быть там. Не подведи меня! Ты ненавидел меня, Шимьон... Так обещай мне!

— Я не ненавижу тебя, Иегуда. Как могу я ненавидеть своего брата?

— А как можешь ты любить его? — сказал Иегуда. — С тобой будет Ионатан. Береги его, береги!

И мы двинулись к логу — Ионатан, и я, и наши четыреста человек; и мы притаились около тропы — кто в частом кустарнике, кто за скалой, кто в выкопанной яме. Мы не развели костров, поэтому поели холодной пищи и запили водой. И тут же уснули, как убитые. Наконец на тропе появился наемники, их вел

Моше бен Аарон, и они протопали мимо нас по логу и исчезли в офраимском болоте.

Когда они скрылись, мы, как бешеные, взялись за работу. Мы натаскали и уложили поперек тропы массу камней и деревьев и перегородили тропу высоким и прочным валом.

Как я узнал потом, они прошли через лог и очутились в глухом, мрачном и смрадном болоте, где над их головами плотным пологом нависала листва, сквозь которую едва пробивался солнечный свет. Чуть ли не милю прошагали они по топи, увязая в липкой, зловонной жиже, окруженные зловецим безмолвием, пока трясина не стала засасывать их, и тогда-то Аполлоний сообразил, что из болота есть только один путь — назад, туда, откуда он пришел. Здесь-то мы потом и обнаружили труп Моше бен Аарона, полузатопленный в грязи и страшно изуродованный. Уже убив его, наемники сделали еще две попытки пройти через болото, но потом все-таки вынуждены были повернуть назад. Но добравшись до твердой почвы, они наткнулись на сооруженный нами вал, перегородивший тропу, — а в это время Иегуда и его люди с окрестных утесов начали осыпать наемников стрелами.

Наемников уже охватило было смятение, но Аполлоний железной рукой быстро навел в своем войске порядок. Дважды вел он наемников на приступ нашей наскоро возведенной твердыни, и дважды мы отбивали его натиск. Когда мы расстреляли все наши стрелы, мы бились копьями. Когда переломали все копья, мы сражались камнями, палками, ножами, голыми руками. От нашего отряда, руководимого Ионатаном, Рувимом и мною, Аполлоний понес свой самый тяжелый урон; снова и снова вел он на нас сомкнутым строем своих солдат. Половина наших людей была убита или ранена, но мы сдерживали и снова отбрасывали наемников, а в то время люди Иегуды с горных уступов обрушивали на них ураган стрел — коротких и острых, как иглы, смертоносных стрел, заполнявших воздух, точно падающий снег, и стрелы эти неумолимо настигали наемников, впиваясь в них всюду, где их тело не прикрывала броня.

Казалось, уже целую вечность выдерживаем мы натиск наемников за нашим доморощенным валом, но это, наверно, продолжалось не столь уж долго. И все же именно там, в этом логоу, Аполлоний потерял едва ли не половину своих людей. Половина из его трех тысяч против половины из наших четырехсот — это был не такой уж плохой счет! Наконец наемники отступили на открытую лужайку, и мы смогли перевести дух; из наших ран хлестала кровь, мы еле дышали, у нас подкашивались ноги, нас чуть ли не ветром шатало, но мы ликовали, опьяненные своим успехом, мы себя не помнили от радости, от торжества — и от ужаса, потому что весь лог был устелен, точно ковром, трупами евреев и наемников. В первый раз еврей и грек сошлись в битве с мечом в руке, и еврей остановил грека и отшвырнул его назад. И, хотя мы едва держались на ногах от усталости, мы бросились из лога на лужайку, где сгруппировались оставшиеся в живых наемники.

Аполлоний построил своих воинов сомкнутым четырехугольником. Они превосходили нас числом и могли бы прорвать наши ряды, но не решались на это. И едва наемники образовали свой четырехугольник, как вниз со склонов, издавая оглушительные крики, ринулись на них Иегуда и Эльазар со своими отрядами, которые еще не вступали в бой и были полны свежих сил, тогда как наемники уже проделали дневной переход, и продирались через топкое болото, и выдержали две жестокие схватки с нами. На нас не было никаких доспехов, а каждый наемник был с ног до головы увешан железом, которое весило добрую сотню фунтов. Мы знали эти места, как свои пять пальцев, а наемники плохо сображались, куда им ткнуться. На землю уже спускались вечерние тени, вокруг со всех сторон громоздились угрюмые, грозные громады, и во мгле пробуждались призраки и злые духи, которых так боятся суеверные греки.

Эльазар бежал впереди нападающих. Размахивая своим чудовищным молотом, он крушил и раскидывал вокруг себя наемников, как молотят на току пшеницу, а за ним на насмников устремились Иегуда, и наш

добрый Иоханан, и чернокожие африканцы, и вопящие изо всех сил, опьяненные битвой, евреи — люди, которым выпало сверх меры страданий и которые теперь дождались часа мести. Строй наемников дрогнул, а в это время остатки моего отряда — все, кто еще мог драться, — присоединились к нападавшим. Все смешалось, боевой порядок наемников был полностью сломлен, и они обратились в беспорядочное бегство. Рукопашный бой превратился в свалку, а свалка превратилась в резню. Некоторые из наемников еще пытались было обороняться, но большинство удирало; а мы гнали их в болото, где они увязали в грязи, и настигали их там и приканчивали. Часть наемников кинулась в горы, и кое-кому из них удалось спастись — но очень немногим, ибо дрались мы ожесточенно и отчаянно, и везде, где наемникам удавалось на какое-то время укрепиться и создать оборону, появлялся великан Эльзар со своим молотом и его чернокожие копыеносцы. Что до меня, то я, как и многие другие, был словно в угаре. Ни разу до того в пылу битвы не упускал я из виду Ионатана; а теперь я видел перед собою только своих врагов, только своих врагов, которые убивали тех, кого я любил. И я сражался яростно, как и все остальные, то рядом со своим братом Иегудой, то опять теряя его из виду; снова и снова догонял я того или иного бегущего наемника и всаживал ему нож в незащищенное броней место.

Я опомнился, когда уже вечерело и все было кончено, только стонали раненые да вдали спасались бегством несколько наемников. Солнце уже закатывалось за горы, и болотная вода багрово отсвечивала кровью. И в сумеречном свете, озаренные пурпурным заревом заката, продолжали сражаться Иегуда и Аполлоний, и кровь, что лилась из их ран, казалось, смешивалась с алыми отблесками заходящего солнца. Я был так измучен, что при одной мысли о том, чтобы продолжить бой, меня начинала бить дрожь, — эти же двое не выказывали ни малейших признаков усталости и смотрели друг на друга с такой лютой злобой, какой я отродясь не видел на лице человеческого. Ненависть исказила их черты, сквозила во всех их движениях,

она пронизывала все их существо. У каждого из них был в руке длинный греческий меч. Аполлоний во время битвы лишился своего щита, но на нем все еще оставался нагрудник, наголенники и шлем. На одной щеке у него был глубокий шрам, из которого лилась кровь, и весь он был залит кровью от шеи до пят, но больше ран на нем вроде бы не было, а Иегуда был ранен, наверно, раз десять. Оба они были примерно одного роста, но Аполлоний был столь же грузен, сколь Иегуда строен, и столь же уродлив, сколь Иегуда красив. Иегуда был обнажен по пояс, и штаны его были красны от крови. Он потерял где-то в бою свои сандалии и сражался босой. Грек был тяжел и грозен, как бык, Иегуда же проворен и гибок, как леопард галилейских холмов.

Я кинулся было к нему на помощь, и боль от моих собственных ран пронзила все мои члены, но Иегуда махнул мне рукою, чтобы я не вмешивался. Подскочило еще несколько наших, и теперь Иегуда и Аполлоний стояли в кольце людей, и Иегуда крикнул:

— Ну как, грек, будешь драться, или побежишь и умрешь трусом, как твои люди?

В ответ Аполлоний сделал выпад, который Иегуда отразил, и между ними разгорелась такая жестокая схватка, какой я еще никогда до того не видел. Они дрались неустрашимо, как звери, и яростно, как демоны. Удары сыпались один за другим, и мечи их звенели диким напевом пустыни в надвигающейся ночи; оба тяжело дышали, и ноги их увязали в топкой болотистой почве. Евреи расступились, освобождая им место. Таков был Маккавей, и никто не посмел вмешаться; я это понимал. Даже если бы Иегуда погибал здесь, на наших глазах, ни я, ни Иоханан, ни Эльзар, ни Ионатан ничем не могли бы ему помочь. Я видел теперь всех их, моих братьев, но они не видели меня: их взоры были прикованы к сражавшимся.

И наконец грек нанес Иегуде удар, который мог бы рассечь его надвое, если бы Иегуда не отразил удар своим мечом. Но меч Иегуды сломался, и он остался с обрубком меча в руке, — но остался только

на долю секунды, ибо в следующее мгновение, пока грек выпрямлялся, Иегуда рванулся вперед и вонзил этот обрубок прямо в лицо греку. Аполлоний рухнул наземь, и Иегуда все колот и кромсал обломком меча изуродованное лицо врага, пока мы с Эльзаром не оттащили его прочь.

Иегуда стоял, переводя дух, и меч его упал на труп грека, а потом он нагнулся и взял меч Аполлония. Стемнело, но у нас не было сил двигаться. Мы улеглись на земле там же и тотчас же уснули, и живые, и мертвые спали в ту ночь бок о бок.

Так мы стали войском, и это было такое войско, какого до тех пор не знала земля: это было войско из народа, вставшее на защиту народа, — единственная в мире армия, которая сражалась не за плату и не ради власти, но чтобы отстоять свое право жить по завету отцов и на земле отцов.

Мы проспали всю ночь на офраимском болоте. А наутро мы сняли с павших врагов доспехи и вооружение и похоронили трупы. И только труп Аполлония мы не похоронили: несколько человек отнесли его к воротам Иерусалима и бросили там в грязи, чтобы богачи-евреи, которые спрятались в городе, могли вочию увидеть жалкий труп безумца, на которого они надеялись.

Но нам некогда было отдыхать. Наши силы росли. Рагеш с Ионатаном ушли на юг и привели оттуда отряд смуглых, яростных, неистовых евреев, которые уже сотни лет обороняли свою землю от постоянных набегов бедуинов из пустыни. В Иудее восставали деревня за деревней: крестьяне убивали живших у них на постое наемников, расправлялись со своими собственными предателями и приходили к нам в Офраим. Через несколько недель у нас было уже двадцать, а потом и тридцать тысяч жителей, и по мере того, как увеличивалось в Офраиме население, росло и наше войско. На мне лежало тяжелое бремя: я обязан был накормить, устроить и обеспечить оружием всех этих людей. День за днем от зари до зари трудился я, не покладая рук. Я рассылал людей по всей Иудее, чтобы

они опорожняли склады и амбары и каменные винные чаны и приносили в Офраим мясо, хлеб, масло, вино, и здесь мы строили для всего этого добра новые хранилища. В деревнях жители отдавали нам все, что могли отдать. Александрийские евреи создали особы вооруженный отряд, наряженный сопровождать в пути постоянно отправляемые к нам из Александрии караваны с пищей. В самом же Офраиме на наиболее недоступных, казалось, горных отрогах мы начали расчищать деревья и кустарники и восстанавливать старинные террасы, на которых уже лет триста ничего не сеяли и не сажали.

Во всех этих заботах мне помогал Иоханан, и его беспримерная терпеливость, его кротость и выдержка помогали иной раз достигать успеха там, где моя несдержанность и вспыльчивость воздвигала вокруг меня стену отчуждения. А тем временем Иегуда, Эльзар и Ионатан обучали людей сражаться. Военные действия, которые мы уже порядком освоили, война, которая превратила в западную всю страну, каждую деревню, каждый холм, каждую долину, — война эта продолжалась безостановочно. То и дело мы совершали набеги по всей стране — от пустынь юга до гор Галилеи на севере, и то один, то другой из братьев все время уходил с отрядом из Офраима, чтобы и греки и богачи-евреи нигде не могли спать спокойно, чтобы они знали, что только за высокими крепостными стенами они будут в безопасности.

Наша следующая большая битва произошла через три месяца.

Могу ли я описать эту битву так, чтобы ее можно было отличить от других? Для нас начались годы, когда одна битва следовала за другой, и в каждой следующей битве принимало участие больше наемников, чем в предыдущей, и мы побеждали, но они приходили снова, и снова, и снова, и их было все больше и больше, как-будто какой-то неисчерпаемый колодец извергал из себя бесчисленные орды этих озверелых наемных убийц, и весь мир изобиловал этими убийцами, ибо мир-то этих убийц и создавал, чтобы продать их венценосному безумцу на севере, словно одер-

жимому лишь одною навязчивою мыслью — уничтожить евреев.

Прошло немало времени, пока царь нашел для Иудей нового наместника вместо Аполлония. Наконец наместник этот был назначен. Звали его Горон, и он повел четыре тысяч наемников, среди них четыреста всадников, по большому проезжему тракту, ведущему в Египет, иногда отклоняясь от тракта на восток или на север — к Экрону или к нашим горам, как до него Аполлоний. Мы встретили Горона между Модиином и Гибеоном и разбили наголову, окружив и загнав его войско в ущелье между двумя горами и обратив его в бегство. На поле боя он оставил восемьсот трупов, и потом два дня преследовали мы по горам остатки рассеянных наемников, и стрелы сыпались на них с каждой кручи и с каждой скалы, пока наконец греки не добрались до побережья и не укрылись там в крепостях.

Так за два месяца мы разбили две большие армии, и теперь, за исключением Иерусалима, в котором заседала кучка богачей-евреев вместе с расположенным там греческим отрядом, не было во всей Иудее такой дороги, тропы или деревни, где наемники могли бы безопасно передвигаться, если их было меньше, чем несколько тысяч человек скопом. И даже тогда они любой ценой избегали глубоких ущелий и горных троп, которые для них были страшнее ада. Освобожденная нами земля простиралась теперь от Офраима к югу до самых стен Иерусалима, и я припоминаю, как впервые мы с Иегудой повели пятьсот еврейских копьеносцев к Иерусалиму и приблизились к самым его стенам. Пять часов стояли мы и смотрели на поруганный и оскверненный священный наш город, и лишь когда на нас двинулся отряд наемников, мы отступили.

И Иудея начала жить по-новому. В Офраиме на восстановленных древних террасах уже занимались первые всходы, а мы собирали на болоте перегной и удобряли им почву на склонах гор. И во многие разрушенные деревни, вплоть до Модиина, начинали уже возвращаться жители, они отстраивали свои сожжен-

ные дома, начинали сев и готовились снимать урожай. Но это была всего только передышка, а не мир — и в этом мы убедились, когда из Дамаска снова пришел в Офраим наш старый знакомый Моше бен Даниэль. Но теперь это был уже совсем другой человек: он постарел, и в глазах его застыл ужас.

— Я пришел, чтобы остаться здесь навсегда, — сказал он. — Нет более евреев в Дамаске. Антиох совсем обезумел, теперь он — как лютый зверь. Он издал указ истребить всех евреев в Сирии, и еврейская кровь струилась по улицам Дамаска, как дождевая вода. А вокруг города расставлены тысячи шестов, и на каждом шесте — голова еврея. Мне удалось спастись — я за деньги купил себе свободу. Но тех, кто спасся, можно пересчитать по пальцам. И моя жена, и вторая дочь погибли.

И все это он поведал спокойным, ровным голосом, как евреи часто рассказывают о своих бедах и муках.

— Все евреи обречены на смерть, — бесстрастно сказал Моше бен Даниэль. — Все евреи в Дамаске, все евреи в Аммоне, в Сидоне, в Аполлонии, в Яффе, и в Иудее тоже. Он насыпет гору из еврейских черепов, он доверху наполнит долины Иудеи костями евреев. Так он говорит, и он визжит от бешенства, и так оповещают глашатаи по всем городам Сирии. Убить еврея сейчас — это не преступление, это по-двиг. Так говорит Антиох.

— И каким же образом собирается он убить всех евреев в Иудее? — спокойно спросил Иегуда, в то время как Эльзар сжимал и разжимал кулаки.

— Он пошлет в Иудею больше солдат, чем когда-либо сюда приходило за все эти годы, — хоть сто тысяч, он так говорит. Впрочем, мне кажется, у него не хватит денег, чтобы нанять такое огромное войско. Но как бы то ни было, это будет грозная сила — да, грозная, уверяю тебя, о юноша, которого называют Маккавеем. Еще до того, как я бежал из Дамаска, весь город кишел работоторговцами из Афин, Сицилии и Рима, и царский казначей заключал с ними сделки и брал у них займы в счет будущих побед. На большом базаре драгоценностей в Дамаске продавалось

четыреста больших рубинов из царской сокровищницы, и везде вокруг города теперь лагеря наемников, и каждый день прибывают все новые и новые...

— Из-за них мы становимся озлобленным народом и страшным народом, — прошептал Иегуда.

И вот против нас двинулось третье войско. Не знаю, сколько в нем было наемников, но миль на семь растянулось оно по дороге: никогда дотоле не видела Иудея такого войска. Никто не мог его счесть. Кто-то говорил, что было их тысяч пятьдесят, а кто-то утверждал, что все восемьдесят. Одно я знаю: с Рувином и Эльазаром и тремя чернокожими африканцами поднялся я на гору Гильбоа, и мы смотрели оттуда, как они шли. Не такое это было зрелище, чтобы придать человеку отваги. Наемники заполнили всю землю, как саранча, и милью за милей тянулись за ними обозы, в которых ехали работорговцы и шлюхи — те, кто обычно следуют за войском. Казалось, что переселется целый народ. Под знамя Антиоха были собраны все сирийские наемники и еще множество наемников из Египта, Греции, Персии. И против этого воинства мы могли выставить разве что шесть тысяч бойцов.

Но их многолюдство нас и спасло. Все это неисчислимое скопище мужчин, женщин и животных не могло передвигаться быстро, и оно ползло с черепашьей скоростью по дороге вдоль побережья, покрывая всего по нескольку миль в сутки. Мы следили за ними с гор, и едва лишь какой-нибудь отряд наемников отделялся от главных сил и делал набег на близлежащую деревню, чтобы раздобыть еды или просто пограбить, как тут же их настигали еврейские стрелы. Мы двигались впереди войска наемников и перед их приходом отравляли у них на пути колодцы и водоемы, сжигали все, что горело и что мы не могли унести с собой, а по ночам вокруг их привалов всегда пылали наши дозорные костры. Когда наемники спали, Эльазар и его чернокожие африканцы пробирались иногда в самый их стан, перерезали горло часовым, сеяли среди греков смятение и скрывались в их же разношерстной толпе.

Двигаясь на юг, антиохово войско достигло Хацо-

ра. К этому времени число наемников увеличилось. Работорговцам удалось захватить две-три тысячи еврейских пленников, и еще пять-шесть тысяч нохри, живших на прибрежной равнине. Работорговцам было в общем-то наплевать, кого заковывать в цепи. Деньги, уплаченные ими Антиоху за откуп пленных, развязали им руки, и наши соглядатаи доносили нам о распрях и раздорах, которые вспыхивали между разноплеменными работорговцами, хозяевами девиц и греческими военачальниками. К тому же всякий сброд и подонки из прибрежных городов — жалких, грязных городов, которые некогда были красою и гордостью могущественной Филистии, — нанимались наемниками к Горгию, главнокомандующему сирийского войска. Горгий был нерешительным и слабым человеком, в нем, как в Апелле, текло мало греческой крови, и боялся он только одного — царской расправы, если он вернется на север, не усмирив Иудеи и не истребив евреев. И поэтому он охотно брал к себе в наемники кого попало, и силы его увеличились, как мы слышали, чуть ли не до ста тысяч человек. И он бросался, как безумный, на каждого безоружного и беззащитного еврея, если таких еще находили на прибрежной равнине.

В Хацоре войско остановилось, и их стан растянулся по равнине на много миль, а мы собрали свои шесть тысяч человек в Мицпе, в предгорье, милях в десяти от них. Эти шесть тысяч были славные воины. Пока наши люди приготавливали свое вооружение, мы с Иегудой обошли весь лагерь, и Иегуда для каждого находил доброе слово, зачастую припоминая, чем этот человек отличился в прошлом. У Иегуды была необыкновенная память, и он никогда не забывал, как зовут человека, с которым ему довелось встретиться или о котором он от кого-то слышал. Он не забывал, что сделал когда-то на его глазах тот или этот человек. И теперь Иегуда то и дело пожимал руки или оставливался, чтобы обнять кого-то, с кем они вместе рубились еще в те дни, когда мы делали набег небольшие группы, человек по десять-двадцать. Иегуда весь светился от гордости, озирая высоких, строй-

ных, закаленных бойцов, способных пройти тридцать миль по горам, съев за все это время лишь ломоть хлеба, а после этого сразу же броситься в бой и драться с яростью голодного волка.

Когда Иегуда начал говорить, все обступили его, и глаза их блестели.

— Нам предстоит нелегкое дело, — сказал Иегуда, — дело, какого еще не видывали в Израиле, ибо разве когда-нибудь в нашу священную, древнюю землю вторгалась такая орда? С такой мощью не сталкивались ни Давид, ни Шломо.\* Но Господь — наш оплот, и мы сокрушим их, и истребим их, и пусть они убираются восвояси, туда, откуда пришли. Их дело неправое. Они голодны, и злы, и уже грызутся между собой. Мы и прежде их порядком покусывали, — добавил он с усмешкой, — так укусим же их еще раз.

В толпе поднялся гул, но Иегуда поднял вверх руки, и все умолкли.

— Не хотите ли, чтобы они услышали вас? — улыбнулся Иегуда. — Даже теперь, сидя там, в долине, они во все глаза глазеют на горы. Но рано или поздно им придется набраться храбрости и полезть на перевал. Вот тут то мы их и встретим. Мы сделаем это так: я буду во главе, и каждый из моих братьев поведет тысячу человек. Если нам не суждено победить, то пусть мы погибнем, чтобы нам не пришлось хранить в себе память о своем поражении. А если мы победим и потеряем друг друга из виду, то местом встречи будет Модиин — деревня, где жил мой отец, адон Мататьягу, и там мы соберемся все вместе и возблагодарим Бога.

— Аминь! — единодушно вырвалось у всех, и от крика содрогнулись деревья.

Как рассказать мне о том, что случилось дальше? Ведь было так много битв. Проще всего сказать, что Горгий взял пять тысяч пехоты и тысячу конницы и двинулся к северу, на Эммаус, чтобы прощупать наши горы. Когда он оставил свой лагерь и стал про-

---

\* Шломо — Соломон.

двигаться вперед, мы напали на лагерь и сожгли его. Так мы в первый — но не в последний — раз вклинились между передовым отрядом и основными силами, сжигая то место, куда этот отряд мог бы отступить.

Как много было битв! Трудно теперь, когда прошло столько лет, отличить одну от другой. Но Горгий был далеко не Аполлоний. Он углубился уже в горы со своими шестью тысячами наемников, когда услышал со всех сторон вокруг себя — и с боков, и спереди, и сзади — оглушительный свист и трубный звук наших шофаров.\* Когда же он в сумерках увидел с горы, как внизу горит его лагерь, откуда он недавно вышел, ему стало по-настоящему страшно, как бывает страшно всякому, кто пробирается по горным тропам Иудеи, когда с неба низвергается дождь наших стрел. И тогда Горгий решил, пока не поздно, повернуть назад и, проделав ночной переход, поскорее возвратиться к основным своим силам — к своим восьмидесяти или девяноста тысячам наемников, которых он оставил внизу, на равнине. Он был неумен и потерял голову от страха — а в ту ночь он в полной мере понял, что такое страх, — и он сделал то, на что бы не решился ни один греческий военачальник: на ночной переход по иудейским горным перевалам, во время которого солдаты длинной цепью растягиваются по тропе, а лошади, когда в них волезаются стрелы, безумеют от боли и сбрасывают всадников. И стрелы свистели, не переставая, всю ночь. Вдобавок в узких ущельях в наемников летели камни, а в одном месте, где дно теснины сузилось до ширины всего в шесть или семь ступней, засели Эльзар и кузнец Рувим вместе с людьми Модина и чернокожими африканцами, чтобы не дать грекам подняться на перевал, и тут-то африканцы получили возможность свести свои счеты с наемниками, отомстив за жену и дочь Моше бен Даниэля, убитых в Дамаске. Три часа подряд посылал Горгий своих людей на приступ, и три часа

---

\* Шофар — бараний рог, в который трубят во время некоторых культовых обрядов.

подряд сокрушительный молот Эльзара отбрасывал их назад. В ту ночь у подъема на перевал груды трупов достигали высоты чуть не в человеческий рост, и защитники сражались, стоя по щиколотку в горячей крови. И наконец остатки объятых ужасом, громко вопящих наемников полезли на скалы, где их сразили наши ножи и наши стрелы. С тех пор эта теснина долго еще издавала зловоние: мы наполнили ее трупами более двух тысяч наемников, и это был достойный памятник в честь Антиоха, царя царей.

Спасти удалось немногим. Горгий и горстка наемников сумели пробиться обратно на равнину, но остальных мы преследовали всю ночь и все утро и загоняли вниз, в ущелья, истребляя почти на глазах у оставшихся в огромном лагере на равнине.

И после этого восемь месяцев огромная сирийская армия стояла лагерем на большой равнине Филистии, и за это время наемники сделали девять попыток проникнуть в горы Иудеи, и девять раз мы разбивали их наголову и им ничего не оставалось, как спастись бегством, возвращаясь на спасительную равнину. Их терзали болезни и голод, в их рядах росло брожение; и все восемь месяцев они разоряли и грабили приморские города Газу и Ашкелон (под предлогом, что им необходима защита городских стен), и постепенно все жители этих городов были переданы работорговцам, чтобы царь царей мог заплатить свои давно просроченные долги. А в глубине страны, всего за десять, пятнадцать миль от побережья, и Мицпе, в Гате и в других таких же деревнях евреи отстраивали свои террасы и мирно возделывали землю.

За эти восемь месяцев почти непрерывных боев мы многое поняли и многому научились. Мы поняли, что людей, рожденных в горах, нельзя оторвать от той земли, которая их взрастила. Мы поняли, что еврей может сражаться лучше наемника, ибо мы сражаемся за Бога и за нашу землю, а наемники — за деньги и за добычу. И мы научились владеть, когда нужно, оружием греков — мечом и копьем.

И не было в Иудее сомнения, кому быть вождем

народным. Иегуда был Маккавеем — это слово стало его именем, и это имя он даровал также своим братьям. И люди, которые поначалу шли за Иегудой только потому, что не за кем было больше идти, теперь полюбили его, как никого не любили в Израиле ни до того, ни после, — полюбили так, как едва ли какой-нибудь вождь на целом свете был любим людьми, которые шли за ним. Я оставался тем же, кем я был до того и кем остаюсь теперь — Шимъоном бен Мататьягу, евреем, как все евреи. Но небывалую дотоле славу стяжали мои братья: Иоханан, на которого люди смотрели, как на отца; Ионатан, молодой, ловкий, хитроумный, в схватках быстрый, как демон, и свирепый, как волк; Эльзар, краса и ужас битвы; и Иегуда Маккавей — Иегуда, брат мой Иегуда, Иегуда, которого я ненавидел и любил, Иегуда, воплотивший в себе чаяния народа и душу народа, не знавший жизни вне народа, добрый в совете и страшный в бою, Иегуда, которого я никогда не понимал и не мог понять и которого, я думаю, никто на свете не понимал и не мог понять. Я любил лишь одну в мире женщину, и, утратив ее, я отдалился от людей и стал холодным и суровым, как отец мой, адон. И все же, оглядываясь на прошлое, я не могу с уверенностью сказать, что Иегуда не любил эту женщину больше, чем я. Да и в силах ли была моя скудная способность любить сравниться с душевным жаром его, брата моего, который любил столь многих и был любим тысячами людей? Никогда за все время, что я его знал, не видал я, чтобы он совершил что-то мелкое, недостойное, низкое. Никогда не слышал я, чтобы возвысил он голос в гневе — разве что обращаясь к врагу, но и тогда его гнев смягчался жалостью сострадания. В эти и последующие годы многих из нас война ожесточила и озлобила; лучше, чем любое другое занятие в нашей жизни, освоили мы искусство убивать. Но Иегуда не ожесточился и не озлобился, кротость и доброта не покинули его до самой смерти. Когда четырех наших людей уличили в предательстве и едва не убили на месте, именно Иегуда защитил и отпустил их. Когда многих из нас стала косить ужасная болезнь, наводив-

шая страх даже на самых сильных духом, Иегуда ходил за больными и сидел у их изголовья. Когда не хватало еды, Иегуда ел мало или не ел вовсе.

Женщины обожали его, но не было для него в целом мире другой женщины, кроме той, которая носила в чреве моего ребенка и погибла. Иногда мне сдается, что при всем том, кем Иегуда стал для людей, он был самым одиноким и грустным человеком, которого я знал в своей жизни.

Через восемь месяцев Лисий, регент Антиоха, лично появился в греческом стане, дабы возглавить военные действия, и он привел с собою с севера четырехтысячную конницу. Наши силы тоже выросли и насчитывали теперь десять тысяч опытных, неустрашимых бойцов. Но у Лисия было двадцать тысяч пехотинцев и около семи тысяч всадников, он пересек с ними безводную Идумею и с юга подошел к Хеврону. Долины там, правда, шире, но, как ни верти, а пришлось ему все же двинуться в Иудейские горы, и там он сделал ту же дорого ему обошедшуюся ошибку, что и Горгий: он повел конницу по горным тропкам, по которым часто и двое пеших не пройдут рядом. Всадники Лисия были его первейшими врагами, но обойтись без них он не мог, хотя снова и снова приходили они в ярость, когда на них с утесов сыпались наши стрелы. С той самой минуты, как Лисий стал углубляться в горы, мы не давала ему ни сна, ни покоя, и наконец мы перегородили ему дорогу на перевале около Вет-Цура. Три дня подряд пытался он прорваться через перевал, и три дня подряд мы убивали его солдат и наполняли долину трупами. Тогда он решил отступить, и это отступление превратилось в беспорядочное бегство, и мы гнали и гнали наемников до самой Шефелы, уничтожая один отряд за другим, ни на мгновение не оставляя его в покое, не давая наемникам ни сна, ни отдыха. Лишь когда Лисий вырвался на равнину и там кое-как собрал все, что осталось от его фаланги, мы несколько отстали, но все же продолжали открыто преследовать его. И днем и ночью шли мы за ними, и легкие лучники преследовали тяжело-

весных щитоносцев. И в иудейской ночи свистели тысячи тонких кедровых стрел, которые горными ливнями обрушивались на лагерь. Когда же Лисий пытался перейти в наступление, мы рассеивались и исчезали, как туман; а когда он высылал против нас остатки своей конницы, мы стрелами поражали лошадей.

Прошел год с той поры, как полчища царя царей вторглись в Палестину, чтобы уничтожить евреев. И вот теперь они тронулись обратно в Сирию, оставив за этот год в наших долинах не менее тридцати тысяч мертвецов. И по мере того, как эта чудовищная, разноплеменная орда наемников, работорговцев, рабов, сводников и шлюх двигалась на север, мы следовали за ними. И на протяжении всего пути от Филистии до Саронской равнины в Галилее еврейские стрелы не давали им покоя, чтобы они навеки запомнили, как они нас сперва презирали и чем это презрение для них обернулось.

Вот так это и произошло, что в месяц мар-хешван, мягкой и прекрасной иудейской осенью, когда со Средиземного моря день и ночь дуют прохладные ветры и все долины устилаются цветистым покровом маков, освобождена была наша земля. Когда первое дуновение зимы жалит вечнозеленые растения на горных варшинах, когда завершается осенний сев и виноградари на радость людям гонят шекар — терпкое, крепкое вино, — в эту благодатную пору освобождена была наша земля. Но освободилась-то она не навеки. — И не было среди нас глупцов и легковеров, которые бы полагали, что мы уже более вовек не увидим греков, что безумец Антиох может так легко отказаться от столь богатого, плодоносного, прекрасного сокровища, как Иудея. Был еще в мире миллион наемников, которых Антиох мог взять себе на службу, и хватало еще городов, из которых он мог выжимать кровь и золото, чтобы платить наемникам. Но мы знали, что пройдут месяцы или, быть может, даже годы, пока он оправится от нанесенного ему удара, — и мы получили перedyшку.

Стояла необыкновенной красоты золотая осень,

как-будто сама земля, каждый камень и каждая песчинка, каждый цветок и каждый колос пшеницы — все они воздавали хвалу Господу за самый драгоценный из даров — свободу. Из Иудейской пустыни на юге и из земли Офраим на севере тысячи семей стали возвращаться в дома, в покинутые и разрушенные деревни. И в благоуханном вечернем воздухе глубокие доли и горные тропы оглашались благодарственными напевами во славу завоеванной нами свободы.

А тысячи других устремились к священному городу Иерусалиму, ибо разнеслася молва, что Маккавей войдет в город и очистит оскверненный Храм.

Целых два дня Иегуда, и мы, его братья, и все наши военачальники, и наиболее почитаемые адоны и учителя наши держали совет, как поступить с последним оставшимся на земле Израиля врагом — с греками и еврейскими богатеями, которые вместе с наемниками засели в иерусалимской крепости Акра. Кое-кто, среди них Рагеш, предлагал заключить с ними соглашение: предложить им покинуть страну. Но я воспротивился этому, и братья мои поддержали меня.

— Мы не заключаем соглашений со свиньями и изменниками, — сказал я.

А Иегуда, кивнув головой, добавил:

— На алтарь Храма водрузили они свиную голову и поклонялись ей. Когда они будут ползать перед нами на брюхе, подобно тому, как ползал один предатель в Шило, у нас еще хватит времени, чтобы решить, жить им или умереть.

Некоторые предлагали собрать силы и взять крепость приступом. Особенно стояли за это александрийские евреи: они говорили, что пришлют мастеров из Египта с осадными машинами, и с их помощью мы одолеем все препятствия. Но Иегуда был против этого.

— Хватит крови! — сказал он. — До сих пор мы сражались в горах; но как нам одолеть каменные стены в пятнадцать локтей толщины? Да пусть они себе хоть сгниют в крепости — и пусть увидят собственными глазами, как мы очистим Храм.

И вот мы вернулись в Храм, как когда-то предсказывал еще адон. Сперва мы отправились в Модиин,

который уже вставал из пепла. Мы очистили синагогу и рабби Рагеш читал там молитву. Оттуда две тысячи тщательно отобранных бойцов, во главе с наиболее закаленными в боях жителями Модина и Гумада, все в полном боевом вооружении — с мечами, копьями, щитами двинулись к Храму. Первыми шли каханы — четверо рыжебородых старцев, изгнанных пять лет назад из Храма, верных сынов Израиля, прошедших вместе с нами весь наш тяжкий путь сражений. В своих бело-голубых одеяниях они поразительно напоминали адона. За четырьмя старцами следовали двадцать левитов в белоснежных плащах, и шли они босые, низко опустив головы от стыда, ибо слишком много среди левитов было предателей, слишком многие из тех, кто заперлись ныне в крепости, были левитами. За левитами шел Иегуда, тоже босой, в алой шапке, из-под которой выбивались его прекрасные каштановые волосы, ниспадавшие на полосатый плащ. Подобно левитам, он был без оружия и без украшений и, как они, он шел, опустив глаза, хотя снова и снова, когда мы проходили через деревни, люди окружали нас, и каждый стремился поцеловать его руки и приветствовать Маккавея. За Иегудой шагали мы, четверо его братьев. Как и воины, следовавшие за нами, мы, четыре брата, были вооружены: в руках у нас не было щитов и копий, но у каждого был начищенный медный нагрудник, длинный греческий меч и медный шлем с голубыми перьями. И за нами двигались наши две тысячи бойцов.

Следом бежали толпы людей, и по мере нашего приближения к Иерусалиму, эти толпы все росли и росли, а под полуразрушенными стенами города еще тысячи людей ожидали нас.

Как мог я не трепетать от гордости, глядя на моих прославленных братьев: на Иегуду — такого высокого и прекрасного; на Эльзара, подобного огромному рыжему льву, на Ионатана — гибкого, быстрого, чуткого, как олень, переживающего первый расцвет своей юности, с первыми завитками бороды на загорелом лице, на Иоханана, в глазах которого затаилась благородная и добрая грусть?

Мы шли все дальше и дальше, через горы и доли, как когда-то, давным-давно, шел я впервые сюда вслед за моим отцом. Но город теперь был уже не тот. Теперь это было беспорядочное нагромождение унылых развалин, черных от грязи и копоти. Между каменными плитами проросла трава, зияли пустые проемы дверей и окон, и безлюдные улицы придавали Иерусалиму сходство скорее с кладбищем, чем с городом. Кругом шныряли бездомные собаки, прячась в развалинах, когда мы проходили мимо, и повсюду виднелись следы бессмысленного, варварского поругания, которому подвергся город, — чтобы и в будущем мы не забывали о той высокой цивилизации, которая на какое-то время осчастливила нас своей заботой и оставила здесь свой след. Повсюду валялись высушенные солнцем человеческие кости. По мере того, как мы, приближаясь к Храму, поднимались по городским улицам все выше и выше, следов поругания становилось все больше, и когда мы подошли к Храмовой горе, то заметили, что в Акре происходит какое-то движение — какие-то человечки вылезли на крепостные стены, чтобы под защитой своей твердыни наблюдать за нами.

Шедшие с нами также это заметили, и их полные ненависти глаза не обещали евреям, засевшим в крепости, ничего хорошего. Сначала, когда мы шли по стране, мы кричали и пели, радуясь своему торжеству, но на улицах Иерусалима все как-то притихли, и чем ближе мы подходили к Храму, тем глуше раздавались голоса. Когда же мы вступили в храмовый двор, воцарилась полная тишина, ибо то, что мы увидели, не могло, казалось, быть делом рук человеческих — такое могли сотворить только какие-то лишенные рассудка чудовища.

По-прежнему Храм оскверняла свиная голова — она лежала тут же, разлагаясь и отравляя воздух невыносимым зловонием. Храмовые резные ворота работы искуснейших резчиков были сожжены, бесценная мраморная облицовка храмовых залов была выдолблена и расколота, древние свитки Закона были изодраны в клочья и валялись на полу. Напоследок,

уже уходя, греки или наемники схватили трех детей, перерезали им горло, протащили их окровавленные трупы через внутренние комнаты Храма и бросили их на грудь голубых шелковых занавесей, которые некогда отделяли одну комнату от другой. Такой предстала перед нами картина бессмысленного разрушения, поругания и безумия — исступленного безумия, до которого доводит человека лишь слепая ненависть к евреям.

А на самом алтаре стояла мраморная статуя Антиоха, царя царей, носителя цивилизации и всех благородных добродетелей западной культуры. Даже ваятель, как он ни алкал награды и как ни страшился царского гнева, не смог не передать в облике царя царей свойственных ему черт тупой, звериной жестокости.

Но не было времени для траура. Я отрядил Эльазара с тысячей наших воинов обложить Акру, а сам вместе с другими постарался разведать, что можно сделать, чтобы скорее исправить аквадук и наполнить огромные каменные водохранилища. Когда я вернулся, тысяча евреев уже скребла стены Храма золой и щелоком, и среди этих людей был Иегуда.

Три недели трудились мы не покладая рук, и работы на всех хватало. Со всей Иудеи приходили и приходили евреи, и каждый хотел помочь восстановить Храм. Каменотесы таскали из нижнего города мраморные глыбы, обтесывали их и заменяли поврежденные и сломанные плиты храмовой облицовки. Аквадук исправили, и в водохранилища потекла вода. Собрали кольца, браслеты и другие украшения, и кузнец Рувим их расплавил и отлил менору.\* Лучшие в Иудее резчики по дереву изготовили ворота. Все деревни присылали шелк для занавесей. Ни днем, ни ночью при свете факелов не прекращалась работа, и на двадцать четвертый день месяца кислева восстановление Храма было завершено, и он стоял, очищенный и прекрасный, как прежде.

И в утро двадцать пятого дня месяца кислева

---

\* Менора — семисвечник.

обновленный Храм был освящен, и в величественных залах его вновь зазвучали древние слова:

— Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Господь один!

И в меноре зажгли огни, и восемь дней продолжался обряд освящения. И за эти восемь дней в Иерусалиме пребывали чуть ли не все жители Иудеи. И все эти восемь дней тысяча вооруженных воинов с натянутыми луками круглые сутки стояла вокруг крепости Акра.

ИЕГУДА БЕССТРАШНЫЙ, НЕСРАВНЕННЫЙ

А теперь я приступаю к рассказу о том, о чем рассказывать горше всего — о том, как окончилась жизнь моих прославленных братьев. У греков, которые поклоняются разным богам, у которых другие понятия о правде и другие представления о свободе, — у греков есть также богиня, именуемая музой истории, и они премного гордятся тем, что пишут они свою историю правдиво. Но для нас, евреев, писать историю означает проникать в человеческую душу. Мы не бахвалимся тем, что пишем правду, ибо наше прошлое и наше будущее — это наш Завет, и наш Бог, и все, во что мы веруем. Так что же еще мы можем писать, кроме правды? Разве мы можем скрыть, что в припадке холодного гнева Каин убил Авеля? Или что Давид бен Иессей грешил, как мало кто грешил из людей? Мы не такие, как нохри, ибо рабами были мы в Египте, и об этом мы не забудем во все времена, когда уже и дети наши умрут, и дети их детей тоже, и мы не преклоним колени ни перед кем на свете, ни даже перед Господом Богом. Да и возможно ли отделить свободу от правды? И есть ли на свете другой народ, который говорит, как мы говорим, что сопротивление угнетателям — это самый высокий и самый еерный путь повиновения Богу?

И вот я сижу и пишу, погружаясь в прошлое, куда никому не дано вернуться, только Богу и Его бессмертной памяти. И одно за другим наплывают воспоминания, как наплывают на небо тучи, гонимые ветром, и хочется мне отложить пергамент и обхватить руками голову и вскричать:

— О братья мои, о прославленные братья мои, где вы теперь? И скоро ли Израиль и мир снова увидят подобных вам?

В синагогах уже появился новый свиток, в котором повествуется о деяниях Маккавеев: так называют

всех моих братьев — как будто мог быть другой Маккавей, кроме Иегуды, брата моего, единственного из людей, не имеющего себе равных, Иегуды без страха и без упрека. И в этом свитке написано так:

“И восстал вместо него Иегуда, называемый Маккавей, сын его.

И помогали ему все братья его и все, которые были привержены к отцу его, и вели войну Израиля с радостью.

Он распространил славу народа своего; он облекался бронею, как исполин, опоясывался воинскими доспехами своими и вел войну, защищая ополчение мечом.

Он уподоблялся льву в делах своих и был, как скимен, рыкающий на добычу.

Он преследовал незаконных, отыскивая их, и сжигал возмущающих народ его.

И смирились незаконные из страха пред ним, и все делатели беззакония смутились пред ним, и благоуспешно было спасение рукою его.

Он огорчил многих царей и возвеселил Якова делами своими, и память его до века в благословении.

Прошел по городам Иудеи и истребил в ней нечестивых, и отвратил гнев от Израиля.

И сделался именитым до последних пределов земли и собрал готовых погибнуть“.\*

Так там и сказано: “...собрал готовых погибнуть“. Иегуда, Иегуда, о, как мало из нас под конец готовы были погибнуть! Мы устали — ты же не ведал усталости. Мы теряли надежду — ты же знал, что сила народа бессмертна. Да, я помню, как ты вернулся в Модиин, к разоренному родному очагу, и ты отложил оружие в сторону и трудился вместе со мною и Иона-

---

\* В тексте Первой книги Маккавейской, гл. 3 этот отрывок (1—9) кончается словами: “...и собрал погибавших“. Таким образом, автор несколько изменил его смысл.

таном, чтобы отстроить дом и заново выложить горные террасы. И пришел Никанор во всем своем блеске, и нашел он тебя в поле, идущим за плугом, — тебя, Маккавея, кахана, жреца Храма. И я помню, как, беседуя с ним, с военачальником царя царей, ты все нагибался и поднимал комья доброй иудейской земли, которую мы вспахивали, растирал их и смотрел, как земля струйкой высыпается у тебя между пальцами...

Но сначала я должен поведать, как умер Эльзар. Я — старик, я блуждаю мыслями в прошлом, отступаю от своего рассказа и пытаюсь понять, что же все-таки делает еврея евреем, и простите меня за мои отступления.

Нам дарована была передышка, во время которой мы очистили Храм. В это время Антиох — алчный безумец, которому нужны были еще и еще деньги, чтобы нанимать еще и еще наемников, — Антиох повел свою рать на восток, в Парфянское царство, и там он умер. Но его сын и его наместники унаследовали его ненасытную алчность. На запад они идти не могли, ибо там суровый и мощный Рим уже заградил им путь, сказав: дойдите до этой черты — и ни шагу дальше. На востоке же были пустыни, а за пустынями — смертоносные стрелы парфян. На юге была соколовищица-Иудея, щедрая и прекрасная гористая земля евреев, и завоевание этой плодородной земли могло бы вернуть грекам их громкую славу, но для этого надо было сперва сокрушить Маккавея.

И четырехкратно войска вторгались в Иудею, и каждый раз мы отражали их и разбивали их, нагромождая в наших ущельях горы утыканных стрелами трупов наших врагов. Но сколько же войн способен выдержать один народ? Мы больше не прятались в дикой земле Офраим, но вернулись в свои селения. И каждый раз, как Иудее грозили враги, Иегуда призывал добровольцев. Сначала они собирались тысячами под стяг Маккавея — стяг, не ведавший поражений, — но когда с чудовищным однообразием нападения греков стали повторяться снова и снова, добровольцев стало приходиться все меньше и меньше. В каж-

дое следующее вторжение их было меньше, в каждое следующее вторжение враги проникали все глубже, и яд усталости от войн отравлял нас все больше. Не могли же мы, как Антиох, бесконечно бросать в бой все новых и новых наемников. Евреев в Иудее было столько, сколько их было — и ни одним человеком больше.

И тогда Лисий, новый наместник, пришел в Иудею с боевыми слонами. Я расскажу вам об этих слонах — чудовищных, грозных животных, которых никто из нас до того не видел. Но сперва я должен объяснить, почему так случилось, что мы вышли против них всего лишь с трехтысячным войском. Две тысячи наших лучших бойцов, среди которых были закаленные в битвах ратники из Модина и Гумада, мы оставили в Иерусалиме, нарядив их денно и ночью стоять вокруг Акры, где много месяцев отсиживались греки и предатели из евреев, и было сильно в нас искушение взять приступом эту крепость. Во главе этого отряда стояли Иоханан и Ионатан. Еще тысяча человек осталась охранять крепость Вет-Цур, ибо теперь, когда наемников не стало в стране, бедуины становились все смелее и снова, и снова совершали верхом на верблюдах набеги на наши деревни. Иегуда приходилось заботиться еще о том, чтобы ограждать границы Иудеи от бесчисленных шаек наемников, мечтавших, как и их хозяева, поживиться еврейским добром, и от западных филистимлян — низких, продажных людей, — и от мелких греческих сатрапов, которые осмелели со смертью Антиоха и глаз не могли оторвать от сокровищ Иудеи; а находить людей для отпора всему этому сброду становилось все труднее и труднее, ибо теперь, когда греки были разбиты, не так легко было объяснить людям, почему им нужно опять оставить семью и землю. И, невзирая на это, Иегуда все же должен был — и сумел — собрать войско, чтобы отразить четыре нападения греков. Но когда они пришли со слонами, — это было страшно.

До нас доходили слухи, что после смерти Антиоха при его дворе началась грызня за власть. Умерший

безумец оставил идиота-сына, о котором молва говорила, что он падок до женщин, наркотиков, предается отвратительному распутству, вплоть до совокупления с животными, что было не в диковинку и в Антиохии, и в Дамаске. Тем временем Филипп, царский регент, оспаривал власть у Лисия, греческого моряка, который коварством, обманом и бесчисленными убийствами проложил себе путь к высокому положению при сиррийском дворе. Лисий знал, что усмирение Иудеи поможет ему одержать верх над Филиппом, и его осенила мысль воспользоваться боевыми слонами. Нагрузив гонцов золотом и драгоценностями, он разослал их до самой долины Инда, и там они купили двести слонов и наняли множество погонщиков и лучников, которые стреляли с башенок, устроенных на спинах этих огромных животных.

— Если холмы Иудеи — это крепость, — рассуждал грек, — значит, туда нужно вторгнуться тоже с крепостями, но другого рода, чтобы раз и навсегда сломить Маккавея и тех, кто идет за ним.

И вот Лисий двинулся по прибрежной дороге со слонами и десятитысячным войском наемников, и они вторглись в нашу землю через долину Эшкол со стороны широких южных перевалов.

Все то время, пока Лисий двигался на юг, мы получали от наших соглядатаев описания этих неизвестных нам, уродливых, неуклюжих животных, которые, двигаясь, сокрушают все на своем пути, как живые крепости, и несут у себя на спинах деревянные ящики, откуда низвергаются потоки стрел. И по мере того, как разрастались слухи, слоны в нашем воображении становились все более громадными, все более страшными. Людей пугало дотоле неведомое явление. Слоны казались сверхъестественными существами, и искушенные в ратных делах бойцы, которые не боялись никого из смертных, теперь трепетали при одной мысли о встрече с этими живыми горами.

Не зная, какой путь изберет Лисий со своими слонами, Иегуда сосредоточил все силы, какие он смог собрать, под Бет-Лехемом, откуда он высылал своих лазутчиков. Сначала, по слухам, казалось, что первое

наступление греков начнется на Вет-Цур, и Иегуда с Эльзаром повели туда две тысячи человек, а третья тысяча, под моим началом, двинулась к глубокому перевалу около Вет-Захарии. Но уже через час или два после того, как мы выступили, до нас донесся тяжелый слоновый топот — такого звука я еще ни разу в жизни не слышал. Наши люди смутились, и лица их побелели, и я увидел, как нерешительность и страх словно окатили их ледяной водой. Со мной был кузнец Рувим из Модина, который в сотнях стычек ни разу не выказывал ни страха, ни даже неуверенности, но теперь и он, услышав этот новый и неведомый гул, остановился, как оглушенный, ноги перестали слушаться его, и в лице его не осталось ни кровинки.

— Это всего лишь животные, — сказал я ему. — Бог сотворил их, и человек может их уничтожить.

— А если это не животные? — спросил Рувим.

— Тогда ты дурак... и трус.

Рувим схватил меня за руку, сжал ее, точно тисками, и закричал:

— Еще ни один человек никогда не называл меня трусом, Шимъон бен Мататьягу!

— Ну, так я теперь называю, и пошел ты к чорту!

— Почему ты ругаешь меня, Шимъон?

— Потому, что мы слишком долго сражались, чтобы теперь струсить. Возьми половину людей и займи перевал — и удерживай его, как мы это делали много раз. Удерживай его, даже если сам ад восстанет на тебя, пока не подойдет на подмогу Иегуда. Но если только ты уйдешь с перевала до того, как придет Маккавей, то пусть Бог тебе будет защитой!

— Я удержу перевал, Шимъон...

И я послал нашего самого лучшего бегуна к Иегуде и Эльзару.

Быстрым шагом мы пошли к северному входу в долину — к узкой горловине шириной, наверно, не больше двадцати локтей; и пока Рувим и его люди в лихорадочной спешке сооружали поперек тропы преграждающий вал из камней и бурелома, я повел свои пять сотен вверх по склону, где мы могли удобно за-

сесть, чтобы осыпать греков стрелами. Времени было в обрз: не успели еще мы достичь вершины гребня, как увидели внизу, под собою, первого слона; он поднимался по тропе зловеще и грозно, медленным шагом, но от этого он казался еще страшнее. Слоны двигались по трое в ряд, и, казалось, конца им не будет. На голове у каждого сидел погонщик, а за ним в ящичке из тяжелого дерева — лучники. Погонщики — худощавые люди с коричневой кожей — были обнажены. Они сидели, скрестив ноги и поигрывая длинной палкой с крючком, которой они иногда подгоняли слонов. Моим помощником был Адам бен Элизер, и я сказал ему, что прежде всего нужно убивать погонщиков, — но я понятия не имел, сможет ли это остановить слонов или заставить их свернуть с пути. Теперь мы видели сверху уже больше сотни слонов, и на солнце блестели пики и шлемы наемников, которые шли за ними. Вся долина, казалось, тряслась от этой тяжелой, неумолимой поступи, сквозь которую слышались визгливые понукания погонщиков и хриплые крики наемников, предвкушавших победу.

Я расскажу все так, как это было. Я должен обо всем этом рассказать, и не только об этом, как ни горьки воспоминания. Я не виню Рувима. Да и как я могу винить тебя, Рувим, мой боевой товарищ, ныне ушедший вместе с моими прославленными братьями в то прошлое, которое принадлежит всем нам? Рувим не страшился ничего, что было ему понятно, но град наших маленьких кедровых стрел лишь разозлил огромных животных. Мы убивали погонщиков, а слоны продолжали неудержимо идти вперед. Мы осыпали стрелами деревянные ящички на спинах слонов, но слоны все двигались и двигались дальше. Они раздавили своими могучими ногами хрупкий вал Рувима, и Рувим и его люди дрогнули и обратились в бегство, и в этот день греки впервые увидели в битве спины евреев.

Я побежал на помощь, и мои люди, как они ни были напуганы, бросились следом за мной. Бегом устремились мы вниз по склону, прыгая с камня на камень. Но не я остановил беглецов, а мои братья и

пришедшие с ними две тысячи человек: они появились у горловины, и во главе их шел Эльазар — Эльазар со своим чудовищным молотом, Эльазар, краса битвы, единственный человек из всех, кого я знал, который никогда и ничего не боялся, ни в чем не сомневался, ни над кем не подщучивал, — простой, мужественный Эльазар; а за ним шли восемь чернокожих африканцев (те, кто остались в живых из двенадцати), восемь тихоголосых людей, которые любили моего брата и сражались рядом с ним все эти годы.

Я был уже недалеко от них и услышал, как Эльазар закричал:

— Чего вы испугались? Разве это зверь, которого нельзя убить?

Видя натиск разъяренных слонов, люди, шедшие за Иегудой, заколебались в изумлении и ужасе. Но Эльазар ринулся вперед и один на один встретился со слоном, который шел впереди остальных. Такого никто не видел ни прежде, ни потом: мощное тело Эльазара изогнулось, молот взвился над его головой и опустился на голову слона с ужасным грохотом, покрывшим вопли и крики. Молот проломил слону череп, он остановился, опустился на колени, свалился на бок и затих. Но Эльазара и его африканцев со всех сторон окружили слоны. Африканцы сражались копьями, а Эльазар продолжал размахивать молотом, пока удар бивня не заставил его разжать пальцы и выронить молот. Все произошло быстрее, чем я об этом рассказываю. Эльазар погиб прежде, чем мы с Иегудой успели к нему подбежать. Лучники стреляли из своих деревянных ящичков, и в Эльазара попало уже две стрелы, когда он схватил копьё упавшего африканца и вонзил его в брюхо одному из страшных животных. Но слоны все шли и шли, и ничто не могло сдержать их отчаянный натиск. И в долине лежали, растоптанные огромными слоновыми ногами, брат мой Эльазар и его чернокожие товарищи.

Мы рассеялись. Мы взобрались на склоны, и я все время старался держаться Иегуды — и, наверно, я плакал, как плакал Иегуда. Не знаю. Не помню. В голове было одно: Эльазар погиб.

Когда опустилась ночь, мы собрали тысячу восемьсот наших людей и отступили на север. В первый раз Маккавей был побежден в бою.

Я шел всю ночь — то один, то среди людей. Все были подавлены, и мне ни до чего уже не было дела. Сначала я держался ближе к Иегуде, но когда меня окутала ночь — гнетущая, зловеющая, — я замкнулся в себе, в своем горе, в безысходном отчаянии, и я отстал от Иегуды, и он растворился в черной мгле. Меня охватила не ярость — меня охватила жгучая, разъедающая тоска и страх. Все люди были как люди, а Иегуда был непохож на других. Его слезы были ложью. Его горе не было горем. Он потерял душу и был словно меч, у которого было только одно назначение и одно призвание.

Постепенно и медленно поднялась во мне ненависть — застарелая, мрачная, черная ненависть к моему брату, ненависть, рожденная из хаоса чувств, переплетения чувств, тайны чувств, старая, горькая и неутолимая ненависть, истоки которой коренятся в древней-древней повести о том, как Каин убил Авеля. А кто убил Эльзара? И кто будет убивать всех остальных, по одному, безостановочно, пока не покончит со всеми нами? Эльзар был мертв, но сейчас для Иегуды имели значение только люди, войско, борьба, сопротивление, — и все это раздавило в нем последние крупницы доброты и жалости.

И вот медленно шел я в этой мрачной, адской ночи, еле волоча ноги, без надежды, без ожидания, без думы о завтрашнем дне, ощущая только бездну гибели и разрушения, в которую я погружался. Я вспоминал, как все это было, когда Иегуда возвратился в Модиин и стоял над телом прекрасной и несравненной женщины, которую я любил. Он стоял, не выказывая признака скорби, и сразу заговорил о мести.

Он спросил:

— Кто убил ее...

-- Ты сторож брату своему, — сказал мне отец мой, адон. — Ты, Шимъон, ты сторож брату своему, ты, и никто другой.

А Иегуда, чьи руки и тогда уже были в крови, по локоть в крови, мог помышлять лишь о том, чтобы и дальше окунать их в кровь, в этом была его месть — не месть Господа Бога, не месть народа, а его, и только его...

И остановился и застыл неподвижно. Что толку идти дальше? И куда идти? Старик адон был мертв, Эльазар был мертв — и сколько еще оставалось жить всем остальным? Зачем идти? Зачем бежать? Я опустился на землю, и вокруг меня то здесь, то там измотанные, поникшие люди останавливались, и их покидало то рвение, которое двигало нами все эти долгие годы.

А затем я услышал во тьме голос моего брата.

Что ж, пусть поищет меня. Будь он проклят! Я растянулся на земле и спрятал лицо в ладони, а он продолжал меня звать:

— Шимъон! Шимъон!

Так дьявол ищет человека.

— Шимъон!

И так без конца — он же был Маккавей.

— Шимъон!

Да будет на тебе проклятье Господне! Уйди и оставь меня в покое.

— Шимъон!

Я поднял голову. Он стоял надо мной, глядя на меня в темноте.

— Шимъон! — позвал он.

— Чего тебе нужно?

— Вставай! — сказал он. — Вставай, Шимъон бен Мататьягу!

Я поднялся и стал перед ним.

— Или ты ранен, что ночью лежишь на земле? — спросил он спокойно. — Или это страх, проклятый страх, который всегда у тебя в сердце?

Я выхватил нож и одной рукой схватил Иегуду за горло, — а он все не двигался и холодно смотрел на меня. Я отшвырнул нож и закрыл лицо руками.

— Отчего же ты не убил меня? — спросил Иегуда. — Ради этой чертовой, черной ненависти, которая все еще гложет тебя!

— Оставь меня!

— Я не оставлю тебя, Шимшон. Где твои люди?

— Где Эльазар?

— Он умер, — ровным голосом сказал Иегуда. — Он был сильный человек, но ты сильнее его, Шимшон бен Мататьягу. Только сердце у тебя не такое, как у него. Для победы — да, для победы ты годишься, но да хранит Бог Израиль, если ему придется полагаться на тебя в час поражения!

— Замолчи!

— Почему? Или правда колет глаза? Где был меч Шимсона, когда погиб Эльазар? Где он был?

Мы долго стояли молча, и наконец я спросил:

— Что я должен делать?

— Собери свой отряд, — бесстрашно сказал Иегуда. — Эльазар мертв; это наше горе. Но враг не горюет. Собери свой отряд, Шимшон.

А на рассвете мы сидели вокруг костра, Иегуда по одну сторону от меня, Рувим — по другую, а вокруг нас лежали люди — кто спал, кто уже проснулся и думал о том, что произошло. И Рувим рыдал, как ребенок, и говорил:

— Вам он был братом, а мне — сыном. И я предал его, я бежал, а он остался до конца. Я повернулся к ним спиной, а он — лицом. И почему я сейчас живу, а он лежит там, в долине, мертвый?

— Успокойся, — сказал я Рувиму. — Замолчи, ради Бога!

Я чувствовал, что если и дальше я буду слушать Рувима, я с ума сойду.

Но Иегуда, мой несравненный брат Иегуда, сказал мягко и с теплотой в голосе:

— Пусть он выплачется, Шимшон, — пусть он выплачется, иначе горе разрастется в нем, как опухоль, и погубит его.

— Я научил его кузнечному делу, — причитал Рувим. — Я научил его тайнам железа, я открыл ему дедовские секреты; и он пылал, как раскаленное железо, когда оно голубеет от жара. Бог не дал мне сына, но он дал мне Эльазара, а я предал его, я убил его. Да отсохнут и отвалятся мои руки! Да обратится

мое сердце в свинец! Да буду я проклят отныне и во веки веков!

Он закрыл лицо плащом и раскачивался взад и вперед, плача и причитая...

Это было начало конца. Конец был отсрочен, но в некотором смысле это было начало конца всех моих прославленных братьев, сыновей Мататьягу, которые для Израиля были подобны древним героям. В первый раз мы не смогли встретить врага и сразиться с ним. В былые времена Иегуда с пятью сотнями бойцов встретился бы с врагом лицом к лицу; его бы не страшило, что враг превосходит его числом, и он бы разбил врага, и обратил бы в бегство, и превратил бы каждую долину в крошечный ад и каждый перевал — в кровавую бойню. Но наши люди не отважатся теперь выйти против слонов, и нам ничего не оставалось, как вернуться в Иерусалим к нашим братьям под защиту стен, которые были воздвигнуты по указанию Иегуды вокруг Храмовой горы.

Со смертью Эльзара что-то случилось с Иегудой, как-будто внутри у него что-то сломалось. И когда я сказал ему:

— Разве сидеть за стенами означает драться?

Он ответил:

— Там мои братья.

— И мы будем там; а Лисию трудно будет найти нас?

— А что, сражаться дальше, что ли? — с безнадежностью в голосе спросил Иегуда. — Народ живет теперь в своих селениях. И я должен приказать им сжечь свои дома и снова идти в Офраим? Разве они послушаются меня теперь?

— Ты Маккавей, — сказал я ему. — Иегуда, брат мой, Иегуда, помни это. Ты Маккавей, и люди послушаются тебя.

Иегуда долго молчал, а затем покачал головой.

— Нет, Шимьон, нет. Я не такой, как ты, а ты — как наш отец, адон. Но я не такой, как он, и не такой, как ты. И я пойду в Иерусалим к братьям. Если хочешь опять вести войну из Офраима, возьми людей,

а я один пойду в Иерусалим и буду сражаться там вместе с братьями.

— Ты Маккавей, — сказал я.

И на следующий день мы вернулись к Храму и рассказали Иоханану и Ионатану, что Эльазар погиб.

Иегуда созвал совет, и пришел Рагеш, и Шмуэль бен Зевулон, и Энох бен Шмуэль из Александрии, и еще двадцать других адонов и старцев — некоторые из них сидели еще на нашем первом месте. Когда все собрались, слоновое войско Лисия тем временем уже вступало в город. Мы собрали этих согбенных, мрачных стариков, и Иегуда коротко рассказал им о нашем поражении.

— Так это случилось, — закончил он. — Мой брат Эльазар мертв, и многие другие евреи тоже, и я вернулся, чтобы защищать Храм. Стены Храма прочны, и если такова будет ваша воля, я готов здесь умереть. Или же я снова уйду в Офраим, чтобы воевать так, как мы воевали раньше. Я не думаю, что слоны непобедимы. Мой брат Эльазар убил одного ударом молота. Слоны — это животные, которых создал Бог и их может убить человек. Нам нужно лишь научиться, как это делать.

Он замолчал. А снаружи доносились выкрики наемников на улицах города. Но город был разрушен и пуст. И что еще можно было сделать с ним, если он и без того был гробницей?

— Что думает Шимьон? — спросил Шмуэль бен Зевулон.

Я с любопытством посмотрел на этого гордого, сурового южанина.

— Ты спрашиваешь сына Мататьягу? — спросил я.

— Я спрашиваю тебя, Шимьон.

— Я не Маккавей, — сказал я. — Я не адон, не рабби. — Шимьон, ничтожнейший из сыновей Мататьягу. Я был судьей в Офраиме. Но здесь не дикие горы — здесь Иерусалим.

— Так что же ты будешь делать? — сухо спросил Рагеш.

— Я последую за братом моим Иегудой.

Рагеш пожал плечами.

— И будет война, и еще раз война, и так без конца.

— Я не знал ничего, кроме войны, — сказал я. — Но я не стал на колени.

— Ты горд, — сказал Рагеш. — Или ты ставишь себя выше Израиля?

Но тут вмешался Ионатан — он отвечал сердито, со скрытой яростью:

— Разве брат мой Эльзар ставил себя выше Израиля? Или мой отец? Разве мы ходим, разряженные в шелка, увешанные золотом и драгоценностями?

Иегуда схватил его за руку. Юноша стоял, дрожал, и по щекам его катились слезы.

— Итак, мальчишка меня поучает, — сказал Рагеш.

— Это я мальчишка? — закричал Ионатан. — Когда мне было четырнадцать лет, я держал в руках лук, а когда мне было пятнадцать, я впервые убил человека. Знаешь ли ты это, старик?

— Хватит! — прорычал Рагеш.

— Хватит, — сказал Иегуда. — Успокойся, Ионатан, успокойся.

И тогда поднялся Энох из Александрии — седобородый, величественный старец семидесяти лет, высокого роста, с добрыми, умными глазами. Это был один из старых каханов, пришедши из Египта, чтобы провести остаток дней своих при Храме. И он простер руки, прося тишины.

— Да будет так! Мир вам! Я стар, о Иегуда Маккавей, и я преклоняюсь перед тобою, ибо нет человека в Израиле, равного тебе. Две вещи хотел я увидеть перед своей кончиной: святой Храм и лицо Маккавея. Я увидел и то и другое, и ни то, ни другое не разочаровало меня. Но я еврей...

Он помолчал и вздохнул.

— Я еврей, сын мой, и пути наши несходны с путями нохри. Будем ли мы без конца убивать? Не станем ли мы тогда народом смерти вместо того, чтобы быть народом жизни? Когда я проходил по деревням, я видел мирных людей, они отстранивали свои дома, и на виноградных лозах наливались соком спелые

гроздья. Чего Бог требует от человека, как не того, чтобы он жил в мире и соблюдал священный Завет? Гордость не вечна, говорю я тебе. Мы достаточно уже доказали грекам, что еврей — это не робкое, безответное создание, с которым можно делать все, что угодно. А теперь в Антиохии наши недруги в жажде власти вцепились друг другу в горло. Я знаю это, мой сын, я долго жил на земле и многое видел, и мне ведомы обычаи царей и их царедворцев. Этот Лисий заключит с нами мир, если мы придем к нему не с ожесточенным сердцем, а с вкрадчивым словом. Он гораздо охотнее будет домогаться власти у себя в Антиохии и в Дамаске, нежели здесь, в Иерусалиме. И если он спросит, чего мы хотим, мы попросим лишь мира и права жить по-своему, соблюдать наш собственный Закон и наш собственный договор с нашим собственным Богом. Поверь, сын мой, это лучший путь. Мы не отвергаем тебя. Напротив: мы предлагаем тебе высшую почесть в Израиле — сан первосвященника Храма.

Все посмотрели на Иегуду, который стоял, положив руку на плечо Ионатана. Он молчал, и на его прекрасном, поросшем каштановой бородкой лице не отражалось никаких чувств. Высокий, усталый, еще не смывший с себя крови и грязи после вчерашней битвы, опоясанный мечом Аполлония, в полосатом плаще на широких плечах — казалось, в нем было что-то сверхчеловеческое. Как много я помню об Иегуде! И как мало я понимаю, как мало я знаю его! Он был воплощением еврея — и в своей жизни, и в своей смерти. Только еврей мог слушать старцев так, как слушал Иегуда, думая при этом об Эльазаре и любя Эльазара, как он его любил, и вспоминая, как сто или больше раз Эльазар сражался бок о бок с ним... Я помню, как-то Иегуда мне сказал:

— Чего мне бояться, когда с одной стороны от меня такой молот, а с другой стороны твой меч?

Только еврей мог слушать, как слушал Иегуда; и наконец он спросил тихим голосом, полным боли:

— И все, за что мы сражались, все наши битвы, наши страдания, нашу борьбу — все это ты отдаешь на милость греков?

Даже Рагеш пожалел его тогда и ласково сказал:

— Не на милость греков, Иегуда, сын мой. Сейчас возникло такое равновесие сил, какого не было пять лет назад, и небольшое поражение, которое вам нанесли слоны, этого равновесия не изменит. У нас есть оружие, у нас есть тысячи воинов, закаленных в боях, и мы отучили греков смеяться над евреями. И поэтому мы сейчас в состоянии торговаться и полностью использовать сложное положение, возникшее в империи после смерти Антиоха; это положение мы можем обратить в свою пользу. Поверь, Иегуда, это не какое-нибудь поспешное и необдуманное решение.

-- А если бы я отразил натиск слонов, — почти умоляюще сказал Иегуда, — вы тоже бы так говорили? Вы называете меня Маккавеем — разве это моя первая битва? Когда никто не видел ни проблеска надежды, когда мы стояли перед лицом смерти и полного уничтожения, когда даже святой Храм был осквернен, разве я не восстал с отцом и братьями за свободу Израиля? И разве я не победил? Неужели одно поражение заставило вас забыть обо всех наших победах? Почему вы все набросились на меня? Почему вы набросились на меня? Вы предлагаете мне сан первосвященника — но разве он мне нужен? Разве я сражался ради награды? Взгляните на меня. То, что на мне, — это все, чем я владею в мире: плащ на плечах и меч у бедра. Есть ли здесь человек, который может сказать, что он видел, как кто-нибудь из семьи Мататьягу грабил мертвых? Или вы думаете, что я честолюбив? Пойдите, спросите моего брата Эльзара, который лежит мертвый там, в долине, растоптанный сотней разъяренных животных. Мне не нужна награды — мне нужна лишь свобода моей земли, а вы говорите мне, что хотите продать нашу свободу, торговаться ради мира, отдать нашу жизнь на милость врагу.

— Иегуда, Иегуда бен Мататьягу, — спокойно сказал Рагеш. — Дело не в одной победе и не в одном поражении. Еще до битвы мы собирались и обсуждали, с какими условиями мы могли бы пойти к Лисию.

-- Еще до битвы? — переспросил Иегуда. — Зна-

чит, пока мы с братьями сражались, вы развели тут болтовню за нашей спиной? Рагеш, да хранит тебя Бог, — ты предал меня и предал наш народ!

Я ждал, что Рагеш вспылит, но слова Иегуды, словно хлыстом, стегнули его по лицу, и гордый маленький человек весь сжался и опустил голову, и губы его что-то беззвучно прошептали.

— Делай, как знаешь, — сказал Иегуда. — Делай, как знаешь, старик. Когда ты в первый раз назвал меня Маккавеем, я сказал, что я положу свой меч, если ты мне это прикажешь. Сегодня я кладу свой меч.

Он повернулся к нам — к Иоханану, Ионатану и мне — и мягко сказал:

— Идемте, братья, идемте отсюда прочь: больше нам здесь нечего делать.

И мы вышли. И многие из старцев, которые там остались, закрыли лица руками и плакали...

Так собрание старейшин заключило мир с Лисием, греком. Дань, которую они обязались платить, была невелика, всего десять талантов золота в год — сущий пустяк по сравнению с теми сотнями талантов, которые выжимали из Иудеи в прежние годы. В обмен на это евреям была дарована полная свобода исповедовать свою веру, и они получили право удерживать Храм и не отдавать его эллинизаторам, которые все еще сидели в Акре и не желали подчиниться ни Лисию, ни старцам. Лисий также согласился с тем, что, кроме Бет-Цура, нигде в Иудее не будет наемников, и что еврейские воины имеют право охранять дороги и границы.

Так это было. И через два дня Лисий со своими слонами покинул Иерусалим и двинулся в Антиохию. А через другие ворота разрушенного города вышли Иегуда, Иоханан, Ионатан и я. И все, что было у нас, — это наша изодранная в походах одежда, наши мечи; наши луки и наши ножи. Мы отправились в Модии, где уже жила жена Иоханана с двумя детьми, и в ту же ночь мы спали в высокой траве на склоне холма позади дома Мататьягу.

А на следующее утро мы принялись за работу: начали отстраивать дом. Мы растаскивали обгоревшие бревна, лепили из глины кирпичи и раскладывали их для просушки под горячим летним солнцем. И такова жизнь людей — простая, обыденная, повседневная жизнь, — что очень скоро они привыкли к тому, что Маккавей, покрытый пылью, грязью и потом, строит дом. Модин быстро возродился к жизни. Снова учитель Левел учил детей в каменной прохладе синагоги, расхаживая взад и вперед с разгой в руке, придирчиво улавливая малейшие ошибки в чтении или произношении. Снова яростное пламя с гулом клокотало в кузнице Рувима, рассыпая снопы золотых искр, снова стояли дети и смотрели на кузнеца, разинув рты, как замороженные. И снова каменные чаны наполнялись оливковым маслом, и снова колосилась на террасах пшеница, и снова гнулись в виноградниках лозы под тяжестью набухших гроздьев. И снова в пыли по деревенской улице бегали куры, а на порогах матери укачивали детей, и прохладными темными вечерами кумушки собирались почесать языки.

И в эти вечера Ионатан гулял под оливами с Рахелью, дочерью Якова бен Гидеона, кожевника, и они взбирались на террасы и высокие пастбища смотреть, как солнце садится на западе в Средиземное море, и наслаждались они радостью жизни, дарованной мужчине и девушке...

В эти дни Иегуда и я жили очень просто и тихо. Когда было светло, мы работали, — и работали мы с остервенением людей, для которых нет в жизни иной цели, кроме самой работы. Немного хлеба и вина, лук и редиска, иногда кусок мяса — этого нам хватало. Мы рано ложились и рано вставали. И своими руками мы добывали все, что было нам нужно в нашем скромном существовании. Хотя почти все в деревне были наши товарищи по оружию, с Маккавеем они держались скованно. Не могли они быть с ним накоротке. Он был Маккавей, и ему навсегда суждено было остаться Маккавеем, и, хотя он трудился так же, как все другие жители Модина, чем-то он был все же не такой, как они.

То же чувствовали жители других деревень, проходившие через Модиин. Они подходили к Маккавею, приветствовали его, иногда целовали его руку или в щеку. В их глазах ничто не могло изменить Иегуду, ничто не могло его унижить.

Но сам он изменился. Всегда мягкий, он стал еще мягче; его словно обволакивала чистота — чистота, которая ни в ком не могла бы сочетаться с таким неосознанным и бескорыстным достоинством. Мы много времени проводили вместе, особенно с тех пор, как Ионатан стал своим человеком в доме Якова бен Гидеона. Мы мало разговаривали, а если и говорили, то не о будущем, а о прошлом.

Однажды вечером пришел к нам Рувим. Мы ужинали хлебом и вином, когда он вошел — неуверенный, смущенный, глядя на нас из-под густых бровей, придвигаясь к нам шаг за шагом, на цыпочках — так он был сгромен и неуклюж; и он остановился робко, как нашкодивший ребенок, теребя руками свою курчавую черную бороду и нервно облизывая губы.

— Мир, — сказал Иегуда, — мир тебе, Рувим, друг наш.

— Алейхем шалом: и вам мир, — ответил Рувим.

— Входи, — улыбнулся Иегуда и, поднявшись, взял Рувима за руку и повел его к столу.

Я придвинул ему вино и хлеб. Он отужинал с нами, и за трапезой мы беседовали, и кузнец то смеялся, то грустил. Весь этот вечер мы сидели и вспоминали былые дни, и былую славу, и былые сражения, — пока кровь, которая уже стала холодеть у меня в жилах, не вскипела, наполнив меня гордостью...

Это было на следующий день после того, как в наш дом вошли босоногие левиты, посланные стариком Энохом, александрийским рабби, и сообщили Иегуде, что совет, собранный Рагешем в Храме, заседал и постановил избрать Иегуду первосвященником всего Израиля.

Иегуда выслушал эту весть спокойно, учтиво поблагодарил и продолжил свою работу. Посланцы стояли в растерянности, не зная, что им делать, и после долгого молчания Иегуда сказал:

— Я буду жить здесь, в Модиине, как жил мой отец, и возделывать свою землю. Когда я буду вам нужен, я приду...

Это было, как ни странно, в тот самый день, когда до нас дошли вести с севера. Деметрий, брат Антиоха, претендент на трон царя царей, заманил Лисия в засаду, убил его, а его труп, с которого содрал кожу, повесил над воротами Антиохии — и те, кто поддерживал Лисия, были рассеяны и уничтожены.

В эту ночь Иегуда сказал мне:

— Как это говорил старик адон? Что свобода покупается только ценою крови?

— Да, что-то в этом роде.

— Так вот чего стоят договоры, — пожал плечами Иегуда, — когда свободу пытаются выторговать за деньги.

Так и случилось — я уже упоминал об этом, — что Деметрий, новый царь царей, послал своего главного наместника и военачальника Никанора к брату моему, Маккавсю. Антиох был безумен и болезненно жесток, а другой Антиох — его сын — был просто идиотом. Но этот Деметрий, брат Антиоха, вырос и получил образование в Риме, и в Риме же он усвоил, что для порабощения народа совсем не обязательно уничтожать его. И наместники у Деметрия тоже были совсем не такие, как наместники Антиоха, — в них была видимость искренности и честности. И все же в конечном счете оказалось, что Никанор ничуть не лучше Перикла, или Апелла, или Аполлония. И в конце концов Иегуда убил его собственной рукой. Но об этом речь впереди.

Во всяком случае Никанор понимал нас лучше, чем все остальные. Он явился без рабов и пешком, а не в носилках, и с ним был только оруженосец. Когда они появились, мы с Иегудой пахали на одной из высоких террас. Осел тащил плуг, взрыхлявший землю, которая не обрабатывалась уже пять лет. Никанора и его оруженосца вел Левел, учитель, а за ними следовали еще и Рувим, и Адам бен Элизер, и Ионатан, и Иоханан, и еще полдюжины людей, которых

явно привело сюда любопытство, а также и страх: вдруг греки, не дай Бог, послали сюда человека, чтобы он убил Маккавея, когда тот работает в поле? А сзади бежали дети Иудей — чудесные, мудрые, простодушные дети, которые прошли через войну и изгнание и лишения и все-таки чаще смеялись, чем плакали. Торжественным шествием все они поднялись к нам на террасу, и Никанор низко поклонился Иегуде, приветствуя в его лице первосвященника, Маккавея, вождя, чья слава дошла до дальних концов образованного мира. И Иегуда, который никогда не бывал дальше, чем за несколько миль от пределов нашей крохотной полоски земли, ответил ему с изысканным изяществом. Покрытый грязью и потом, с волосами, завязанными узлом на затылке, босой, по щиколотку в земле, он все же был Маккавей, и он возвышался над всеми, и его высокий рост и широкие плечи были столь же естественны, сколь его доброта и обаяние. Я помню, каким он был тысячу раз в тысяче разных мест, и все же я больше всего люблю вспоминать, как он стоял под жарким летним солнцем на высокой террасе, и его коротко стриженная борода отливала золотом, и его коричневая от загара кожа была чуть темнее там, где ее покрывали веснушки, и его длинные пальцы мяли и крошили комок земли. Ему еще не было и тридцати — далеко не было, — и он был в расцвете своей мужественной юности, такой высокий, стройный и прекрасный, что Никанор, грек, не мог отказать ему в том почтении, которое оказывали ему все другие люди.

Позднее многие в Модиине вспоминали тот день. Как и я, они вспоминали Иегуду таким, каким его больше всего хотелось запомнить; и когда они говорили об Иегуде, в глазах их появлялись слезы, и они были горды одним лишь сознанием, что они принадлежат к тому же народу, что и этот человек, которому нет равных на земле.

Сам Никанор был хорошо сложен, он был среднего роста, и явно воин по роду занятий. Он был непохож ни на выроodka Апелла, ни на изверга и палача Аполлония — это был расчетливый, хитрый временщик,

которому нужны деньги и слава и который ни перед чем не остановится, чтобы получить все, что он хочет. И он, и его хозяин Деметрий достаточно хорошо знали, что тысячи наемников, чьи кости лежали в наших долинах, обошлись в целое состояние, которое обогатило бы казну любого царя. Они также знали, что никто не сможет спокойно владеть Иудеей, пока против него будет Маккавей.

Свой разговор Никанор начал не очень удачно. Он сказал, что под рукою царя царей есть — что вполне естественно — другие цари, так почему бы сыну Мататьягу, достойному Иегуде Маккавею, не сесть на трон Израиля?

Иегуда слегка улыбнулся, рассматривая комок земли в руке, и пожал плечами.

— Почему я должен быть царем? — спросил он, и в этом простом вопросе было все.

По-моему, Никанор предпочел бы говорить с Иегудой наедине, но он понимал, что Иегуда на это не согласится, и поэтому греку волей-неволей приходилось выполнять поручение теперь или никогда, как бы много людей ни собралось вокруг.

— Все хотят славы, — сказал Никанор.

— Разве у меня мало было славы? — пробормотал Иегуда.

— И власти, и богатства.

Грек стоял, расставив ноги, теребя рукой подбородок, и был, наверно, изрядно озадачен: какой подход найти к Иегуде, чем его прельстить? И он с интересом рассматривал этого загадочного еврея, словно перед ним стояло существо, чья жизнь и образ мысли были вызовом всему, что он, грек, знал и во что верил.

— Что мне делать с властью и богатством? — спросил Иегуда.

— Многое, Иегуда, — искренне ответил Никанор. — Вы упрямый народ, однако есть на свете кое-что поинтереснее, чем плуг и клочок земли. Из своей ненависти к грекам и ко всему греческому вы сделали догмат веры, но подумай, разве кто-нибудь дал миру больше красоты и мудрости, чем греки? Приобщиться к ним, почувствовать их...

— Так, как мы почувствовали все это у нас в Иудее?

— При этой сирийской свинье? Да ведь сама мечта о свободе, за которую ты сражался, Иегуда, — эта мечта родилась в Греции три века тому назад. Ты не можешь этого отрицать.

— И долго ли жила эта мечта, когда вы познали власть и богатство и стали завоевывать чужие земли? — задумчиво ответил Иегуда. — Разве вы были тогда такие, как мы: без рабов и без наемников? Если так, то я склоняюсь перед мертвой славой Эллады. Но сейчас я не вижу славы в Греции, и нам не нужно ее даров. Я бы просто не знал, куда мне их девать и что мне с ними делать.

Грек начинал сердиться.

— Я пришел сюда не для того, чтобы меня превращали в посмешище, — сказал он.

— Не понимаю, о чем ты говоришь, — сказал Иегуда.

И грек увидел, что Иегуда говорит правду, что он действительно не понимает. Я следил за Никанором, и в глазах его мелькнуло мимолетное выражение, убившее меня, что он наконец-то начинает осознавать, что за человек Иегуда; на лице грека отразилась тень сожаления, попытка понять непостижимое. А затем он поднял глаза и устремил взор вдаль, на прекрасные зазубренные холмы Иудеи, зеленые уступы террас и голубое, усеянное облаками, высокое небо.

— Ты женат? — спросил он внезапно.

Иегуда, улыбнувшись, покачал головой.

— Тебе следовало бы жениться, — медленно произнес грек. — Не то, когда ты умрешь, не останется никого, подобного тебе.

Иегуда снова покачал головой. По-моему, он был смущен и взволнован.

— Я не знал, каков ты, — продолжал Никанор. — Может, было бы лучше, если бы ты был царем, а может, и нет. Но мне кажется, переубедить тебя бесполезно.

— У нас нет царей в Иудее, — сказал Иегуда. — Когда-то были у нас цари, и они принесли нам одни

страдания — это было время печали, и до сих пор мы со скорбью вспоминаем о нем в синагогах.

Никанор помолчал. А когда он снова начал говорить, это было несколько неучтиво.

— В Антиохии поговаривают, да и в Дамаске тоже, — сказал Никанор, — что если бы Маккавей был мертв, на земле был бы мир.

— Они не понимают, — мягко ответил Иегуда. — Маккавей — это ничто. Он вышел из народа, и все, что он делает, он делает потому, что этого хочет народ. И когда он становится больше не нужен, он делается таким же, как все люди.

И, стирая с пальцев остатки земли, Иегуда задумчиво добавил:

— Я думаю так: когда-то рабами были мы в Египте, и потому наш Закон гласит, что сопротивление угнетателям есть первейшее повиновение Богу. Когда на обратном пути ты будешь проходить через нашу деревню Модиин, посмотри на синагогу — если ты читаешь по-нашему, ты это там прочтешь, это высечено на краеугольном камне. А синагога — это очень древнее место. Я был покорен Богу. Это все. Если я буду убит, народ найдет себе другого Маккавея. Ничего не изменится.

— Я думаю, что изменится очень многое, — сказал Никанор. — И мы еще встретимся с тобой.

— Может быть, — согласился Иегуда.

И грек удалился, а мы с Иегудой продолжали пахать.

Мало-помалу люди начинали обосновываться в разрушенном Иерусалиме. Они селились в пустых, обугленных домах и пытались устроить себе там сносное жилье. Многие из этих людей прожили всю жизнь в других городах в соседних землях, но их сгоняли с насиженных мест по приказам безумного Антиоха, кровожадного царя царей. Одним из таких людей был Моше бен Даниэль. Со своей дочерью, единственной оставшейся от всей его родни, они поселились в Верхнем Городе. Все еще очень красивая, Дебора жила, омраченная гибелью Эльзара, в нескончаемой, всепо-

глощающей печали. Однажды мы с Ионатаном навестили их, но вот прошло уже много недель с нашей последней встречи.

Приближался Судный День, когда Иегуде предстояло идти в Храм и стоять первым во время службы, так что мы стали собираться в Иерусалим. Каково же было наше изумление, когда вдруг в Модиине появился Моше бен Даниэль, покрытый пылью, захватившийся от быстрой ходьбы. Как всегда, мы были ему рады, ибо мы ценили его житейскую мудрость и тонкое остроумие, что было редкостью в нашей деревушке. Но сейчас в нем не было ни следа остроумия и еще меньше веселости.

— Позови своих братьев, — сказал он мне.

— Сначала поешь и выпей вина, — охладил я его, — и позволь мне омыть твои ноги, и дать тебе переодется, Моше, мой добрый товарищ, и пока будем обедать, мы вспомним былые дни,

— Нет времени. Позови их сейчас же.

Он заметно осунулся, и в лице его было такое беспокойство, в голове такая тревога, что я тут же пошел исполнить его просьбу. И вскоре Иоханан, Ионатан и Иегуда сидели рядом со мною в доме Мататьягу, и горькие слова срывались с губ купца. Начал он с того, что стал умолять нас ему поверить.

— Да мне ли не верить тебе, Моше? — участливо спросил Иегуда. — Да будет мир с тобою, мой добрый друг. Здесь старый дом Мататьягу, и здесь боятся нечего. Или что-то случилось с Деборой?

— Нет, хвала Богу, она здорова, — сказал купец.

— И здесь перед тобою родные тебе люди, — улыбнулся Иегуда. — Все мы твои сыновья, разве не так? Мы для тебя то, чем был Эльазар, только меньше. Выпей вина, и да будет с тобою мир!

— Нет мира, — горестно сказал Моше бен Даниэль, — ибо то, что я собираюсь вам рассказать, подобно горьким ядовитым травам, которые растут в Араве, долине печали. Позвольте мне рассказать, и да простит Господь меня и всех остальных! Грек по имени Никанор — он теперь главный наместник Деметрия, нового царя царей...

— Мы знаем этого Никанора, — сказал я.

— Тогда вы знаете, что он за птица, — продолжал купец. — И вы знаете, что это вам не Аполлоний, это умный и коварный человек, который ни перед чем не остановится, чтобы заполучить то, что ему нужно. Так вот, он явился в Иерусалим — не с войском, не с наемниками, а всего лишь со своим оруженосцем; это сдержанный человек, умеющий владеть собой — и так он говорит: просто, прямо и точно к делу. И он прост в обращении и в одежде. Да, Деметрий — не Антиох, они делают свои дела по-разному; но я говорю вам, дети мои: добиваются они одного и того же. На языке у Никанора был сплошной мир — столько мира, сколько меду в сотах, но когда ему надо было, он умел показать и жало. Да, он дал нам это понять. Он предстал перед советом старейшин, в который вхожу и я, потому что когда-то в Дамаске я был как адон. Я был на этом совете, Иегуда Маккавей, дитя мое, и там был Рагеш, и все остальные. И вот что он сказал: “Должен быть мир в Иудее, — сказал он. — Евреи будут в мире пахать свою землю и будут в мире молиться в своих синагогах и в Храме. Но они должны признать себя безусловными подданными Деметрия. Они должны увеличить дань, которую они платят, до пятидесяти талантов золота и десяти талантов серебра в год. Они должны дать эллинизаторам уйти из Акры и снова поселиться в своих домах в Иерусалиме. Они должны согласиться на то, чтобы в Иерусалиме и в Бет-Цуре разместились пять тысяч наемников. И наконец — да сгниет мой язык! — они должны выдать Деметрию Маккавея.

Наступила тишина, и Моше бен Даниэль переводил взгляд с одного лица на другое. Я уже понял, почему он явился к нам в такой спешке, и гнев, и ярость запылали во мне и в Ионатане тоже, но Иегуда оставался невозмутимо спокоен. Лицо его не дрогнуло. Налив еще стакан вина, он обратился к купцу:

— Выпей, отец, и доскажи остальное. И верь: ни одно твое слово не возбудит у нас и тени сомнения, ибо между нами — нетленная связь, и сейчас эта связь стала еще крепче.

— Тогда встал Рагеш и спросил Никанора: “Зачем вам нужен Маккавей? Ведь нет сейчас войны в Израиле. Маккавей мирно пашет землю в Модиине”. Так сказал Рагеш, и Никанор ответил ему гладкими словами. „Да, — сказал он, — это правда, Маккавей мирно пашет землю, но долго ли продлится этот мир, если в любое мгновение может снова взвиться стяг Маккавея? Представь себе, что Маккавей захочет стать царем — разве не найдутся тысячи евреев, которые соберутся под его знамя? Разве честолюбие не свойственно человеку? Скажут, что Иегуда не честолюбив. Но разве во время этой долгой войны не Иегуда, не один лишь Иегуда настаивал на том, чтобы продолжались битвы? Не Иегуда ли отвергал мирные переговоры и любые соглашения? Не Иегуда ли требовал главенства для себя и своих братьев, чтобы даже при разделении сил во главе каждого отряда стоял один из сыновей Мататьягу? Разве это можно отрицать?” И тогда Энох из Александрии напомнил, что Иегуда — первосвященник, на что Никанор возразил: “Это разве не честолюбие?” Дети мои, не ожесточайте своих сердец против этих людей. Они стары. Их глаза видели слишком много войн и горя. Они хотят мира.

— Мира? — вскричал Ионатан. — Да падет на них проклятье Господне за такой мир!

— Продолжай, Моше, — прошептал Иегуда. — Скажи, что ответил Рагеш.

— Рагеш... Рагеш... — купец устало покачал головой. — Рагеш держался дольше других, да, дольше, дольше. Он сказал, что скорее готов умереть сам, чем послать на смерть Маккавея, но Никанор возмутился от такой мысли. “Деметрий, — сказал он, — не желает гибели Маккавея. Он получит в Антиохии или, если захочет, в Дамаске роскошный дворец, и рабов, и все, что его душе угодно, но он должен покинуть Иудею навсегда”. — “А где поручительство? — спросил Рагеш. — Чем ты ручаешься?” И тогда Никанор дал честное слово.

— Слово грека! — усмехнулся я. — Честное слово нохри...

— Но они поверили этому слову, — вздохнул Иегуда, и лицо его стало усталым и старым. — Слово ли грека, слово ли нохри, но они поверили ему, и они купили свой мир, и, право же, я думаю, это недорогая цена. Ведь я же сам сказал Никанору, что когда борьба кончается, Маккавей становится таким же, как все люди.

— Борьба еще не кончилась, Иегуда, — сказал я.

— Для мсня она кончилась, Шимъон, брат мой.

Я поднялся весь в гневе и обрушил на стол кулаки.

— Нет! Клянусь Господом, Богом Израиля! О чем ты думаешь, Иегуда? О том, чтобы сдать им?

Он кивнул.

— Только через мой труп! — закричал я.

— И мой! — сказал Ионатан.

Схватив брата за руку, я сказал ему:

— Иегуда, Иегуда, послушай меня! Я шел за тобою не один год, я повиновался тебе, потому что ты был Маккавей, потому что ты был прав. Но теперь ты неправ, Иегуда! Они тебя не предали — разве могут они, эти жалкие старики, тебя предать? Они величают себя адонами! Я знал лишь одного адона в Израиле, моего отца Мататьягу, да почует он в мире — но не будет ему мира, слышишь, Иегуда, если ты сам предашь себя, и своих братьев, и свой народ! Как он сказал, когда умирал, наш старик? Ты помнишь, Иегуда? В битве ты будешь первым — но на меня возложил он ответственность за братьев, мне он сказал: “Шимъон, ты сторож брату своему, ты, и никто другой!” Ты слышишь, Иегуда?

— Слышу, — жалобно ответил Иегуда. — Но что мы можем сделать? Что мы можем сделать?

— То, что мы делали прежде: уйти в горы. Или ты веришь честному слову грека?

— Уйти в горы? Одни?

— Одни: только ты и я, пока не наступит решающий час. Ты когда-нибудь видел, чтобы наместника можно было удовлетворить? Ты когда-нибудь видел, чтобы алчность наместника можно было насытить?

— Я пойду с вами, — сказал Ионатан.

— Нет! Иди в Иерусалим, Ионатан. Иди к Рагешу

и передай ему, что Маккавей в Офраиме, Маккавей и его брат Шимъон. Скажи Рагешу, что в Офраиме есть два человека, и что пока двое свободных людей ходят по земле Иудеи, борьба не кончена. Скажи ему, что борьба будет продолжаться до тех пор, пока весь мир не узнает, что живет в Иудее народ, который не клонит колени ни перед человеком, ни перед Богом. Рабами были мы в Египте, но больше мы никогда не будем рабами. Передай все это Рагешу.

Иоханан хотел отправиться вместе с нами — мягкосердечный книжник Иоханан, у которого не было ни воли ненавидеть, ни силы бороться, но который ни разу не поколебался в своей верности и ни разу не дрогнул перед врагом. Прихоть рождения сделала его одним из пяти странных братьев, которые были сплочены, как никогда еще не были сплочены братья в Израиле. Неукротимый дух научил его военному искусству, научил вести за собою людей, научил многому, к чему не лежала у него душа. И теперь тоже, когда мы были одни, когда нас осталось лишь четверо против всего мира, сердце Иоханана было с нами. И скажи Иегуда или я одно только слово, он бросил бы жену и детей, свой дом и синагогу, свои драгоценные свитки, и пошел бы за нами, чтобы стать изгнанником, изгоем, без надежды и будущего.

Но этого мы не сделали. И, поблагодарив Моше бен Даниэля, поцеловав его, как поцеловали бы отца, мы взяли оружие и еды, сколько могли нести, и ушли. Мы ушли ночью, ни с кем не попрощавшись, чтобы тот, кто не знает, не допрашивал свое сердце, и направились в Офраим. Мы шли по ночам, избегая селений, шли через горы по старым, хорошо нам знакомым тропам, на которых каждый шаг был отмечен в нашей памяти печатью славы.

Мы добрались до Офраима без приключений, и здесь мы с Иегудой обосновались в пещере, которая когда-то давала кров множеству еврейских семей. Ионатан и Иоханан хорошо знали это место и в нужный час могли нас тут отыскать. Мы не знали, что это будет за час и когда он наступит, — но до тех пор

нам предстояло скрываться, и нам было очень грустно. Через многое мы прошли, и многое нас еще ожидало, но ничто не вызывает в моем мозгу столь ужасных, разрывающих сердце воспоминаний, как это офраимское изгнание. Никогда еще у нас не было так тяжело на душе, никогда еще будущее не казалось таким безотрадным, и нередко я воистину чувствовал то, что Иегуда выразил словами, — что это действительно конец.

Но горше всего мне было смотреть на моего брата и видеть, как угасают в нем геройский дух и жар непокорного сердца, видеть, как в его волосах пробиваются все новые серебристые нити, видеть, как углубляются борозды морщин на его молодом лице. Я хорошо понимал, что его гложет: его потрясло, что предал его Рагеш — Рагеш, который был с нами с самого начала борьбы, Рагеш, который был столь неподвержен чувству страха и так легко относился к смерти, что почти готов был броситься ей в объятия просто из любознательности и пытливости ума; Рагеш, чье остроумие одолевало любые неудачи, Рагеш, который для всех нас стал как отец — и не только для сыновей Мататьягу, но и для тысяч других евреев. Но никогда Иегуда не заговаривал об этом, и ни словом, ни знаком не дал он понять, как он страдает.

Как постигнуть мне брата моего, Иегуду, и как понять народ, который породил и вскормил меня? Народ и Иегуда — едины, и дух Иегуды был сутью жизни, благоуханием жизни и волей к жизни.

И он все одолел, и сил у него было больше, много больше, чем у меня.

Мы мало что делали в нашем изгнании. Иногда мы охотились на мелкую дичь, чтобы пополнить наш запас продовольствия — ибо мы избегали ходить даже в те темные деревушки, которые были в Офраиме. Мы довольно мало беседовали между собою. Мы ложились рано и вставали с зарей. Мы молились, как молятся все евреи, ибо мы были евреями, и так же не могли отказаться от нашего Бога, как не могли отказаться от самой жизни, — и мы очень сблизились друг с другом. Как мне объяснить эту близость, которая дается

братьям и никому более? Это — как существование одной души в нескольких телах, как предвестие тех времен, когда все люди — и евреи, и нохри будут вместе ложиться и вместе вставать, как предсказывал сладостный пророк изгнания.

И в силах ли я сказать больше или понять больше? Однажды мы без страсти и без боли вспомнили Рут и говорили о том, какой она была. Но мертвые спят спокойно, спокойно...

Мы провели в изгнании тридцать два дня, когда появился Ионатан. Он пришел рано утром, когда мы сидели у входа в нашу пещеру. Мы обняли Ионатана и поцеловали его, и Иегуда взял его за обе руки и оглядел с головы до пят, улыбнувшись впервые за все это время при виде тонкого, гибкого юноши, который, как Вениамин, был нашей юностью и нашим сокровищем.

— Что случилось? — спросил я брата. — Но сначала поешь и отдохни.

— Случилось многое, — сказал Ионатан: раньше он был ребенком, теперь же он стал мужчиной. — Я пришел из Иерусалима, — добавил он, — и там творится нечто ужасное. Рагеш мертв, и Моше бен Даниэль мертв, и Шмуэль бен Зевулон, и старейший из старейшин Энох из Александрии, и много, много других — мертвы...

Ионатан смертельно устал; от радости при виде его мы в первый момент не заметили этого, но теперь, рассказывая, он склонил голову, и страдание исказило его лицо.

— Так много других, — прошептал он. — Они купили мир так дешево, так дешево, но эту-то цену надо было заплатить.

Слезы катились у него по щекам.

— Заплатить...

— Ионатан! — резко крикнул Иегуда. — Ионатан!

— Со мной-то все в порядке, — сказал юноша. — Я здесь, вместе с Маккавеем, так что со мной все в порядке. Но по Иудее идет слух, что Маккавея нет в живых. Со мной все в порядке, только я голоден и хочу спать.

Мы накормили его, и я омыл ему ноги и растер их целебной мазью.

— Расскажи обо всем, — попросил Иегуда.

— Рассказывать недолго. Я пошел к Рагешу, как ты сказал мне, Шимъон, и повторил ему все, что ты велел сказать. Шимъон, Шимъон, да хранит меня Бог испытать те страдания, какие испытал Рагеш! А потом к нему пришел Никанор и сказал ему: “Поддай мне Иегуду!” И Рагеш ответил: “Иегуды нет, Иегуда ушел в горы. Никто не знает, где Маккавей”. Так сказал Рагеш, и Никанор пришел в ярость. “Может ли еврей спрятаться от еврея?” — крикнул он, и клялся всеми своими богами, что если ему не выдадут Иегуду, то пусть пеняют на себя. Тогда Рагеш пришел ко мне и рассказал обо всем этом и спросил: “Ты знаешь, где сейчас твой брат?” Я сказал: “Знаю”. Рагеш спросил: “Ты пойдешь к нему?” И я сказал: “Да, я пойду к нему, когда придет час”. И тогда Рагеш со слезами сказал: “Будь моим гонцом, моим посланником, Ионатан, сын мой, будь моим гонцом и пойдди к Иегуде Маккавею, где бы он ни был, и возьми его за руки, и поцелуй его руки за меня, и умоляй простить меня”. Вот слова Рагеша...

Ионатан запнулся.

— Иегуда, — сказал он. — Вот слова Рагеша: “Скажи ему, — так он сказал, — скажи ему, что только его прощенья я прошу, только его, а не Бога. Я проклят, и буду я проклят, но сердце Иегуды Маккавея достаточно велико, чтобы в нем нашлось немного милосердия для меня”. Так он сказал, Иегуда...

— Ну — и? — сдавленным голосом прошептал Иегуда.

— И потом Рагеш выпил яд и умер. И когда Никанор услышал об этом, он обезумел, совсем обезумел от ярости. И он дал приказ, и наемники словно сорвались с цепи — они поубивали всех старцев и разграбили весь город. Они убили Моше бен Даниэля, изнасиловали его дочь и бросили ее умирать на улице. Я прокрался туда ночью с двумя левитами, и мы принесли ее в Храм, куда наемники не врывались, и там она умерла у меня на руках, и в бреду ей казалось,

что я — это Эльзар, который вернулся к ней. А потом я пришел сюда. Это все, Иегуда. А теперь я вместе с Маккавеем. Я устал, я хочу спать.

И следующим утром — серым ранним утром — мы, все трое, покинули Офраим. Но теперь мы шли не по тропам — теперь мы шли по дорогам. Сначала мы отправились в Левону, оттуда в Шило, оттуда в Гилгал, а затем в Дан, Левеин, Хорал, Гумад — в одну деревню за другой, пока не добрались до Модина. И теперь мы шли днем, а не ночью, и куда бы мы ни приходили, везде люди собирались под стяг Маккавея.

И куда бы мы ни приходили, вокруг нас собирались люди, они обнимали Иегуду, и слезы струились у них по щекам. И мужчины брали копья, луки, ножи и вливались в наши ряды. В Шило, в Гилгале стояли наемники; безжалостно и хладнокровно мы перерезали их — и после этого во всех других деревнях молва о нашем приходе опережала нас, и наемники поспешно скрывались.

Мы вышли в путь на заре, а к полуночи мы пришли в Модин, и с нами было девятьсот человек. И люди подходили и подходили всю ночь, и страну облетала весть, что Маккавей жив.

Никто из нас не спал в эту первую ночь. Модин, еще недавно охваченный отчаянием — оттого, что исчез Иегуда, а в Иерусалиме наемники устроили резню, — теперь воспрянул духом и буйно ликовал, как никакое другое селение в Иудее. В каждом доме, в каждом амбаре, даже в нашей старой синагоге разместились бойцы, и все же им не хватило места, и они расположились на террасах и склонах холмов. Кузнец Рувим, обуреваемый радостью, оборудовал оружейную мастерскую прямо на главной площади. Были собраны все точильные камни, какие нашлись в деревне, и до самого утра площадь озарялась снопами искр, разлетающихся от крутящихся точил и заостряемого железа. Тем временем начальники наших десятков, двадцаток и сотен разыскивали своих старых бойцов, участников прошлых сражений, и ночь оглашалась выкриками и

приказами, и повсюду царили суэта и суматоха. И в этой суете и суматохе возрождалось наше войско.

Времени у нас было в обрез, потому что неподалеку, за холмами, лежал Иерусалим, а там был Никанор и его наемники. И сейчас, конечно, до него дошли уже вести о новом восстании, и мы знали, что если он не дурак, то попытается уничтожить нас, пока восстание не набрало силу. Так мы рассчитали, и расчет наш оказался верен. Нас спасла и дала нам драгоценную отсрочку на сутки нерешительность Никанора. Его нерешительность можно понять, ибо Иегуда в первую же ночь разослал отряды лучников, чтобы встретить тяжеловооруженных наемников в горных теснинах.

В старом доме Мататьягу расположилась наша ставка, и здесь мы с Иегудой при свете лампы трудились всю ночь, создавая за считанные часы новую армию. Иоханан, Ионатан и Адам бен Элизер, который пришел к нам как только разнесся слух о новом восстании, постоянно докладывали нам обо всех новостях, а мы на огромном листе пергамента расчертили все устройство наших воинских соединений и порядок подчинения. Как только составлялась двадцатка и назначался для нее начальник, мы вручали список Левелу, и он ходил по домам, амбарам и привалам, выкрикивал имена и отсылая только что созданные части на площадь к Рувиму для проверки вооружения и обеспечения всем необходимым. И в довершение всей этой суতোлки, модинские дети (а также дети из Гумада, откуда почти все жители явились в Модин) сновали повсюду, мешая взрослым своими криками.

Но удивительнее всего была перемена в Иегуде. Он снова ожил. Он снова был прежним Иегудой — терпеливым, мягким, страстным и, в зависимости от обстоятельств, уступчивым или непреклонным. Он снова был Маккавеем, и так его называли, и повсюду слышалось:

— Где Маккавей?

— Есть новости для Маккавея!

— Я привел Маккавею двадцать человек из Шмоала!

— Я пять лет сражался под началом Маккавея, я ему нужен!

Все они были нам нужны, и всех мы принимали. Сколько раз в ту ночь провозглашалось благословение, когда начальники отрядов, еле волоча ноги после долгого пешего перехода, один за другим входили в дом Мататьягу, чтобы стать под знамя Маккавея! И наутро — я это было всего лишь второе утро после прихода Ионатана с вестями в Офраим — мы уже сколотили в Модиине войско, и еще двести лучников залегли на холмах, готовые встретить Никанора, если он выступит в поход ночью. И наше войско в Модиине насчитывало две тысячи триста человек — суровых, испытанных воинов, прошедших через сотни сражений.

Я заставил Иегуду лечь спать, закрыл дверь и поставил двух часовых следить, чтобы его никто не тревожил. Робко занималось утро, и нежная розовая полоска зари окрасила небо на востоке, где был наш священный город, и бросила розовый отсвет на наши высокие, плодородные террасы. По влажной от ночной росы траве я пошел к оливковой рощице, где когда-то мы с Рут лежали в объятиях друг друга, и разостлал там свой плащ и лег, ощущая своим усталым телом родную землю.

Я был счастлив — я, Шимшон. Шимшон, которого называли железной рукой и железным сердцем, я, ничтожнейший и недостойнейший из сыновей Мататьягу, одинокий, бесстрастный, бесцветный труженик, — я был счастлив так, как, мне казалось, я никогда уже не буду счастлив. Впервые за много лет в сердце у меня был мир, и ядовитая горечь испарилась из моей души. Воспоминания мои были радостны, и я лежал там, рядом с мертвыми и рядом с живыми, и это успокаивало меня. Демоны более не смущали меня, и ненависть перестала меня разъедать. Суровый и властный старик адон спал спокойно, и так же спокойно спала высокая, прекрасная женщина, которая владела моим сердцем, как не владела и не будет владеть ни одна

женщина на земле, — женщина, которая целовала меня и отдала мне свою душу. Наверно, я немного задремал в то прохладное утро, овеваемый свежим ветерком, ибо мне показалось, что в одно и то же время я и грежу и вспоминаю, и в грезах и воспоминаниях моих была древняя-древняя земля Израиля, которая взрастила такой странный народ — нас, евреев. И слова утренней молитвы звучали во мне, как благословение:

**“Как прекрасны шатры твои, о Яков, жилища твои, о Израиль!”**

Эти слова повторял я снова и снова, пока дрема не одолела меня и не превратилась в грубокий сон. А когда я проснулся, яркое солнце било мне в глаза.

Никанор повел свое войско из девяти тысяч тяжелооруженных наемников прямо на Модиин, через долины — по той дороге, по которой мы в детстве ходили из Модиина в Храм вместе с адоном. Греки вышли из Иерусалима ранним утром, и хотя наши посланные им навстречу двадцатки лучников всю дорогу не давали им покоя, обстреливая их с горных кряжей, наемники неумолимо продвигались вперед, подняв и сдвинув щиты. От Иерусалима до Гибсона и до Бет-Хорона шли они, непрерывно осыпаемые тонкими, смертоносными кедровыми стрелами, и Никанор в этот день на своей шкуре понял, что имеют в виду греки, когда они говорят о беспощадном “иудейском дожде”. Наемники шли, оставляя за собою бесчисленные трупы. Однако Никанор не остановился, не свернул в сторону. По пути он сжигал опустевшие деревни. В Бет-Хороне он устроил ночной привал, но всю ночь наши стрелы свистели над греческими шатрами, и наемники не спали всю ночь. А утром, раздраженные и разозленные до предела, они стали спускаться вниз в долину, по направлению к нашей деревне. За три мили от Модиина, где мирный ручей течет по долине вдоль дороги, окаймленной с обеих сторон отвесными холмами с террасами, заросшими сухим кустарником, мы перегородили дорогу высоким валом.

Мы применили наш старый метод ведения боя,

но для Никанора он был нов. Каждая теснина в Иудее — это смертельная ловушка для врага, и целое поколение наемников уже нашло смерть на земле Иудеи. Но Никанор пошел прямо в теснину, прямо в приготовленную для него ловушку. Впрочем, что он еще мог поделаться? Мы стояли у него на пути, и ему оставалось одно из двух: либо смести нас с пути, либо вернуться в Иерусалим, — если бы ему удалось туда добраться. Он решил смести нас с пути.

За валом мы поставили восемьсот наших лучших воинов с копьями, мечами и молотами. Остальные рассеялись по холмам, вооружившись ножами, луками и колчанами с короткими, тонкими стрелами, острыми, как иглы. Вал был построен из камней, земли и ветвей, восемь локтей в высоту и двадцать в толщину — это была не такая уж неприступная стена, но первый напор врага она сдержать могла. Наши люди притаились за валом, а перед ним встали Рувим, Иегуда и я. Мы смотрели, как, спускаясь по дороге, к нам приближается огромная, звенящая металлом орда наемников, заслонившись сомкнутыми щитами и выставив длинные копья. Они заполнили в теснине пространство шириной в добрую сотню ступней, они перешли ручей, они двигались по склонам холмов, и то и дело кто-нибудь из наемников, пораженный стрелой в щеку, или в глаз, или в шею, застывал на мгновение, удерживаемый в стоячем положении плечами своих товарищей, а потом падал наземь, под подкованные подошвы шагающего войска.

Когда наемники достаточно приблизились, нам стали хорошо видны их разъяренные, грязные, лоснившиеся от пота лица, и мы почувствовали, чего это им стоило — прошагать много часов под жгучим иудейским солнцем, неся на себе восемьдесят фунтов горячего металла. И утренний ветер, казалось, доносил до нас тошнотворный запах их немых тел и кожаных портупей. Звон металла наполнил теснину, смешиваясь с дикими кличами наших лучников, грохотом камней и обломков скал, катившихся сверху, воплями раненых и стонами умирающих и яростными арамейскими ругательствами наемников.

А затем всего лишь локтях в пятидесяти от нас они вдруг остановились. Лишь пятеро шагнули вперед, один из них был Никанор, и он выступил еще немного вперед, подняв кверху руку — и шум сразу же затих, и дождь стрел прекратился.

— Хочешь поговорить, Маккавей? — прокричал Никанор.

— Не о чем нам говорить! — ответил Иегуда холодным и резким голосом.

— Маккавей, ты убил Аполлония, а он был моим другом! Ты коварно заманил его в свою грязную еврейскую ловушку и убил его. Разве не так, Маккавей?

— Я убил его! — сказал Иегуда.

— Так вот, еврей, я даю обет! Я даю обет, что убью тебя своей рукой, и я прорвусь через этот перевал и очищу его от еврейской швали! И на каждом оливковом дереве в Иудее будет висеть еврей! И в каждой синагоге будет зарезана свинья!

Пока Никанор говорил, он медленно шел вперед, и Иегуда вышел ему навстречу. В руке у Никанора был щит, но меч его был в ножнах. У Иегуды не было ни щита, ни нагрудника, только длинный меч Аполлония, высевший на перевязи через плечо перед ним. Иегуда двигался мягко, как тигр, одетый лишь в белые полотняные штаны и сандалии, голый до пояса, и пока он шел, мышцы его напряглись, и вдруг он, как тигр, напряжился и прыгнул навстречу Никанору. Мало кто знал, как я, насколько Иегуда силен. Никанор, вытаскивая меч, пытался отразить натиск Иегуды щитом, но Иегуда рванул щит в сторону, и в поднявшемся с обеих сторон диком реве мы услышали, как хрустнула рука Никанора. Голыми руками Иегуда убил Никанора, нанеся ему два страшных удара по голове, а затем он поднял его тело над головой и швырнул на копья надвигавшихся наемников.

Стоял страшный шум. Иегуда отбежал назад, и сотня рук сразу же протянулась к нам, чтобы поднять нас на вал. Строй наемников устремился на нас, достиг до вала и полез на него. Наши лучники со склонов, точно обезумев, ринулись вниз в теснину, сража-

ясь камнями, ножами и даже голыми руками. В них клокотала дикая, бешеная, неукротимая ненависть, накопившаяся за все эти годы бессмысленных, безжалостных вторжений, бесконечных убийств, насилий, мучений, сожженных деревень и разоренных полей, — ненависть и ярость свободных людей, которым никогда ничего не нужно было, кроме свободы, но которые помнили только поругание, глумление и горе.

Будь у наемников вождь, и держись они с большей стойкостью, и не столпись они так плотно на дне теснины, им, может быть, удалось бы добиться того, за чем они пришли. Но гибель Никанора и наш неустойчивый натиск ошеломили врага. Передние ряды стали откатываться от нашего вала, а задние еще напирали вперед, и мы увидели, что боевой порядок наемников нарушился, и ринулись вниз...

Наемников было девять тысяч, а евреев — меньше трех тысяч, и пять долгих, ужасных часов мы сражались в узкой теснине, и Иегуда и Ионатан рядом со мной в этой кровавой бойне. Многие подробности я забыл, много я не видел или не сохранил в памяти, ибо невозможно все это помнить и продолжать жить: не было ни до того, ни после столь жестокой и кровавой битвы, — но кое-что я все-таки помню. Я помню короткую передышку — ведь бойцы должны остановиться и передохнуть даже во время сражения, я помню, как стоял по колено в ручье, и ручей был красный, густой и липкий: крови в нем было больше, чем воды. Я помню, как мертвецы лежали друг на друге слоями по пяти человек. И я помню, как в какой-то момент я оказался так плотно стиснутым со всех сторон, что ни я, ни те, кто меня окружили — евреи и наемники — не могли пошевелить рукой, застыв лицом к лицу, плечом к плечу. И я помню, как мы долго стояли, и вокруг нас слоями лежали трупы, и на расстоянии пятнадцати локтей от нас не было ни одного живого существа...

Наконец это кончилось. Все было кончено. Мы победили. Сражаясь врукопашную, мы уничтожили огромное войско наемников — но какой ценой! В этой долине смерти меньше тысячи евреев могли стоять на

ногах, и все они были с головы до пят в крови, почти голые — ибо одежда на них изодралась в клочья, на плечах и на бедрах висели какие-то лохмотья, — и все они были покрыты ранами, и кровь капала с них, смешиваясь с липкой кровью, пропитавшей землю у них под ногами.

Я попытался найти своих братьев, но в этом кошмаре все люди казались на одно лицо. Причитая, еле дыша от изнеможения и страха, я звал их, и они подошли ко мне — Иегуда, и Ионатан, и Иоханан, но Иоханан был так тяжело ранен, что ему пришлось ползти по трупам — и все же он собрал все силы и поднялся, чтобы стать среди нас...

Так мы победили. Но, как сказал Иегуда, когда мы, сами еле передвигаясь, несли наших стонувших раненых в Иерусалим, — это была победа без торжества, без радости. Накануне в Модиине мы веселились в последний раз, предвкушая победу, но теперь много ли в Модиине, Гумаде и Шило осталось людей, которые не потеряли бы отца, или брата, или мужа? Еще были люди в Израиле, но в этой долине смерти погибли многие из тех, кто был красотой и гордостью нашего войска, — погибли испытанные воины, сражавшиеся с самого начала нашей борьбы. Из мужчин Гумада после этой великой битвы осталось в живых только двадцать два человека, а из модинцев, помимо меня и братьев, — всего лишь двадцать. И мало было утешения в том, что наемники погибли все до единого, что даже тех, кто бросил оружие и пустился наутек, добились лучники или дети в соседних деревнях Гибеоне и Гезере. Так было с самого начала, и так повторялось снова, и снова, и снова, ибо мир без конца мог снабжать Сирию наемниками. Неужели же, думал я, все это будет продолжаться и дальше, всю жизнь? Неужели и дальше будут эти кошмарные, бесконечные, бесчисленные вторжения захватчиков, мечтающих покорить нашу крохотную полоску земли? Неужели этому не наступит конец? Неужели мы так и будем без передышки сражаться? В этой долине пал учитель Левел, пал Натан бен Барух, который тринадцатилет-

ним мальчиком принимал участие в нашей первой битве, пали Мелех, Даниэль, Эзра, Шмуэль, Давид, Гидеон, Ахав — те, кого я знал всю жизнь, с кем я играл в детстве, и после которых теперь остались дети, — могла ли утешить нас гибель наемников? Какое это утешение? И когда все это кончится, и как все это кончится?

Мы отправились в Иерусалим, и там мы три дня отдыхали, пока евреи и греки в Акре не узнали, какие мы понесли потери. Они медлили слишком долго, ибо через три дня к нам присоединились двести яростных темноволосых свреев с юга. И когда богатые евреи из крепости повели своих наемников против нас, мы сразились с ними на улицах, нанесли им тяжелый урон и прогнали их обратно в их твердыню. Но опять мы потеряли людей. Я чувствовал себя таким измотанным, что, казалось, я уже никогда не смогу восстановить свои силы, и раны мои никогда не залечатся. Рувим бен Тувал потерял три пальца на руке, и как ему ни перевязывали руку, она кровоточила и воспалилась. А мой брат Иоханан лежал в Модиине и метался в горячке, и раны его загноились. Что же до Ионатана, то со своей искрящейся, бурлящей, чудесной юностью он распростился навсегда. Он был слишком молод и слишком многое видел, он стал тихим, молчаливым, и в его только недавно отросшей бородке появилась седина.

Только Иегуда был неподвластен отчаянию. Както раз он поддался отчаянию, но больше этого никогда не должно было случиться. И он сказал мне, и повторял это снова и снова...

— Шимшон, свободный народ нельзя победить, его нельзя убить: для нас это всегда начало, всегда начало.

Тогда в Иерусалиме и показал себя Иегуда настоящим Маккавеем. Это он собрал тела убитых старцев и похоронил их. Это он еще раз очистил Храм, и надел белоснежную одежду первосвященника, и вел службу. Это он утешал вдов и заражал своим бесконечным мужеством тех, кто о чем-то просил, требовал или умолял. И это он внушил нам, что мы должны

снова сражаться, когда мы, еще не оправившись от своих ран, узнали, что к границам Иудеи движется новое войско наемников.

Никогда еще вторжение не повторялось так быстро. А ведь теперь не было у нас друзей — таких, как Моше бен Даниэль, да почитет он в мире! — которые заранее предупреждали нас о том, что происходит при дворе царя царей. Когда-то безумцу Антиоху требовался год, а то и два, чтобы восполнить потерю девяти тысяч человек, а теперь не успел еще адский шум битвы в долине ужасов умолкнуть у нас в ушах, как мы услышали новость от евреев, бежавших от наступающих наемников. Деметрий, новый цар царей, казался каким-то демоном — никто из нас не видел его, но слухов о нем было много. Или он умеет добывать наемников из воздуха? Кое-кто верил и в это, и еще много чего говорили о Деметрии. И что толку сопротивляться, когда вражеским ордам воистину нет числа! Просто мороз подирал по коже.

А из-за пределов Иудеи, от евреев из других стран, не доносилось ни звука. Казалось, люди устали и опустили руки, увидев, что кровопролитие ведет только к новому кровопролитию. Их можно было понять. Ведь мы гонимся за призраком свободы, от которой они отказались несколько поколений назад, и все-таки они выжили. Поначалу этот высокий, с каштановыми волосами юноша был овеян славой: он отбирал оружие у врага и превращал в воинов простых, мирных крестьян, умевших лишь возделывать землю. Но слава меркнет.

— Может быть, теперь, — сказал я Иегуде, когда мы услышали, что на нас движется новое войско под началом нового наместника Вакхида, — может быть, теперь нам стоит выждать и разойтись по домам?

— А что будет делать Вакхид? — мягко спросил Иегуда, слегка улыбнувшись. — Ты думаешь, он тоже будет выжидать, пока мы наберемся сил и залечим раны? Никанор был другом Аполлония, а этот Вакхид, как я слышал, друг Никанора. Может быть, он посетит долину, где лежат трупы Никанора и его девяти тысяч наемников, и это заставит его нас полю-

бить? Нет, Шимъон, поверь мне, мы должны драться. Мы можем жить только в борьбе. А если мы повернемся к ним спиной, все будет кончено. Но мы не повернемся к ним спиной.

Тяжело раненый Иоханан лежал в Модиине. Он написал Иегуде, умоляя нас не выступать против Вакхида, а, оставаясь под защитой высоких стен, защищать Храм и постараться на каких-то условиях торговаться с греками, чтобы хотя бы выгадать время, создать новое войско и собраться с силами. Рувим, и я, и Адам бен Элизер были согласны с Иохананом, и мы долго и горячо убеждали Иегуду. Но он был неумолим, он сердился и кричал:

— Нет! Нет! И слушать не хочу! На что нам эти стены? Чем они нам помогут? Стены — это ловушка для того, кто так глуп, чтобы на них понадеяться.

— А где нам взять людей? — спросил Адам бен Элизер. — Не можем же мы поднять мертвых.

— Мы можем поднять живых, — сказал Иегуда.

— Иегуда, Иегуда! — умолял я. — Подумай, что ты говоришь! Вакхид в одном дневном переходе от Иерусалима, а у нас тут, в городе, всего тысяча сто человек, не больше. Где ты найдешь за день, пусть даже за два, столько людей, сколько нужно? Ты пойдешь в Модиин? Но там никого не осталось. Или в Гумад? Или в Шило?

— Нет! — закричал Иегуда. — Я не дам поймать себя здесь в ловушку. Я не пойду опять на совет старейшин. Они погибли, потому что захотели дешево купить свободу. Я не совершаю сделок с теми, кого нанимают сражаться за золото и за добычу, — с нохри, которые набрасываются на нас, как голодные волки. Пока есть кому сражаться вместе со мной, я буду сражаться. Я буду сражаться так, как я умею сражаться — в открытом поле, в горах и на перевалах, — как сражается еврей.

— Иегуда, послушай...

— Нет! Ты меня слушай, Шимъон. Вспомни, что сказал наш старик. Ты решаешь в мирное время, а я — во время войны. Что ты тогда велел передать Рагешу? “Пока двое свободных людей ходят по земле

Иудей, борьба не кончена“. Правильно? Так ты сказал?

— Так я сказал, — прошептал я.

— Если ты пойдешь своим путем, и Рувим, и Адам бен Элизер, и его двести южан, и все остальные — все, кто хочет купить свободу ценой дешевой победы, — ваша воля, идите, куда хотите! Ионатан останется со мной.

Иегуда повернулся к Ионатану и пытливо посмотрел ему в глаза. Юноша улыбнулся печальной улыбкой и кивнул головой.

— До конца, Иегуда. Я еврей.

— Так пойдем, и пусть они подумают на досуге, — сказал Иегуда, и, обняв Ионатана за плечи, он вышел с ним из комнаты.

И в наступившем долгом, безнадежном молчании мы трое посмотрели друг на друга и по очереди кивнули друг другу головой.

В этот вечер Иегуда собрал всех нас в Храмовом дворе. Еще никогда он так не говорил. Он не преувеличивал и не преуменьшал грозящую нам опасность, но рассказал все, как есть, как он все это видел и понимал, и, клянусь, он видел зорко и понимал верно.

— Мы должны опять драться, — сказал он. — Я не знаю, в последний ли это раз. Я думаю, что они будут приходить еще и еще, и нам придется еще и еще драться, но в один прекрасный день мы завоюем свободу. Будь у нас достаточно времени, мы обошли бы нашу землю, и люди пришли бы к нам, как приходили прежде, и мы могли бы обучить их и дать им оружие. Но времени у нас нет, и мы не можем спрятаться, как делали когда-то, мы не можем оставить всю землю беззащитной на разграбление наемникам. Тогда, в Офраиме, у нас не было такого долга перед народом. Но теперь люди доверились нам и вернулись в свои дома, к своим полям, и мы не можем позволить Вакхиду и его своре ворваться в нашу землю, как стая волков в овчарню. Как бы нас ни было мало, мы обязаны драться, но не за стенами Храма, а в наших горах, как дрались всегда.

Он замолчал, и в ответ не раздалось ни звука. Перед Иегудой стояли старые бойцы — те, кто остались от первого войска, созданного в Офраиме, люди из Модиина, Гумада, Хадида, Бет-Хорона. Большинство из них сражалось еще под началом старика адона, а теперь они сражаются под началом юноши Маккавея. Им достаточно было только взглянуть на Иегуду, стоящего перед ними спиной к стене Храма, озаренной последними лучами заходящего солнца, которое блестело в волосах Иегуды и на его смуглой коже и озаряло его прекрасные черты и стройное тело на фоне высоких белых камней, — им достаточно было только взглянуть на него, и он уже знал их ответ.

И, как всегда, он сказал просто и мягко:

— Мне не нужен никто, у кого есть неоплаченный долг, молодая жена, только что построенный дом, вспаханное поле, новорожденный ребенок. Эти люди могут уйти, и не будет на них позора. Сражаться они будут позже. Мы — евреи среди евреев, и нам не надо стыдиться друг друга.

Некоторые люди, со слезами на глазах, начали уходить прочь. Ряды поредели, но оставшиеся сомкнулись сплоченные и стояли молча, с решимостью во взорах. Осталось восемьсот человек. Тогда Иегуда прошел по рядам, назвав каждого по имени, поцеловал, и они прикасались к нему и обращались к нему с такой любовью, какой никогда еще не удостоивался ни один человек. Он принадлежал им, он был Маккавей, и они принадлежали ему. Связь между ними и им была скреплена кровью, — и я думаю, что если бы даже они знали тогда, что их ожидает, они вели бы себя точно так же.

А затем, когда пала на землю тьма, они покрыли плащами головы, и Иегуда читал тихим, но отчетливым голосом:

“Зачем возмутились народы, и рыкают племена понапрасну? Восстают цари земли, и вельможи совещаются вместе — на Господа и на помазанника Его: Разорвем их узы, и свергнем с себя их бечевы! — Восседающий на небесах улыбается;

Господь над ними смеется. Во гневе Своем Он тут заговорит, и яростию Своею приведет их в смятение“.

И тесно сомкнутые ряды ответили:

— Аминь! Да будет так!

В ту же ночь мы вышли из Иерусалима и направились на запад, ибо мы знали, что грек двигается с северо-запада, и Иегуда задумал зайти ему в тыл и ударить либо сзади, либо сбоку. Нас было слишком мало, чтобы лоб в лоб встретиться с ними в какой-нибудь долине, заградить им путь и в то же время тревожить их с горных склонов. Но Иегуда уповал на то, что нам удастся отрезать часть вакхидовых сил и нанести им такой урон, чтобы все наступление приостановилось или даже повернуло вспять. Поэтому мы как можно быстрее, пока, уже за полночь преодолев около двадцати миль, не решили, что достаточно зашли Вакхиду в тыл; и тогда мы выставили дозорных, расположились на ночлег на широком пастбище в окрестностях Бет-Шемеша и уснули мертвым сном. Утром, отоспавшись и отдохнув, мы двинулись дальше.

Настроение у наших людей было приподнятое. Это объяснялось, может быть, отчасти тем, что стояло великолепное утро, над нами голубело чистое небо, со Средиземного моря тянуло свежим ветерком, и вокруг нас поднимались чарующие зеленые взгорья, покрытые террасами, — а может быть, тем, что снова нас вел Маккавей: была глубоко укоренившаяся вера, что пока мы с ним, нам ничего плохого не грозит. И двигаясь на север, к равнине, откуда мы собирались повернуть в горы и зайти в тыл грекам, наши люди затянули старую иудейскую боевую песню. Но песня резко оборвалась, когда мы вышли к равнине и неожиданно увидели, что вся она полна наемников, их были тысячи и тысячи, и от главных сил отделялось длинное, вытянувшееся на большое расстояние боевое расположение, отрезавшее нам отступление в горы.

Кажется, я понял, что это конец. Наверно, все это

поняли, даже Иегуда. Но он бодрым голосом приказал нам следовать за ним и пустился бегом, ведя нас прямо на этот растянувшийся боковой отряд.

Мы думали застать греков врасплох, но получилось как раз наоборот. Каким-то образом получив сведения от лазутчиков или предателей — мы так этого и не узнали, — Вакхид сумел предвидеть наши действия, и вот впервые грек поймал в ловушку еврея. Но мы приняли вызов. С храбростью отчаяния бросились мы вперед и ударили по вытянутому боевому расположению греков, в самое его слабое место. Незащищенные доспехами, ринулись мы на строй наведенных пик, прорвали его сначала в одном месте, а потом расширили прорыв, обратив наемников в бегство яростным, неудержимым натиском. Нам даже показалось, что это победа, и мы торжественно закричали и уже повернули было назад, чтобы преследовать наемников с тыла. Но тут, перекрывая шум битвы, раздался голос Иегуды, приказавшего нам остановиться; мы прекратили погоню и увидели, что оба конца растянувшегося греческого соединения перестроились и двигаются на нас, а дальше, за ними, тесными рядами следуют основные греческие силы.

Мы отступили на склон, где было много огромных валунов и узких ущелий; там греки не могли сражаться сомкнутым строем. Но Иегуда не решился приказывать отступать дальше, опасаясь, что отступление может превратиться в беспорядочное бегство, и тогда греки смогут смять нас, как мы только что смяли их. Нас уже окружали, и греки устремились на нас со всех сторон. Иегуда сделал единственное, что он мог в этом положении сделать: он собрал нас всех вместе среди валунов и скал, построил круговую оборону, и так мы приняли бой.

Никогда не забуду я того дикого, звериного рева, который издали наемники, когда увидели, что наконец-то евреи попали в капкан, из которого они не могут ни отступить, ни обратиться в бегство. Ради этого они годами усеивали трупами своих воинов землю Иудеи. Они мечтали об этой минуте, они готовились к ней, и наконец-то сегодня мечта их сбылась.

И все же мы оставили по себе у греков страшную память. Мы были не овцы в загоне, мы были старые, опытнейшие, лучшие бойцы во всей Иудее, и мы не погибли бесславно. Нет, Иегуда! Ты показал себя, ты показал себя.

Сначала, пока греки приближались к нам, мы стреляли из луков. Мы стреляли не так, как мы это делали в ущельях, когда стрелы низвергались ливнем, заполняя воздух, нет, мы стреляли медленно, осторожно, тщательно целились, выбирая мишень, ибо знали, что когда мы расстреляем все сорок стрел, которые были у каждого из нас в колчане, больше их не будет. Мы целились в неприкрытые доспехами части тела: в глаз, в лоб, в руку; и дорого же они заплатили за свой первый натиск. Они уже не так громко орали, они продвигались медленнее, но в конце концов они до нас дошли.

И до самого полудня дрались мы копьями, а когда переломали все копья, то мечами, ножами, молотами. И за это время мы отражали один натиск за другим. Не знаю, сколько их было, но много, много — так много, что, даже вспоминая об этом, я ощущаю усталость и боль. А затем они отошли, чтобы передохнуть, перегруппировать свои ряды и подсчитать своих мертвецов, громоздившихся вокруг нас стеной.

Они дорого заплатили, но и мы тоже. От наших восьми сотен осталась едва ли половина. Старые раны раскрылись, и к ним добавились новые. Когда я опустил меч, то почувствовал, что поднять его снова будет просто выше моих сил. Рот у меня пересох, как высушенная кожа, и когда я пытался что-то сказать, изо рта у меня вырывались лишь хрипы, вроде карканья. Повсюду вокруг нас лежали раненые, прося воды, и мертвые, которые уже ни о чем не просили. Я оглянулся, ища глазами Иегуду и Ионатана, и сердце мое стало биться спокойнее, когда я увидел, что они живы — так же, как и Рувим и Адам бен Элизер. Но у Иегуды был кровоточащий шрам через всю грудь. А яростный, мстительный Адам бен Элизер был ранен в лицо, и вместо рта у него была сплошная кровавая рана.

Иегуда подошел ко мне, переступая через трупы, и протянул мне фляжку с водой.

— Отдай ее раненым, — прохрипел я с натугой.

— Нет, Шимъон, лучше пусть пьют здоровые — иначе вечером сегодня больше не будет раненых.

Я смочил губы — большего я сделать не мог. Ко мне подошел Рувим — он поцеловал меня.

— Шимъон, друг мой, прощай, — сказал он.

Я покачал головой.

— Нет, прощай! — повторил он. — Да будет мир с тобою! Я счастлив. Так умереть я согласен. Так хорошо было жить рядом с вами! И вовсе не тяжело умирать, когда рядом сыновья Мататьягу.

Я не мог думать о смерти, о конце, о прошлом или о будущем. Я мог думать только о каждой благословенной минуте отдыха, и я мог только желать, чтобы этот отдых еще хоть чуть-чуть продлился, еще хоть немного, совсем немного, пока греки снова не пойдут в наступление.

И они пошли. Наш круг теперь сузился. Они шли в наступление снова и снова, и теперь мои братья были совсем рядом со мною, — а в начале сражения они были по другую сторону круга. Мы отбивали натиск греков, но они опять наступали, и вот уже мы собрались полукругом вокруг могучего валуна; здесь мы будем стоять, здесь мы погибнем.

Каждое движение причиняло мне безмерные мучения. Раны мои теперь уже не болели, я ничего не чувствовал и ничего не слышал; я ощущал только одно — ужасную, невыносимую тяжесть моего меча, и все же опять и опять подымал я свой меч, и рубил, и колол, как рубили и кололи мои братья, как рубил и колол Иегуда своим длинным, острым мечом, который когда-то, давно, достался ему от убитого им Аполлония. А наемники все нападали и нападали — и я знал, что нападать они будут вечно, пока не погибну я, пока не погибнут все евреи. Время остановилось. Все остановилось, кроме движения наемников, которые, перелезая через горы трупов, еще и еще раз нападали на нас. Иногда бывала передышка, но неизъяснимое блаженство этой передышки всегда продолжалось

слишком недолго, — а потом они снова устремлялись на нас.

А затем наступила передышка, которая не окончилась. И я неожиданно погрузился в ночь — не в сумерки, не в медленный переход от дневного света к вечернему полумраку, но в черную, черную ночь — и по лицу моему застучали капли дождя. На мгновение мне показалось, что я остался один в этом жутком обиталище смерти, и я подставил губы под дождь и закричал... Нет, то были не слова — то был дикий, захлебывающийся, хриплый вой, и я продолжал выть и выть, пока не ощутил у себя на лице чьи-то руки, и тогда я осознал, что лежу на земле и что кто-то кричит мне в ухо, и до меня дошло, что это голос моего брата Ионатана, и он спрашивает меня, спрашивает меня — сторожа брату своему:

— Шимъон, Шимъон, где Иегуда?

— Не знаю... не знаю...

Мы поползли по земле, осматривая лежащих. Кроме нас, не осталось в живых никого, никого... Мы ползли от трупа к трупу, и наконец мы нашли Иегуду. Ночь была черна, словно адская бездна, и как-то нашлись у нас силы поднять бездыханного Иегуду и унести из этого дьявольского места.

Мы двигались медленно, страшно медленно, и каждый шаг причинял нам боль. Временами мы проходили так близко от лагеря наемников, что отчетливо различали их голоса, — а потом мы отделились от них, и голоса их затихли в ночи. А мы все шли и шли. Не знаю, как долго мы шли. У той ночи не было ни начала, ни конца. Но наконец мы ухитрились отыскать какую-то узкую расселину в скалах, и здесь мы легли, положив рядом тело нашего брата, и, несмотря на дождь, мы сразу же, в крайнем изнеможении, погрузились в глубокий сон.

Не знаю, сколько было времени, когда мы проснулись на следующее утро. Дождь все еще лил, и небо было серым, и мы не видели ни наемников, ни того места, где мы вчера сражались.

У нас не было слов, не было слез. Все было кончено, и Иегуда, брат наш, Иегуда Маккавей, не имею-

щий равных, без страха и упрека, был мертв. Осторожно, бережно подняли мы его холодное тело. Все было кончено, все завершилось. Но мы шли и шли по направлению к Модину, к нашему родному крову — старому дому Мататьягу.

Нет у меня слов, чтобы поведать, что ощущал я тогда и о чем я мыслил, — как не было слов в тот день ни у меня, ни у Ионатана. Иегуда был мертв.

И вот я пишу об этом, я, старик, старый еврей, который роется памятью в прошлом — в этой далекой и беспокойной юдоли воспоминаний. Я писал, но больше писать не в силах, ибо мне начинает казаться, что писать эту повесть — бесцельно и лишено смысла.

Ночь — это мрачное время. И хотя царит сейчас мир на нашей земле, я, Шимъон, ничтожнейший из братьев, не знаю мира.

## ОТЧЕТ ЛЕГАТА ЛЕНТУЛЛА СИЛАНА

Иерусалим, Иудея

Докладываю благородному Сенату, что свою миссию я выполнил. Как мне было поручено, я отправился в страну евреев — или иегудим, как они себя именуют, — и провел там три месяца, исполняя поручение Сената. В течение вышеозначенного времени я имел несколько встреч с их вождем этнархом Шимъоном или Маккавеем, как его здесь также называют. Во время этих встреч мы беседовали на самые разнообразные темы, в частности о будущих взаимоотношениях между Иудеей и Римом. Содержание этих бесед я изложу ниже в своем докладе, где осмелюсь также предложить некоторые рекомендации. Свободное от бесед с этнархом время я посвятил ознакомлению с их страной и обычаями, а также подготовке этого доклада.

Как мне было предписано, я отправился морем в Тир, где высадился на берег. Поскольку я ничего не знал о евреях и никогда не встречал и не видел ни одного из них до своего прибытия в Тир, я решил провести несколько дней в этом городе, дабы подготовиться к своему путешествию в Иудею. Тут я отправился в еврейский квартал, который в Тире довольно большой, и впервые познакомился с этим странным народом.

К счастью, у меня не было никаких трудностей с языком. Почти все народы, обитающие в этой части мира, говорят на арамейском языке, а он столь схож с диалектом, на котором изъясняются жители Карфагена — диалект же этот я освоил во время Пунических войн, — что весьма скоро я говорил по-арамейски почти так же легко, как местные жители. Я осмелился бы посоветовать всем легатам и посланникам, направляемым в эти края, изучать арамейский язык,

что будет способствовать более широкому распространению славы Рима и облегчит общение и обмен мыслями.

На арамейском языке изъясняются в повседневной жизни евреи, а также финикийцы, самаритяне, сирийцы, филистимляне и многие другие народы, населяющие эти области, — в том числе и греки. Впрочем, евреи в определенных, особых случаях пользуются ивритом — древним языком своих, как они выражаются, “священных книг”; это язык, родственник арамейскому, но для меня едва понятный. Среди евреев обоими языками владеют, кажется, даже дети, но для повседневного общения знание арамейского языка было для меня вполне достаточно.

Что касается евреев города Тира, они доставляли мне гораздо меньше хлопот, чем местные власти. Последние сначала попытались ограничить меня в моих передвижениях. Однако я отправился к Малту, тирскому наместнику, и в недвусмысленных выражениях дал ему понять, что, каково бы ни было его ко мне отношение, все касающиеся этого подробности будут неукоснительно изложены в моем официальном отчете Сенату. После этого какое бы то ни было вмешательство в мои дела совершенно прекратилось.

У евреев, с другой стороны, имеются весьма четкие правила поведения по отношению к иностранцам, и, хотя большинство из них лишь отдаленно слышало о Риме и едва ли когда-нибудь видело римского гражданина, я был принят с величайшим гостеприимством, и никто не пытался воспрепятствовать мне посещать в пределах их небольшой общины любые места, даже помещения, где они молятся, — так называемые “синагоги”. Это меня чрезвычайно поразило тем более, что в первые же часы пребывания в Тире я заметил, что другие жители города относятся к евреям с ненавистью, подозрительностью и презрением. Ненависть эта присуща отнюдь не одним лишь жителям Тира: я сталкивался с нею в продолжение всего своего путешествия в Иудею. Даже рабы, находящиеся в Сирии в неопишимо жалком состоянии, всегда находят время и повод, чтобы выразить свою ненависть к евреям.

Столь устойчивые проявления вражды сильно меня заинтересовали, и мне кажется, что я обнаружил много факторов, питающих эту вражду. Некоторые из этих факторов я перечислю и постараюсь объяснить ниже.

О евреях Тира я не буду много говорить, ибо мне представляется более полезным описать, каковы были мои первые впечатления о евреях, живущих в своей родной стране — в Иудее. Однако я должен упомянуть, что тирские евреи решительно во всем ведут себя иначе, чем другие жители города, они даже не едят ту пищу и не пьют то вино, что все другие. И имеется еще нечто такое, что свойственно и жителям Иудеи, но особенно заметно в нееврейской земле, — это яростная и непреклонная гордость и сознание собственного превосходства, которые каким-то странным образом сочетаются с невероятным смирением — свойством, одновременно привлекающим и отталкивающим, так что с самого начала, невзирая на все радушие евреев, мне приходилось сдерживаться, чтобы не выразить своей неприязни.

Среди них я нашел и нанял себе в проводники старика, некоего Аарона бен Леви или по-нашему Аарона сына Леви. Нужно отметить, что у этих людей нет фамилий, однако скромнейшие из них подробно и точно прослеживают свою генеалогию до пятого, или десятого, или даже пятнадцатого колена. То, что евреи — народ весьма древний, никто не может отрицать. Очень вероятно, что они — самый древний народ в этой части мира, и они отчетливо ощущают свою связь с прошлым, что вызывает удивление и в то же время раздражает.

Этот Аарон бен Леви оказался совершенно неоценимым как в качестве проводника, так и в получении полезных сведений. Он всю свою жизнь был погонщиком верблюдов и караванщиком, за исключением нескольких лет, когда он сражался под знаменами Маккавея. И он не только досконально знал каждую дорогу и каждую тропинку в Палестине, но также был чрезвычайно полезен своими рассказами о еврейских войнах. Я приобрел лошадь и седло за семнадцать шекелей (каковую стоимость я включил в общую пла-

тежную ведомость, наряду со стоимостью осла, купленного для старика), и мы двинулись по большому прибрежному тракту на юг, в Иудею.

Я должен сказать несколько слов об этом моем погонщике верблюдов, поскольку многие его черты типичны для евреев, и знание их особенностей может оказаться важным при оценке возможностей этого народа и той несомненной угрозы, какую он может собою представлять. Аарону бен Леви было далеко за шестьдесят, но он был сухой, крепкий и весь коричневый, как орех. У него большой тонкий нос, блестящие и надменные серые глаза, и он сохранил большую часть зубов. В отличие от большинства евреев, которые довольно высокого роста — выше других народов, обитающих в этих краях, и даже римлян, — Аарон бен Леви был невысок и сгорблен, но держался он возмутительно гордо. Несмотря на то, что до поступления ко мне на службу он более года был без работы и почти нищенствовал, живя за счет подаяний своей общины, он вел себя так, словно, принимая от меня деньги, он оказывал мне великую честь. Хотя ни словом и ни взглядом он меня не оскорблял, в каждой его фразе и в каждом движении каким-то образом чувствовалось снисходительное презрение ко мне, достаточно ясно показывающее, что я полное ничтожество, которое он себе объясняет случайностью моего рождения и, следовательно, я в этом не совсем виноват.

Я сознаю, сколь необычно такое впечатление для гражданина Рима и легата, посланного Сенатом. Однако эти черты так характерны для этого народа — правда, разным людям в разной степени, — что я считал необходимым об этом рассказать.

Сначала я твердо намеревался указать своему проводнику его место и обращаться с ним так, как и надлежит обращаться со слугою, однако вскоре я понял, что это мне не удастся, и мне стал яснее смысл изречения, распространенного в этих краях: "Сделай еврея рабом — и вскоре он станет твоим господином". Сенат знает, что я в таких делах имею некоторый опыт: будучи центурионом, я научился руководить людьми и добиваться к себе должного уважения, однако на

евреев обычные способы не действуют. Этот Аарон бен Леви не упускал случая по любому поводу давать мне советы, и давал он эти советы покровительственным и не терпящим возражения тоном; и он постоянно философствовал, черпая эту несколько утомительную, одновременно гордую и смиренную, еврейскую философию в истории своего народа и в своей варварской, довольно отталкивающей вере, которая изложена в так называемых "священных свитках" или, на их языке, Торе. К примеру: я спросил его однажды, зачем он, подобно всем его соплеменникам, отягощает себя длинным шерстяным плащом с черными и белыми полосами, ниспадающим с головы до пят. Он же ответил мне вопросом:

— А зачем, римлянин, ты носишь эту металлическую кирасу, которая накаляется на солнце и, наверно, обжигает тебе кожу?

— К твоему плащу это не имеет никакого отношения, — сказал я.

— Напротив, — возразил он, — к моему плащу это имеет прямое отношение.

— Какое же?

Он вздохнул и ответил:

— Излишний вес противен Господу, полезная же тяжесть радостна Ему.

— Так какое же все-таки это имеет отношение к моему вопросу?

— Прямое или никакое, как ты сам того пожелаешь, — сказал он грустно.

И больше я ничего не мог из него выжать. Я мог убить его, мог его уволить, но ни то, ни другое не способствовало бы моей цели, каковая заключалась в том, чтобы достичь Иудеи и начать переговоры с Маккавеем. Поэтому я подавил свой гнев и замкнулся в молчании, что часто приходится делать, когда общаешься с этими людьми.

А в другой раз я спросил его о Маккавее, о первом Маккавее, по имени Иегуда, сыне Мататьягу, — он был убит в первые годы их войн против греков.

— Что он был за человек? — спросил я.

И этот старый, жалкий, нищий погонщик верблю-

дов поглядел на меня снисходительно и сочувственно и сказал:

— Ты не поймешь, даже если бы я рассказал тебе о нем в мельчайших подробностях.

— Но все-таки попытайся.

— Жизнь коротка, а смерть вечна, — улыбнулся он. — Стоит ли пытаться делать то, что обречено на неудачу?

Именно тогда я впервые употребил выражение, которое рано или поздно в той или иной форме срывается с губ любого, кто имеет дело с этим народом, и назвал его грязным евреем.

Однако мои слова произвели совсем не то впечатление, какого я ожидал. Старик выпрямился, в глазах его блеснули такой гнев и такая ненависть, какой я еще не видел, и он сказал очень тихо:

— Господь Бог един, римлянин, а я — старик. Но при Маккавее я руководил двадцаткой, и у меня есть нож, а у тебя есть меч, и раз уж я не могу рассказать тебе, каким был Маккавей, давай посмотрим, что за человек тот, кто сражался под его рукой.

Я уладил дело миром, ибо я не считал, что Риму послужит на пользу, если я убью старого и дряхлого погонщика веплюдов. Но это было мне уроком: я понял, что это за люди и как следует с ними обращаться. Различие между нами и ими безгранично, и то, что мы почитаем священным, для них нечестиво, а то, что для нас приятно, для них омерзительно. Все, к чему мы стремимся, им ненавистно, и насколько мы терпимы к обычаям и богам других народов, настолько евреи яростно нетерпимы. И подобно тому, как им ненавистно то, чем мы наслаждаемся, они поносят наших богов и богов всех других народов. Как нет у них нравственности, так нет у них и богов, ибо поклоняются они чему-то не существующему, и в их синагогах, и в их святом храме в Иерусалиме нет никаких изображений. Их Бог — если то, чему они поклоняются, можно назвать Богом, — их Бог обитает неведомо где, и даже Его написанное имя запрещено произносить вслух любому жителю этой страны. Его зовут Ягве, но это имя не произносится даже шепотом. Вме-

сто того евреи называют эту таинственную личность “Адонай“, что означает “Господь мой“, или “Мелех Хаолам“, что означает “Царь всех земель“, или еще как-нибудь в таком же роде, на добрый десяток ладов.

И в корне всех их верований лежит нечто, что они называют “брит“: это можно приблизительно перевести как “договор“, или “соглашение“, или “союз“ между ними и их Ягве. В известном смысле они поклоняются больше этому договору, чем самому Богу, и этот договор скрепляется семьюдесятью семью правилами, которые в совокупности они называют Законом, хотя это отнюдь не судебный закон, как мы его понимаем, но скорее основа, на которой зиждется этот самый брит. Многие из этих правил ужасны и отвратительны, как, например, закон об обязательном обрезании всех младенцев мужского пола, другие же бессмысленны — такие, как запрещение работать в седьмой день, оставление полей под паром на седьмой год, или же освобождение рабов после семи лет невольничества. А есть еще правила, которые возводят в культ умывание, так что они вечно моются; им также запрещено бриться, и у всех мужчин длинные волосы и коротко стриженные бороды.

Все это узнал я не сразу — так же, как и другие подобные вещи, которых я коснусь дальше в своем отчете, но мне представляется важным упомянуть обо всем этом здесь в связи с рассказом о погонщике верблюдов и его поведении, ибо, как я уже указывал, его поведение есть не что иное, как гиперболическое отражение нравов и обычаев народа, с которым я собирался общаться. Я могу также добавить, что одет он был так, как обычно одеваются мужчины в Иудее: сандалии, белые полотняные штаны, короткая куртка, кушак, а поверх — длинный, тяжелый шерстяной плащ, которым евреи покрывают головы, когда входят в синагогу или в храм. Нагота вызывает у евреев отвращение, хотя они достаточно хорошо сложены, их мужчины обладают большой физической силой, а женщины чрезвычайно привлекательны. Эти женщины, в отличие от наших, принимают деятельное участие в жизни своих общин; к мужчинам они не выказы-

вают никакого особого почтения или покорности, они еще более надменны, чем мужчины. Одежда женщин состоит из длинного платья почти до щиколотки с короткими рукавами, перехваченного ярким шнуром. Подобно мужчинам, они часто носят длинные шерстяные плащи, но не полосатые, и их длинные волосы обычно сплетены в две тугие косы.

Я вхожу в такие подробности по двум причинам: во-первых, потому что данный документ, будучи первым официальным отчетом Сенату касательно евреев, имеет особое значение как в смысле деталей, так и в обобщениях и, во-вторых, потому что я рассматриваю евреев как весьма серьезный фактор, с которым Риму, без сомнения, еще придется столкнуться. По этой самой причине я постараюсь быть как можно объективнее и преодолеть глубокую неприязнь к этим людям, которая во мне постепенно укоренилась.

Путешествие от Тира до Иудеи было спокойным, ибо вся прибрежная дорога находится в железных руках этнарха Шимьона, а он не терпит никакого разбоя или бесчинства. В Саронской равнине, напротив города Аполлонии, нас повстречал первый еврейский военный патруль. Он состоял из десяти пеших солдат — они обычно передвигаются пешком, ибо страна их очень невелика и вся покрыта горами, — и вооружение этого патруля было характерно для еврейских воинов. Их солдаты — в отличие от всех солдат в цивилизованном мире — это не профессиональные воины и не наемники, но всего лишь добровольцы из крестьян. Доспехов они не носят и объясняют это, как и многое другое, двояко: во-первых, говорят они, было бы оскорблением для их Ягве полагаться на бездушный металл вместо того, чтобы уповать, как они выражаются в своей обычной противоречивой манере, на несказанную милость Божью, а во-вторых, по их мнению, тяжелые доспехи затрудняют передвижение в горах, а это перевешивает те преимущества, которые доспехи дают воину.

Вместо мечей у евреев длинные, тяжелые, слегка искривленные ножи, которыми они чрезвычайно умело пользуются в рукопашном бою. Командиры же носят

длинные греческие мечи: эти мечи символизируют их победу над греками и в то же время являются данью памяти первого Маккавея, Иегуды бен Мататьягу, который с самого начала сражался только мечом. Однако главное их оружие — это еврейский лук, небольшое, но грозное оружие, сделанное из бараньего рога. Они как-то размягчают этот рог — способ размягчения держится в секрете, — после чего его разрезают на тонкие полоски, которые склеивают друг с другом, чтобы получить нужную форму. Их стрелы из кедра длиной примерно в один локоть очень тонки и с острым железным наконечником. В бою они выпускают тысячи таких стрел одну за другой с такой быстротой, что стрелы падают, словно дождь; в узких теснинах Иудеи против подобного нападения нет решительно никакой защиты.

Войска евреев разделяются на десятки, двадцатки, сотни и тысячи, но не заметно никакого различия в положении командиров всех этих формирований, ибо каждый командир, сколько бы ни было людей под его началом, называется одним и тем же словом — шалиш.\* Нет у них также и военной дисциплины в римском понимании. Каждая предстоящая военная операция обсуждается всеми людьми, и они не предпринимают ни оборонительных, ни наступательных действий, не получив одобрения всех воинов. Каждый, кто не соглашается с той или иной тактикой, может покинуть армию и отправиться к себе домой, и впечатление таково, что подобный поступок особенно не порицается. Кажется невероятным, что в таких условиях можно вести какие бы то ни было военные действия, и, однако же, известно, что совсем недавно кончилась жестокая война, которую они вели двадцать семь лет.

Несмотря на то обстоятельство, что все их способы ведения войны имеют на первый взгляд столь мало связи с военным искусством и что сами евреи буквально поклоняются миру, тем не менее Сенату отнюдь не следует недооценивать этих людей, ибо, как станет ясно из дальнейшего, во всем свете нет народа

---

\* Шалиш — адъютант (иврит).

столь опасного и столь обманчивого, как эти самые евреи.

Патруль остановил нас и допросил. Он не проявил ни малейшей враждебности, и, однако же, мой проводник Аарон бен Леви воспринял самый факт, что нас остановили, как личное оскорбление. Когда солдаты задали вопрос, куда мы направляемся, он ответил:

— Или я раб, что не могу идти, куда хочу?

— Вместе с нохри? — спросили они (этим словом они называют всех неевреев).

— Хоть с десятком нохри, молокосос ты этакий! Да ты еще пешком под стол ходил, когда я уже сражался под началом Маккавея!

И так продолжалась эта перепалка, со всеми многочисленными оскорблениями, от которых евреи не могут удержаться, даже когда разговаривают друг с другом. Наконец все было улажено, и патруль сопровождал нас до границы Иудеи. И в продолжение всего пути солдаты забрасывали меня вопросами про Рим, причем вопросы были так хитроумно сформулированы, что в каждом из них подразумевалось их превосходство над римлянами.

Сама земля Иудеи выше всяких похвал. Когда из финикийских низин вступаешь в эту страну, то словно попадаешь из пустыни в цветущий сад. По склонам холмов поднимаются вверх террасы, точно волшебные висячие сады. Даже на севере — в наименее освоенной части страны — земля хорошо ухожена и вся цветет. В стране есть только один город — Иерусалим. Большинство населения Иудеи живет в небольших деревнях, которые расположены в глубине долин или лепятся на склонах холмов, и в каждой деревне обычно бывает от двадцати до ста семей. Дома обычно располагаются в два ряда по обе стороны от единственной улицы, они строятся из глиняных кирпичей, обожженных на солнце, потом стены снаружи покрываются известкой, и в этом мягком, умеренном климате кирпич не разрушается в течение многих поколений. Очень часто в деревне есть одно каменное здание, нечто вроде дома собраний, называемое синагогой, оно служит одновременно и школой, и местом

богослужений. Чуть ли не больше всего на свете эти люди уважают грамотность, и я ни разу не встречал еврея, который не умел бы читать и писать. Весьма вероятно, что в этом — одна из причин их высокомерия, и это, несомненно, источник презрения, с которым они относятся ко всем другим народам, среди которых столь мало грамотных.

Везде в Иудее можно видеть оливковые рощи, и во многих местах на горах встречаются тщательно сохраняемые леса, в которых растет кедр и сосна. Террасы строились на протяжении тысячелетий, и они наполнены плодородной почвой, принесенной в корзинах снизу, из долин, где тучный перегной лежит на глубине до сорока и пятидесяти ступней. Повсюду на холмах выстроены водоемы с каменными желобами для сбора дождевой воды. Вызывает изумление тот огромный изнурительный труд, который потребовался, чтобы сделать этот горный район пригодным для жизни. Изумление это еще возрастает, когда узнаешь, что в этой стране меньше рабов, чем в любой другой стране мира. В то время как, согласно нашей последней переписи, в Риме насчитывается в среднем по двадцать три раба на каждого свободного гражданина, здесь, в Иудее, пропорция обратная, и один раб приходится на двадцать или тридцать свободных граждан. Это уже, само по себе, представляет собою опасность, которой не следует пренебрегать, ибо эти люди освобождают своих рабов после семи лет службы, а ударить раба или держать его в невежестве считается преступлением. Если принять во внимание, что свободное рабовладение есть основа основ западной цивилизации и краеугольный камень, на котором в безопасности и благоденствии зиждется Римская республика, то становится очевидным, что общественный порядок, существующий у евреев, это отнюдь не частная неприятная особенность данной местности, но вопрос большой важности и для нас.

Мы направились вглубь страны по довольно плохой дороге (ни одна из их дорог не сравнится с нашими) вдоль приятного ручейка, сбегającego с гор, и пришли в деревню, называемую Модиин. Эта

деревня меня особенно интересовала, ибо в ней был наследственный дом Маккавеев, и в течение всего времени, что продолжалось их восстание, здесь располагался сборный пункт их армии. Модиин сделался для евреев предметом особого почитания: мой проводник произносил это название почти со священным трепетом, и всякий человек, родившийся в Модиине — а таких осталось немного, ибо большинство их погибло в войнах, — имеет право на звание адона: так называют человека, который в том или ином селении пользуется наибольшим уважением и доверием. Когда мы прибыли в Модиин, Аарон бен Леви отправился в синагогу молиться, я же около часа один осматривал деревню. Если не считать того, что это необыкновенно чистая, красивая и хоженная деревня, и притом чрезвычайно удачно и живописно расположенная у подножия холмов, я не могу сказать, что она слишком отличается от бесчисленных других деревень Иудеи. Крестьяне казались здоровыми и бодрыми и производили очень приятное впечатление. Иудея — страна виноградников, а Модиин лежит в самом центре винодельческого района. И мне постоянно предлагали бокал местного вина, коим модиинцы очень гордятся. Вино здесь пьют как воду, но при этом за все то время, что я провел в Иудее, не видел я ни одного пьяного. У евреев огромное количество самых разнообразных вин, белых и красных, и эти люди — большие знатоки в этой области. Вкушение вина, равно как и множество других вещей, они обставляют бесконечными церемониями и сопровождают молитвами; и им крайне льстило, когда я высоко отзывался о качестве предложенного мне напитка.

Из Модиина мы продолжали наш путь в Иерусалим сквозь густонаселенные области, находившиеся в самом центре страны. Путь от Модиина до Иерусалима мы проделали за один день, и по дороге я насчитал двадцать одну деревню. Каждый клочок земли возделан, каждый склон опоясан террасами. Закрома полны зерна, овцы и козы бродят по сжатым полям, над каждой дверью сушатся куски сыра, и каменные чаны до краев наполнены оливковым маслом. Хлеб

они пекут сообща, и во многих деревнях уже у околицы нас встречал аромат свежее испеченного хлеба. Излюбленная и самая распространенная в этих краях мясная еда — курятина, и потому куры встречаются повсюду: на дорогах, в полях, во дворах и в домах, ибо евреи редко запирают двери, и такой бич Рима, как воровство, здесь практически совершенно неизвестен. Дети, которых в Иудее, сдается мне, превеликое множество, — как на подбор розовощекие, круглолицые и довольные. И вообще, вся эта земля, управляемая этнархом Шимъоном, оставляет впечатление такого довольства, достатка и здоровья, какого я не встречал нигде, а я путешествовал по многим странам и видел не менее сотни больших городов. Наведома в этом краю и такая напасть, терзающая Рим, как подонки из числа свободных людей, не желающие работать и вымогающие средства к существованию у более достойных граждан. Дело в том, что различия в состоянии и общественном положении, которые у евреев были довольно значительными к началу войн, впоследствии почти совершенно исчезли, ибо весь народ страдал одинаково. Самые богатые приняли сторону захватчиков и были затем либо убиты, либо изгнаны, и во время войн погибло столько народу, что в конце концов стало не хватать людей, а не земли.

Я перечисляю все добродетели этого народа для полноты картины. Однако я должен добавить, что невозможно любить евреев за те качества, которые восхищают нас в других народах, ибо евреи слишком гордятся своими достижениями. Они ничто не воспринимают как само собой разумеющееся — ни радушие, ни хорошие манеры, ни добродетель, — но постоянно подчеркивают, что им присущи эти свойства лишь потому, что они евреи. Они ненавидят войну и боготворят мир, однако они никогда не дают вам забыть, какой ценой они достигли мира. Еврейская семья крепка как скала, они это отлично сознают и поэтому презирают нохри, у которых недостаточна семейная привязанность. Они ненавидят власть и тех, у кого она в руках, они поносят всех богов, кроме своего, и презирают всякую иную культуру, кроме своей. Так что,

даже восхищаясь тем, что видишь у них, трудно удержаться от жгучей ненависти к ним. И при этом они почти не обладают той деликатностью и любезностью, которые столь свойственны цивилизованному человеку.

Мы достигли Иерусалима к вечеру. Это красивый и величественный город, в центре которого находится святыня всех евреев — их храм. Этот храм, со всеми подсобными постройками, дворами и окружающими его стенами, столь же массивными, как и городские стены, занимает чуть ли не половину города. Красоту Иерусалиму придают не его размеры и не великолепие архитектуры, но скорее его удачное расположение и своеобразие. Явственно ощущается, что евреи относятся к Иерусалиму с фанатичной любовью. Мы вместе с проводником приблизились к городу на закате, когда все стены, все здания и храм купались в розоватом отсвете заходящего солнца. Мы проследовали через ворота, и уже в воротах мы услышали звучные, низкие голоса жрецов и левитов, которые пели во дворе храма. Несмотря на все свои предыдущие ощущения, несмотря на свою неприязнь к этому народу, уже укоренившуюся во мне, на меня произвела глубокое впечатление красота музыки и то необыкновенное умиротворение, которое овладело окружающими меня людьми, когда они услышали пение. Эти люди стали вдруг столь просты и по-детски непосредственны по отношению друг к другу и ко мне, что я был тронут и спросил Аарона бен Леви, в чем тут причина. Он ответил загадочно:

— Рабами были мы в Египте...

В тот день я впервые услышал эту фразу, которая у евреев всегда на уме, а позднее я подробнее расспросил от этом Шимьона Маккавея.

Когда мы вошли в город, несколько солдат, которые стояли на часах у ворот, но вели себя при этом весьма непринужденно и совсем не по-военному, взяли нас сопровождать, однако, пока мы поднимались по городским улицам к храму, они несколько нам не докучали. Уже стемнело, пение в храме прекратилось, и через окна домов было видно, как семьи садятся ужинать. Улицы были свежесмощенные, чистые и

большинство домов, тоже недавно построенных, были из камня или глиняных кирпичей, покрытых известкой. В сравнении с нашими западными городами, Иерусалим поражает своей чистотой. Однако, если не считать храма, это скорее скопление деревень, чем то, что мы привыкли называть городом. Жители живут тут одной большой общиной, никогда не запирают дверей и все сообща делят радость и горе каждого из них.

Достигнув внешних ворот храма, мы вынуждены были остановиться, а еще раньше, локтей за полтора-ста от храма, мы оставили на привязи коня и осла.

Остановили нас храмовые служки — так называемые левиты, одетые в белые одеяния; эти левиты гордятся тем, что они происходят от древнего колена Леви. Эти люди почтительно, но твердо заградили нам путь и, не обращая никакого внимания на меня, сообщили моему проводнику, что чужеземцу дальше идти не положено.

— Само собой, — кивнул Аарон бен Леви с характерной для него мерзкой манерой скрытого презрения, — коль скоро он римлянин. Но этот человек — посол, он явился сюда для того, чтобы говорить с Маккавеем. Где же еще им встретиться?

Тогда нас повели во дворец Шимъона; в нашей стране едва ли кто-нибудь назвал бы это здание дворцом. Это чистый, просторный, каменный дом, недавно построенный на склоне холма недалеко от храма и отделенный от храма глубоким оврагом. Дом обставлен скромной кедровой мебелью, и комнаты отделены одна от другой ярко раскрашенными, тяжелыми шерстяными занавесями. Нас встретила красивая женщина средних лет — жена этнарха. Черноглазая, черноволосая, в моем присутствии очень сдержанная, она нисколько не похожа на типичную еврейскую женщину; лишь позднее, прочитав рукопись, которую я прилагаю к этому отчету, я понял, каковы ее отношения с супругом, ибо, хотя Шимъон и его жена выказывают друг другу величайшее уважение, в отношениях между ними явно не ощущается большой любви. У этнарха четверо сыновей — это высокие, хорошо сложенные юноши;

и живут они все очень просто, почти аскетически. Дочь этнарха вышла замуж несколько лет назад.

Один из сыновей этнарха по имени Иегуда, привел меня в мои комнаты, и вскоре после этого раб принес миску с горячей, солоноватой водой. Я умылся и с удовольствием лег отдохнуть, и пока я лежал, мне принесли и поставили на низкий столик рядом с ложем вино и свежие фрукты. Затем примерно на час меня оставили в покое, и я хорошо отдохнул.

Я рассказываю об этом так подробно, чтобы еще раз отметить, как странно переплетаются у этих людей достоинства и недостатки. Едва ли возможно, чтобы чужестранец, попавший в Рим, или Александрию, или Антиохию, смог так легко добиться аудиенции у первого гражданина государства, или чтобы его встретили столь радушно и приветливо. Никто не спросил меня, что я здесь собираюсь делать и для чего мне нужен Маккавей, и даже имени моего не спросили. Никто не поинтересовался, есть ли у меня какие-нибудь верительные грамоты, официальные бумаги, пропуска или поручительства. Меня просто приняли как усталого иноземца и обращались со мною так, как их Закон велит обращаться со всеми иноземцами.

Через час появился сам этнарх Шимъон. Тогда я впервые увидел этого легендарного человека, единственного оставшегося в живых из пяти братьев Маккавеев, Шимъона бен Мататьягу. Поскольку совершенно несомненно, что любые действия Сената по отношению к Иудее будут предприниматься через этнарха, я постараюсь описать его внешность и характер.

Это человек очень высокого роста, весьма пропорционального сложения, необыкновенной физической силы и выносливости. Ему, по-видимому, около шестидесяти лет. Он почти лыс, остатки волос на голове и борода рыжеватые, что характерно для всех членов его семьи, а также для многих так называемых "каханов", которые являются ветвью колена Леви. У этнарха крупные, резкие черты лица, большой нос с горбинкой, напоминающий клюв орла, пронизательные голубые глаза

под густыми бровями, большой рот и толстые губы. Борода у него с сильной проседью, и в отличие от большинства евреев, которые свои бороды довольно коротко постригают, он дает ей естественно расти, и она веером падает ему на грудь, что придает ему, как это ни странно, еще более достойный и величественный вид. Обращают на себя внимание и его руки — большие и красивые. Он очень широк в плечах. Я могу сказать, что в целом это один из самых замечательных и ярких людей, с какими мне когда-либо приходилось встречаться, и достаточно его увидеть, чтобы понять, почему все евреи относятся к нему с невероятной преданностью и безграничным уважением.

Когда я впервые увидел его в тот вечер, он был одет в просторную белую хламиду и сандалии, и на голове у него была маленькая синяя шапочка. Никто не возвестил о его приходе, и никто его не сопровождал. Он просто отвел в сторону шерстяную занавесь, которая отделяла мою спальню от остальных комнат, и вошел — несколько смущенно и неуверенно, как будто, мешая мне отдыхать, он совершал непростительный грех. Увидев его в тот момент, я должен был немедленно, принимая во внимание политическую роль этого человека и его внешность, решить, как я себя поведу по отношению к нему, дабы наилучшим образом выполнить возложенную на меня миссию в интересах великого Рима. Вообще-то эти люди имеют о Риме чрезвычайно смутное представление. Если в Сирии или в Египте достаточно лишь упомянуть о высоком Сенате, чтобы сразу же добиться величайшей почтительности и безусловного повиновения, то в Иудее этот способ совершенно не действует. Кроме того, я явился один, без слуг и охраны; таково было мое желание, и я всецело убежден, что ничто так не поднимает престиж великого Рима в глазах других народов, как то, что его легаты путешествуют из одной земли в другую, находясь под защитой не солдат с копьями, но длинной могущественной и неумолимой руки высокого Сената. В данном случае я должен был дать это понять человеку, который не имеет о таких вещах ни малейшего представления; я и действовал,

исходя из этих обстоятельств: поднялся навстречу этому влиятельному человеку и приветствовал его холодно и сухо.

Я сообщил ему, что Сенат направил меня в Иудею, дав мне поручение встретиться с Маккавеем и протянуть ему руку, которая представляет руку Рима и самого Сената, если он, Маккавей, протянет свою. Я не был любезен, и в голосе моем звучала властность, я намекнул этнарху, что Карфаген, Греция и некоторые другие государства пришли к пониманию того, что мир с Римом лучше, чем война.

Без сомнения, именно так и следовало начинать беседу с этим человеком, но должен признаться со всей откровенностью, что мое сдержанное обращение, казалось, вовсе его не смутило. Он интересовался больше тем, как со мною обращались во время моего путешествия по Иудее, чем взаимоотношениями между нашими двумя странами. И когда я упомянул о наглом поведении моего проводника — погонщика верблюдов, этнарх улыбнулся и кивнул головой.

— Я знаю этого человека, Аарона бен Леви, — сказал он. — У него длинный язык. Надеюсь, ты простишь его: он старик, и его прошлое гораздо более славное, чем настоящее. В свое время он был замечательным лучником.

— И при всем этом ты награждаешь его бедностью и безвестностью, — заметил я.

Маккавей поднял брови, как-будто я сказал что-то совершенно невразумительное, а он слишком вежлив, чтобы намекнуть мне, что я несу чушь.

— Я награждаю его? А почему я должен его награждать?

— Потому что он был замечательным воином.

— Ну, и что же? Почему я должен его награждать? Он не за меня сражался. Он сражался за договор с Богом, за Иудею, как сражались все евреи. Почему нужно выделять его среди других?

Но к этому времени я уже привык, что, разговаривая с евреями о чем бы то ни было, очень часто заходишь в тупик, в котором собеседники не могут друг друга понять, и поэтому спорить дальше бессмысленно.

но. Кроме того, я очень устал, и, заметив это, Маккавей пожелал мне спокойной ночи и пригласил меня на следующий день посетить его в судебной палате и посмотреть, как он судит народ, ибо тогда, сказал он, я смогу лучше и быстрее понять обычаи и проблемы его страны.

Здесь, мне кажется, уместно сделать отступление и сказать несколько слов о звании и положении этого Шимьона бен Мататьягу, ибо тогда станет понятнее эпизод, который произошел на следующий день в судебной палате. Не могу ручаться, что я абсолютно во всем разобрался, ибо в политических и личных взаимоотношениях этих людей есть нечто, совершенно чуждое нашему образу жизни и образу мышления. Изложу некоторые стороны дела.

Шимьона бен Мататьягу называют Маккавеем; это означает, что он унаследовал странный и малоизвестный титул, которого прежде удостоился его младший брат Иегуда, а теперь этот титул носят все члены этой семьи, так что покойный отец этнарха, которого звали Мататьягу, и его пять сыновей — все известны под именем Маккавеев. Что именно это слово означает, — довольно неясно, хотя сам Шимьон утверждает, что это звание даруется вождю, который вышел из народа и остается верен народу: то-есть, верен с точки зрения евреев — людей, питающих отвращение к порядку и презирающих власть. Однако же другие евреи, которых я об этом спрашивал, объясняют это иначе. Таким образом, у этого слова столько различных объяснений, что оно вообще почти теряет всякий смысл. Все это, однако, далеко не означает, что титул Маккавея не вызывает уважения. Существует только один Маккавей, и это — этнарх Шимьон. При этом последний нищий на улице может остановить его, спорить с ним и говорить с ним, как равный. Я видел такое собственными глазами и могу лично засвидетельствовать. В этой стране, где все умеют читать, пустословить и философствовать, не может выделиться какой-то высший, более образованный класс населения, — такой, как патриции в Риме. Но эта непонятная и назойливая еврейская демократия столь последовательна

и заразительна, что ее можно сравнить с болезнью, от которой решительно никто не может считать себя огражденным.

Что же касается правительства, возглавляемого Шимъоном, то функция его и роль настолько расплывчаты, что его, можно сказать, просто не существует. Шимъон вроде бы воплощает верховную власть в Иудее, ибо все спорные вопросы как значительные, так и пустяковые, предлагаются его вниманию, и он выносит окончательное суждение. Однако он отвечает за свои действия перед Советом старейшин — адонов и законоучителей, как они называются, — и эти адоны и учителя составляют Великое Собрание. В отличие от ваших высоких особ, это Собрание не может издавать законов, ибо Законом считается договор между людьми и Ягве, и точно так же это Собрание не имеет права объявлять войну. Для того, чтобы решить, объявлять войну или нет, созывается сборище в несколько тысяч человек, и они решают этот вопрос. Как ни нелеп такой способ ведения дел, евреи к нему нередко прибегают.

На следующий день Шимъон творил суд, я же молча сидел в углу судебной палаты, не вмешиваясь, но внимательно наблюдая за тем, что происходит. Как я понимаю, это входит в мои обязанности легата, ибо для того, чтобы дать верное описание жизни того или иного народа, необходимое Сенату для принятия соответствующих решений, следует учесть множество противоречивых факторов, особенно когда имеешь дело с таким хитрым и загадочным народом, как эти евреи. Во время суда произошел один случай — настолько интересный, что стоит о нем рассказать. Перед Маккавеем предстал какой-то дубильщик, который привел с собою бедуинского мальчика, бездомного побродяжку из варварского племени, каких изрядное количество кочует в южных пустынях. Этот мальчик пять раз убегал от своего хозяина, и каждый раз дубильщик возвращал свою законную собственность, нередко входя для этого в значительные расходы. Вполне естественно, что он понес изрядный ущерб. Однако закон запрещает ему сделать то, что в Риме было бы совершенно

естественным делом, призванным защитить общественное благо, то-есть содрать с мальчика кожу и повесить ее в людном месте в назидание и предупреждение другой живой собственности.

Вместо этого, дубильщик пришел к этнарху и попросил позволения заклеить мальчика, чтобы даже тогда, когда период его невольничества закончится, он всю жизнь носил клеймо раба. По-моему, это было очень скромное и более чем справедливое требование, и я полагал, что Шимъон без околичностей удовлетворит его. Однако принять столь простое решение Маккавей оказался неспособен, напротив, он унизил свое достоинство, вступив в беседу с рабом, которого он спросил, почему тот убегает от дубильщика.

— Я хочу быть свободным, — ответил мальчик.

Маккавей некоторое время сидел, размышлял, как будто в этих простых словах содержался какой-то глубокий и таинственный смысл. А затем этнарх объявил свой приговор, и при этом в низком, грудном голосе старика была такая глубокая, затаенная печаль, какую я едва ли когда-нибудь слышал в человеческом голосе. Я записал слова, которые он произнес:

— Он получит свободу через два года, именно так, как гласит Закон. И не смей клеймить его.

На это дубильщик, рассердившись, спросил тем развязным тоном, каким евреи осмеливаются обращаться к любому человеку, независимо от его происхождения и положения:

— А как же деньги, которые я уплатил караванщикам?

— Пусть это будет плата за твою собственную свободу, дубильщик, — холодно сказал Маккавей.

Дубильщик попытался было возражать и назвал Маккавея по имени, Шимъоном бен Мататьягу, но Шимъон неожиданно вскочил, протянул руку, схватил дубильщика за плечо и заорал:

— Я рассудил тебя, дубильщик! И давно ли ты сам спал в паршивом шалаше из козьих шкур? Короткая же у тебя память! Разве свободу можно надеть или сбросить, как платье?

Это был единственный раз, когда этнарх при мне

вышел из себя, единственный раз, когда я увидел, как прорвалась наружу глубокая, разъедающая его душу горечь, но этот случай помог мне понять, что он на самом деле за человек — этот Шимъон бен Мататьягу.

А вечером мы вместе отужинали, и, беседуя за столом, я не мог не улыбнуться, вспомнив про забавное и достойное первобытных людей происшествие, которому я оказался свидетелем.

— Ты находишь это забавным? — спросил меня Маккавей.

Его что-то томило, и я, чтобы отвлечь его, поболтал с ним о том о сем и задал ему несколько вопросов о рабстве и о некоторых особенностях их необычной религии. Когда он немного рассеялся и оживился, и мы остались вдвоем — сыновья его отправились спать, а жена, у которой, по ее словам, разболелась голова, вышла на балкон подышать свежим воздухом, — я сказал этнарху:

— Что ты имел в виду, Шимъон Маккавей, когда сказал, что свободу нельзя надеть или сбросить, как платье?

В этот момент старик держал в руке гроздь чудесного, сладкого иудейского винограда. Услышав мой вопрос, он положил гроздь на стол и некоторое время пристально смотрел на меня, как будто я его разбудил.

— Почему ты об этом спрашиваешь? — сказал он наконец.

— Моя задача — спрашивать, узнавать, пытаться понять, Шимъон бен Мататьягу. В противном случае я не смогу служить Риму и самому себе.

— А что ты понимаешь под свободой, римлянин? — спросил Маккавей.

— Почему еврей на вопрос всегда отвечает вопросом?

— Может быть, потому, что у еврея, как и у тебя, есть свои сомнения, — ответил он, грустно улыбнувшись.

— У евреев нет сомнений. Сам же ты мне сказал, что еврей — избранный народ.

— Избранный? Да. Но избранный для чего? В наших священных свитках, которые ты, римлянин, несо-

мненно, презираешь, говорится: “И благословляться будут тобою все племена земные”.

Я не мог удержаться, чтобы не воскликнуть:

— Какое паразитальное, какое невероятное самомнение!

— Возможно. Ты спросил о свободе, римлянин. Но мы понимаем свободу несколько иначе, чем другие народы, ибо рабами были мы у фараона в Египте.

— Ты уже говорил об этом, — напомнил я ему. — У вас эта фраза — как заклинание. А может быть, это действительно заклинание? Или магические слова?

— У нас нет заклинаний и магических слов, — задумчиво ответил старик. — Я имел в виду именно то, что я сказал. Когда-то мы были рабами в Египте, давно, очень давно — как понимают время нохри, но прошлое живет в нас, мы его не уничтожаем. Мы были рабами и гнули спину от зари до зари, и нас сек хлыст надсмотрщика, и мы лепили кирпичи без соломы, и от нас отрывали наших детей, и мужа разлучали с женой, и весь народ рыдал и в отчаянии взывал к Господу. Так наш народ постепенно понял, что свобода — это великое благо, что она неотделима от самой жизни. Все имеет свою цену, но свобода покупается только кровью отважных.

— Это очень трогательно, — сказал я, по-видимому, довольно сухо, — но это не ответ на мой вопрос. Что, свобода — ваш Бог?

Шимъон покачал головой, и теперь он был такой, как все евреи — точно такой же, как мой высокомерный и презренный проводник: этот суровый вождь горной страны жалел меня, и это чувствовалось, несмотря на его терпение и вежливость.

— Все на свете — наш Бог, — пробормотал он, — ибо Бог един, и Он во всем, и Он незрим; не знаю, римлянин, как это лучше объяснить.

— А другие боги? — улыбнулся я.

— А разве есть другие боги, римлянин?

— А как по-твоему, еврей? — спросил я довольно оскорбительным тоном, чтобы уязвить его, ибо мне до смерти надоело его высокомерие под маской смирения.

— Мне известен лишь Бог Израиля, Бог моих

предков, Бог моего народа, — невозмутимо сказал Маккавей.

— Ты с Ним говорил?

— Нет, я с Ним никогда не говорил, — спокойно ответил старик.

— Видел Его?

— Нет.

— Знал людей, которые Его видели?

— Его видели горы и поля моей родной земли.

— Земли, по которой Он ходит?

— Он обитает и здесь, и повсюду, — улыбнулся старик.

— И ты уверен, что нет других богов?

— В этом я уверен, — сказал Маккавей.

— По-моему, — сказал я, — если бы вы проявили должное почтение к богам других народов, вы бы не упорствовали в этом слепом и безусловном отрицании — по крайней мере, из уважения к чувствам других людей.

— Истина есть истина, — сказал он смущенно.

— Неужели ты так хорошо знаешь истину, еврей? Неужели ты можешь разрешить все вопросы, сомнения, колебания? Разве Бог открыл вам истину, когда из всего огромного, безграничного и цивилизованного мира Он избрал именно вас — кучку горцев-крестьян?

Я ожидал, что он рассердится, но в его бледных, встревоженных глазах не было заметно ни малейшего признака гнева. Он долго смотрел на меня, вглядываясь мне в лицо, как будто хотел отыскать там нечто, что помогло бы ему побороть свое смущение. Затем он встал и промолвил:

— Извини меня, я очень устал.

И он оставил меня одного.

После его ухода я посидел некоторое время в одиночестве, а потом вышел на балкон — самое красивое место в этом доме: это была широкая, просторная веранда, где стояли мягкие ложа, и с нее открывался чудесный вид на грубокое и узкое ущелье. Внизу лежал город и иудейские холмы, и недостаток архитектурных красот возмещался живописным расположением города.

На балконе сидела жена этнарха. Заметив ее, я хотел было удалиться, но она обратилась ко мне:

— Не уходи, римлянин, если только беседа с этнархом не слишком утомила тебя.

— Здесь очень красиво. Но мне не следует быть здесь вдвоем с тобой.

— Почему? Разве в Риме это считается предосудительным?

— Совершенно предосудительным.

— Но у нас в Иудее другие нравы. Меня зовут Эстер, и во всяком случае, я старая женщина, так что садись, Лентулл Силан, никто ничего дурного не подумает. Расскажи мне немного о Риме, если только тебе не скучно развлекать старуху. Или, если хочешь, я расскажу тебе что-нибудь про Иудею...

— Или?

— Или про Шимьона Маккавея.

Я кивнул.

— Шимьон Маккавей... Может быть, я знаю о нем меньше, чем ты, римлянин; ведь он, как ты, наверно, уже понял, очень странный и своенравный человек, и, кроме его брата Иегуды, я не знаю, был ли в мире еще хоть один такой человек, как он. Его называют "железной рукой", но на самом деле в душе он совсем не железный...

Я молча сидел и ждал. К тому времени я уже достаточно знал евреев, чтобы понимать, что, отвечая, я рискую попасть впросак. То, что другим людям приятно, евреев обижает, а то, что других людей обижает, евреям приятно. Пока я нахожусь в Иудее, я — представитель Рима, а Рим всегда интересуется, всегда задает вопросы, всегда пытается понять. Этой женщине нужен был собеседник, она хотела говорить, и она получила странное удовлетворение от беседы с римлянином, поэтому я откинулся на ложе и слушал.

— Он мой муж, Лентулл Силан, и такого человека, как он, во всем Израиле не сыщешь. Разве это удивительно? Или наша земля такая крохотная, такая незначительная, такая дикая, что мои слова тебя только забавляют? Я знаю, тебя многое забавляет — а может быть, и нет, и твоя высокомерная, презрительная

улыбка — это всего лишь неотъемлемая принадлежность римского легата. А может быть, я к тебе несправедлива, и тебя действительно забавляют эти чудаковатые, неотесанные евреи. Зачем ты здесь? Для чего тебя сюда послали? Впрочем, неважно, не отвечай, я просто болтливая старуха. Так мы говорили о Шимьоне Маккавее? У него было четыре брата — ты знаешь, ведь всего было пять братьев Маккавеев; но эти четыре брата теперь мертвы, и у Шимьона внутри тоже что-то умерло. Он любил в жизни только своих братьев, а один из них был Иегуда. После смерти Иегуды он и женился на мне. Не потому, что он меня любил. О, я росла с ним вместе в Модиине, он с детства виделся со мной чуть ли не каждый день, — но любить меня он не мог, он вообще ни одну женщину любить не мог, даже ту, которую звали Рут и которая была первая красавица в Модиине. Но я утомила тебя своими пересудами, ты ведь хотел бы услышать что-нибудь о нем, а не обо мне.

— Нет, о тебе, — вставил я, — ведь ты — часть его.

— Спасибо на добром слове, — сказала она, в первый раз улыбнувшись, — но едва ли это правда, Лентулл Силян. Никто не может быть частью Маккавея — ни одна женщина на свете. Он одинокий и угрюмый человек, и такой он был всегда; он тоскует по потерянной жизни, по той жизни, какой живут все люди, но которая не для Маккавеев. Подумай, римлянин, каково жить без души, без самого себя, жить только ради чего-то, что вне человека. Подумай об этих пяти братьях, пройди по Иерусалиму, по Иудее, расспрашивай о них, и ты не услышишь о них ни одного худого слова, ни одного укора, каждый скажет тебе, что не было равных им, что это были люди без страха и упрека.

Она внезапно замолчала, долго смотрела на прекрасную, залитую лунным светом долину, а потом добавила:

— Но какой ценой! Чего это им стоило!

— Зато они победили.

Она обратила ко мне свои глубокие, задумчивые

глаза, и в них была тень гнева, смешанного с таким сожалением, с такой грустью и безнадежностью, какой я никогда еще не видел в чьих-либо глазах. Но это мгновение прошло, осталась только грусть.

— Они победили, — кивнула она. — Да, римлянин, чего бы это ни стоило, но они победили. Тридцать лет мой муж знал только войну и смерть. А вы ради чего сражаетесь, римлянин? Ради земли? Ради добычи? Ради женщин? И все-таки ты хочешь, чтобы я рассказала тебе о человеке, который сражался за священный договор между Богом и человечеством, — договор, в котором сказано, что каждый человек должен ходить с гордо поднятой головой и быть свободен...

Мне нечего было ответить, и я лишь наблюдал за ней и пытался понять этот удивительный народ, который отвергает все, что ценно и существенно, и создает культ из ничего.

— И не нужно человеку славы, — продолжала она. — Разве Шимьон бен Мататьягу удостоился славы? Его братья — да. Даже наименее известный из его братьев. Попробуй, скажи Шимьону что-нибудь дурное об Иегуде, Лентулл Силян, и, несмотря на святость законов гостеприимства, он ударит тебя. Или о Ионатане, о Иоханане, об Эльзаре. В его любви к Иегуде было что-то, что разрывало его сердце, я и сама этого не понимаю, но это всегда разрывало ему сердце, всегда, и только своих братьев мог он любить, этот человек, непохожий ни на кого на свете.

Я полулежал, откинувшись на ложе, и смотрел, как по ее щекам катились слезы, и я был ей почти благодарен, когда она встала, поспешно извинилась и ушла.

После этого я три недели не видел этнарха и почти не видел его жену. Все это время я занимался тем, что изучал страну и ее народ. Вместе со своим раздражительным проводником Аароном бен Леви я предпринял три путешествия. Одно к Мертвому морю — глубокой бездне, наполненной неподвижной, едкой водой, созданной, наверно, демонами для демонов; второе в прекрасные горы Офраима, а третье на юг, В одном из этих путешествий меня сопровождал сын

Маккавея Йегуда — дружелюбный, приветливый и красивый мальчик.

Кроме того, я посетил одно из заседаний Великого Собрания старейшин, но едва ли стоит здесь подробно излагать их нудные и педантичные споры на юридические и религиозные темы. Во время своих путешествий я останавливался во многих деревнях и видел повседневную жизнь евреев, и тем труднее мне объяснить высокому Сенату, почему я, который ни разу не встретил к себе ни малейшей враждебности, так возненавидел евреев и если не полностью понял, то начал понимать, почему их так ненавидят другие люди.

Через три недели Шимъон неожиданно вышел к обеду, но не объяснил, почему он столько времени избегал меня. Мне показалось, что с тех пор, как я видел его в последний раз, он как будто постарел, словно он за это время прошел через какое-то суровое испытание, но он ничего мне не сказал до тех пор, пока не кончился обед. Он прочел молитву, которой завершается у евреев каждая трапеза, и торжественно окунул руки в чашу с водой. Затем он пригласил меня посидеть и поболтать с ним на балконе, и я охотно согласился, ибо теперь, считал я, созрело время приступить к политическим переговорам по поводу будущих отношений наших стран. Я должен признаться, что личность этнарха имела надо мною какую-то необъяснимую, волшебную власть. Внутреннее убеждение, что я должен его презирать, в его присутствии всегда улетучивалось, хотя потом возвращалось снова.

Когда мы вышли на балкон и устроились на лужах под чистым иудейским небом, усыпанным звездами, этнарх сделал весьма любопытное наблюдение:

— Чувство вины, которое я испытываю, живя в этом дворце, смягчается только в этой лоджии. Здесь на меня нисходит мир. Тебе это кажется странным, Лентулл Силян?

— Станным? Странно твое чувство вины.

— Как так? Разве подобает человеку столь возноситься над другими и строить себе дворец?

— Если он Маккавей.

Шимъон покачал головой.

— Если он Маккавей, то тем более не подобает. Однако оставим это. Ты задержался в Иудее. Тебе нравится наша страна?

— Дело не в том, нравится или не нравится страна. Я должен написать Сенату обстоятельный отчет об Иудее, а как это возможно, если бы я вчера приехал, а сегодня уехал? И еще: меня спросят в Риме, что за человек Маккавей...

— И что ты ответишь? — улыбнулся Шимъон.

— Не знаю. Я так редко вижу тебя. Мне кажется, ты нарочно избегал меня последние недели.

— Я избегал тебя не больше, чем всех остальных, — сказал Шимъон. — Меня тревожило прошлое, и поэтому я уединился, чтобы записать свои воспоминания и постараться найти в них ответ на вопросы, которые терзают меня.

— И ты их нашел?

Старик испытующе посмотрел на меня, словно пытаясь пронзить меня своими бледными глазами, но в глазах его не было ни гнева, ни обиды, а только любопытство, и вновь возникло во мне это непонятное и тревожное ощущение, что он относится ко мне с молчаливым и снисходительным превосходством, смешанным со смирением, как будто я пес, а он, хоть и не мой хозяин, но из той же породы, что мой хозяин. Затем это ощущение прошло. Старик отрицательно покачал головой.

— Тебе есть о чем вспоминать, — сказал я.

— Даже чересчур. Но такова цена, которую приходится платить за жизнь, не правда ли?

Я пожал плечами.

— И да и нет. В Риме мы смотрим на это иначе. Хорошо вспоминать о наслаждениях, о любви, о хорошо сделанной работе, о выполненной задаче и, пожалуй, больше всего — о власти и о могуществе.

— Как я слышал, — сказал он задумчиво, — Рим — это могущественная держава.

— Краса народов и властелин половины мира.

— И вскоре будет властелином и второй половины? — мягко спросил этнарх.

— Это не мне решать. Я легат, посылаемый к

другим народам, один из многих, которые скромно и, надеюсь, добросовестно, не жалуясь, трудятся на благо Римской республики и вносят свой скромный вклад в дело распространения цивилизации и упрочения мира.

— Так же, как до вас это делали греки, — задумчиво сказал этнарх.

— Я думаю, гораздо лучше. Но скажи мне, Шимъон, о чем ты пишешь?

— Это рассказ о моих братьях.

— О чем я постоянно буду сожалеть, — сказал я, — так это о том, что я не был с ними знаком. Это были великие люди.

— Откуда ты знаешь? — спросил Шимъон.

— Разве можно провести месяц в Иудее и не узнать об этом?

Он улыбнулся.

— А что, римлянин, ты уже начинаешь пользоваться еврейскими оборотами речи! Однако стоит ли тратить время на то, чтобы оплакивать мертвых? Жизнь принадлежит живым.

— Странно, что так говоришь именно ты. Я не знаю народа, в такой степени одержимого прошлым, как евреи.

— Потому что прошлое — это наш союз с Богом. Рабами были мы у фараона в Египте. Можем ли мы об этом забыть?

— Мне кажется, вы и не хотите об этом забыть. Но о чем ты пишешь, Шимъон? Можно мне это прочесть?

— Если ты читаешь по-арамейски, — ответил он небрежно.

— Ты не придаешь своей рукописи большого значения?

— Никакого, — сказал этнарх, пожав плечами. — То, что я хотел сделать, мне не удалось. И когда я кончил писать, мне показалось, что все это — только старческое копание в прошлом и в ушедшей юности. Но если тебе хочется это прочесть, — я буду рад. Я написал это не столько для себя, сколько для других.

Мы поговорили еще кое о чем, и затем, перед тем как лечь спать, он принес мне длинный свиток пергамента, на котором он изложил повесть о своих прославленных братьях. И я всю ночь не спал, но лежал, придвинув к себе коптящий светильник, и читал то, что написал этот одинокий и властный еврей.

Эту рукопись я прилагаю к моему отчету, ибо, на мой взгляд, в ней гораздо лучше, чем в моих личных наблюдениях, выражен характер и образ мыслей евреев и то, что они доверительно называют еврейской душой, или, на их языке, "нешама", — некий дух, который живет в них и связывает их с жизнью. Это подлинная рукопись, которую дал мне Шимъон Маккавей, сказав:

— Если хочешь, Лентулл Силян, можешь взять ее с собой — если, по-твоему, она может что-нибудь значить для вашего Сената. Я ей важности не придаю, она ничего не стоит.

Однако, по моему разумению, в этом он ошибается, и я считаю, что высокому Сенату стоит поручить компетентным переводчикам перевести эту рукопись на латинский язык, дабы ее мог прочесть всякий, кто будет иметь дело с Иудеей или с евреями. В ней не только подробно описывается военная тактика евреев, но и ясно раскрываются те черты, которые делают этот народ столь обманчивым и опасным, ввиду чего он может стать серьезной угрозой западным идеалам и цивилизации.

Даже цветистый, эмоциональный стиль рассказа представляет известный интерес, ибо он есть отражение многих свойств этого, на первый взгляд, холодного и сурового человека, которого евреи называют „железной рукой“. Помимо того, многие места рукописи помогают понять религиозные обряды евреев.

Я не видел этнарха весь следующий день, хотя провел некоторое время в беседе с его женой, но через день после этого мы с ним наедине завтракали. Простая трапеза из фруктов, хлеба и вина, как обычно, была подана на балконе. Этнарх не упоминал о своей рукописи, но вместо этого задал мне ряд вопросов относительно Рима, спросил о его размерах и богатстве, о характере и организации римской армии и

флота, а особенно расспрашивал про военную тактику, которая помогла разгромить Ганнибала и его карфагенян. Вопросы его были чрезвычайно умны и целенаправленны, и он особое внимание обратил на то обстоятельство, что Ганнибал целых шестнадцать лет держал в Италии карфагенскую армию, успешно отбивая все римские атаки.

— Чего я не могу понять, — сказал он задумчиво, — так это позицию в этом вопросе народа, населяющего вашу страну — Италию.

— Почему не можешь понять? — спросил я. — Народ — это жалкий, невежественный сброд, который ковыряется в земле. Ему наплевать, кто им управляет: Карфаген или Рим.

— Не знаю, на что ему наплевать и на что нет, — медленно сказал Шимьон, — ведь я старик, и за всю жизнь я больше чем за несколько десятков миль не отъезжал от границ Иудеи. Но в конце концов Карфаген пал.

— Потому что Рим могуществен и настойчив, — сказал я гордо. — В нашем городе появилась поговорка: “Карфаген должен быть разрушен“. И он был разрушен!

— Однако у греков тоже была поговорка, что Иудея должна быть уничтожена, но этого не случилось.

— Антиохия — не Рим, — улыбнулся я. — И в любом случае, Шимьон, за тобой долг. Я всю ночь читал твои воспоминания, и, однако, я нашел там лишь вопросы, но не ответы. Ты кончаешь свой рассказ смертью Иегуды, как будто это самое главное. Но ведь это было более двадцати лет назад, и сегодня Иудея свободна, и даже в далеком Риме отдают должное Маккавею.

— И все-таки это действительно самое главное, — вздохнул старик. — Может быть, и вся моя писанина бесполезна, но когда я кончил рассказ о гибели моего брата, писать дальше я был не в силах.

— Но ведь после этого произошло еще много событий! Очень много!

— Да.

— Даже я слышал о том, как после смерти Иегуды ты и двое твоих братьев собрали всех мужественных людей Иудеи и продолжали сражаться, и вас оттеснили в пустыню за реку Иордан, и вы долго там жили.

— Это верно, — кивнул старик. — Мы ушли в пустыню, ибо нам казалось, что дело наше безнадежно и будущего у нас нет. Но таков был договор сыновей Мататьягу, что мы должны сражаться, даже если будем сражаться одни во всем Израиле. Мы отступили к Иордану с боями, ни разу не показав врагам свои спины, но когда все были убиты, мы втроем перешли Иордан и ушли в пустыню, как давным-давно сделали наши предки, которые ушли в пустыню, но ни перед кем не склонили колени. И живя в пустыне, без крова, без крыши над головой, мы выжили. Мы как-то ухитрились выжить, и мы послали нашего брата Иоханана назад в Иудею с поручением, но на него напали дикие бедуины и убили его. Он был благороден, и нежен, и добр, и не было на свете человека, которого бы он ненавидел, ни разу никому он не причинил зла, ни разу не возвысил голоса в гневе. И все же только потому, что он был сын Мататьягу, он оставил дорогие его сердцу святые свитки, оставил благоговейную тишину синагоги, оставил свой дом, жену и детей, и взял в руки меч. Мы не наемники, римлянин, и для нас все, что есть в жизни, — это лик и проявление Бога, и все живое для нас священо. Нет большего греха, чем пролить кровь; лишить человека жизни — это величайшее злодеяние. Так что ты, возможно, не понимаешь, чего это стоило Иоханану, который был привержен еврейскому Закону больше, чем кто другой, — чего стоило Иоханану взять в руки меч и сражаться и проливать кровь. И все же он это делал. Он делал это добровольно, и все те годы, что он сражался рядом со мною, с его губ не слетело ни слова жалобы, ни слова сожаления, ни слова о том, что ему страшно. Он был не такой, как остальные его братья, он был хрупок и слаб телом, но в нем горел неукротимый, могучий дух. Даже когда он был тяжело ранен и лежал в горячке много дней, много недель,

он никогда не жаловался, никогда не сожалел о том, что сделал. И его убили бедуины, и он умер один в пустыне — и остались в живых только мы с Ионатаном. Когда-то, отправляя своего брата Ионатана к рабби Рагешу, которого тогда называли отцом Израиля, я велел сказать Рагешу, что пока двое свободных людей ходят по земле Иудеи, ее нельзя покорить. Так оно и случилось: Ионатан и я остались одни в пустыне.

Шимшон помедлил, устремив глаза вдаль, на голубые холмы Иудеи. Его большие руки то сжимались в кулаки, то снова разжимались, а морщины, избородившие его лицо, казалось, сделались глубже. Он не рассказывал мне, он выбрасывал из себя слова.

— Да, — продолжал он, — нас было двое свободных людей, но не мы пробудили Израиль от глубокого, как бездна, отчаяния, в которое он погрузился после поражения. Нет, это сделал дух Иегуды, дух Макавея — человека, которому не было равных на земле и никогда не будет. И постепенно страна начала подыматься. Те, кому была дорога свобода, пересекали Иордан и приходили к нам, и обнимали нас, и целовали нас, ибо мы были сыновьями Мататьягу, который погиб за свой народ и за то, чтобы все люди могли жить достойно. К нам приходили все новые и новые бойцы, наши силы росли — и в один прекрасный день мы снова переправились через Иордан и вернулись на свою землю. Все было так же, как раньше; куда бы мы ни приходили, люди бросали свои дома, свои плуги, и вступали в наши ряды. И еще раз мы показали грекам, что еврей умеет сражаться. Это произошло не сразу. Свободу нельзя купить, как покупаешь корову или клочок земли. Мы платили свою цену за свободу год за годом, но в конце концов мы победили. И вот, нет больше господина над Иудеей — лишь свободный народ, живущий в мире.

— И это стоило двадцати лет непрерывных войн, — сказал я.

— Если ты прочел, что я написал, то ты знаешь, чего это стоило, — напомнил мне еврей. — Мы пожали посеянное Иегудой, ибо он открыл нам ту истину, которой мы не знали прежде, — что в борьбе за свободу

никто не погибает напрасно. Эту истину он нам открыл — и что еще ты хотел бы от меня услышать? Война — это зло, и убийство — это зло, и поднявший меч, от меча и погибнет. Так написано в наших священных свитках. Мы сражались за нашу свободу и, волею Божьей, мы никогда ни за что другое не будем сражаться. Мы избраны не для того, чтобы учить людей воевать, но для того, чтобы учить их жить в мире и любви. Пусть мертвые спят спокойно, и если ты хочешь знать, как мы боролись и за что мы боролись, пройди по нашей земле, Летулл Силан, и посмотри, как живут люди. Я уже достаточно тревожил мои воспоминания.

— Но ты их тревожил несколько странно, Шимъон Маккавей, ибо ты не видишь целого, а видишь только часть. Неужели ты всерьез веришь, что ваша крохотная страна могла в одиночку сокрушить Сирийскую империю?

— Но мы ее сокрушили...

Однако в голосе Шимъона не звучало уже прежней уверенности.

— Так ли это? — спросил я. — Разве не Рим сокрушил мощь Греции, разве не Рим остановил победную поступь Сирии? Не римский ли легат встал на египетской границе и сказал сирийскому войску: "Дойдите до этой черты — и ни шагу дальше!" Вы ничего не знали про Рим, но Рим знал про Иудею. Разве хватило бы у вас сил выстоять против целого мира, Шимъон? Это же нереально. Ты говоришь, что вы сражались за свою свободу и больше ни за что не будете сражаться. Не слишком ли гордо это звучит, Шимъон? Я не верю, что евреи так непохожи на всех остальных людей. Ваша страна находится на перекрестке земных дорог, и этот перекресток должен быть открытым. Знал ты об этом или не знал, но Рим сражался на твоей стороне, Шимъон. А где будет Рим сражаться завтра? Подумай об этом, Шимъон Маккавей!

Еврей поглядел на меня, и в его бледных глазах были смущение и грусть. Он был взволнован и озабочен, но не испуган. Затем он встал, как бы собираясь

распроститься со мной на сегодня, и сделал несколько шагов по балкону.

— Еще один вопрос, — остановил я его, — если Маккавей мне позволит.

— Спрашивай, Лентулл Силан.

— Что случилось с Ионатаном?

— Для чего тебе это знать? Какое это имеет значение? Все мои прославленные братья мертвы.

Он протянул руку и коснулся моего плеча.

— Прости меня, Лентулл Силан, ты гость в моем доме, и да отсохнет мой язык, если он произнесет хоть слово, которое обидит тебя. Просто есть вещи, о которых говорить труднее, чем обо всем остальном.

— Неважно, забудь об этом, — успокоил я его.

— Нет! Как ты сам сказал, ты — посланник, и все, что ты услышишь, ты передашь пославшим тебя. Про Ионатана мало что можно добавить. Он был младший из братьев, он рос уже без матери и поэтому был как бы нашим сыном, нашим любимцем; и сперва, когда мы начинали борьбу, он сражался, будучи еще совсем ребенком. Он никогда не знал того, что знали мы, старшие братья, — счастливого, радостного детства в Модиине, ибо еще ребенком он взял в руки лук и потом знал в жизни одну лишь войну, и единственное, о чем он мог вспомнить, — это о войне, изгнании и битвах. Но он пережил все это — пережил кровавую бойню, в которой погиб Иегуда, пережил годы изгнания в пустыне. Вместе со мной он оплакивал братьев, и год за годом мы сражались вместе за Иудею и за Израиль, и затем, уже под конец, когда мы были уже близки к победе, греки захватили его...

Он поперхнулся и замолчал, спина его согнулась, и он сидел, глядя вдаль на долину.

— Захватили его? — мягко переспросил я.

— Захватили его, — повторил Маккавей, и в голосе его была суровая горечь. — Греки захватили его в плен и держали заложником, требуя выкупа. И я опустошил все свои сундуки, и каждый еврей, у кого было хоть сколько-нибудь золота или хоть крошечный драгоценный камешек, отдал все это, чтобы выкупить Ионатана. Мы собрали все золото и серебро, какое

было в стране, и люди с радостью отдавали все, что у них было, чтобы только выкупить сына Мататьягу, и все это мы вручили грекам. А потом они убили моего брата...

Такова, насколько я могу упомнить, была моя беседа с Шимъоном Маккавеем. Следует добавить еще некоторые подробности: например, то, что за двадцать лет борьбы за свободу после гибели Иегуды евреи сражались, насколько я узнал, в двенадцати больших битвах и в трехстах сорока мелких стычках. Это обстоятельство представляется мне чрезвычайно существенным, ибо здесь кроется решение загадки, как им удалось одержать победу. Этот крошечный и на первый взгляд совершенно беззащитный народ, у которого имеется всего один значительный город, обнесенный стеной, у которого нет постоянной армии, нет твердой власти — этот народ буквально истощил и обескровил Сирийскую империю. Если просмотреть сирийские архивы и подсчитать, во сколько обошлись грекам те тысячи и тысячи наемников, которые погибли в иудейских долинах и ущельях, то цифры будут просто чудовищные. И тогда начинаешь недоумевать, что побуждало сирийских царей, одержимых безумной и бессмысленной алчностью, в течение трех десятилетий обирать и доводить до нищеты города в своей собственной империи и продавать в рабство собственных свободных граждан, чтобы собрать деньги на ведение войн с евреями. Отсюда следует естественный и очевидный вопрос: почему сирийцы никак не могли отказаться от мысли покорить Иудею, почему они не могли оставить этих упрямых евреев в покое? На это есть разные ответы, тому есть целый комплекс причин; и мне кажется, что некоторые мои соображения на эту тему могут представить известный интерес для высокого Сената.

Во-первых, следует принять во внимание ту антипатию, которую вызывают евреи. Их понятие свободы, вся их концепция, которую можно было бы определить как концепцию прав отдельного человека, — все это представляет собою несомненную угрозу сво-

бодным людям в любой стране и всей нашей общественной структуре, в основе которой лежит рабовладение. Повсюду, как и у нас, народы понимают рабовладение как основу свободы, поскольку только в обществе, построенном на незыблемом фундаменте рабовладения, свободные граждане могут совершенствовать цивилизацию. Еврейское же понятие свободы применимо ко всем без исключения людям, даже к рабам, и это, само собой разумеется, явление весьма угрожающее. То, что евреи всячески превозносят неповиновение и мятеж, почитая первейшей добродетелью упрямое и бессмысленное нежелание склонить колени перед человеком или даже перед Ягве, их Богом, делает их еще более опасными. Известно, что когда-то они находились в рабстве, из коего их вывел некто Моисей, и это возбудило в них такую глубокую и непримиримую ненависть к естественному повиновению и подчинению, что совершенно невозможно теперь рассматривать их как цивилизованных людей, хотя следует признать, что они обладают некоторыми крайне похвальными добродетелями. Однако, как я указывал выше, даже их добродетели носят чисто еврейский характер. Говоря о неприязни, которую питают к евреям все другие народы, стоит отметить и то, что они всячески превозносят мир. В своих восхвалениях мира они доходят чуть ли не до подобострастия. Они наотрез отказываются признать, что война — это неотъемлемая особенность цивилизации; любое проявление силы и мужественности они немедленно объявляют зверством. В отличие от всех других народов, евреи не пользуются услугами наемников, но подвергают тяготам войны свое собственное свободное население, что противоречит всему, что они сами же проповедают. Впрочем, по моим наблюдениям, подобные противоречия — характернейшая особенность еврейской сущности. Во всей истории мира не было войн столь кровавых и унесших столько человеческих жизней, как эти тридцать лет еврейского сопротивления. И сама бессмысленность этого сопротивления только увеличила ненависть греков к евреям и желание их покорить. Однажды я указал на это этнарху, сказав:

— Не лучше ли было бы, если бы в какой-то момент ты и твои братья заключили с греками мир, во имя закона, порядка и всеобщего благополучия?

— Поступившись свободой? — спросил он.

— Ты говоришь о свободе, как о некоем абстрактном понятии, — заметил я. — Если свобода, как ты, кажется, утверждаешь, есть добродетель сама по себе, то что можно сказать о рабах?

Он явно смутился.

— Не знаю, — сказал он.

— Ты не можешь не признать, — настаивал я, — что рабовладение — это основа свободы.

— Как я могу такое признать?

— Но ведь у вас есть рабы!

— Это верно. Однако во время войны рабство у нас исчезло.

— Как так?

— Мы освободили своих рабов, чтобы они могли сражаться рядом с нами.

— И они сражались?

— Они сражались, и они умирали рядом с нами.

Таким образом, высокому Сенату должно быть ясно, какую угрозу представляет для нас сам образ жизни и образ мышления этого народа. Без сомнения, этот фактор побуждал греков снова и снова возобновлять свои попытки покорить Иудею.

Однако следует указать и на другие факторы.

Другой фактор заключался в том, что в первые годы восстания Маккавеев потери, понесенные Сирийской империей, были столь велики, что единственным способом возмещения убытков было окончательное завоевание Иудеи и захват ее богатств. С этим вопросом был также тесно связан вопрос о богатых евреях — довольно незначительной группе культурных людей, живших большей частью в Иерусалиме. Их ненавидели другие евреи за то, что, будучи культурными, они отказались от своего жалкого, варварского еврейства, усвоили греческие обычаи, одевались, как греки, говорили по-гречески, а не по-арамейски или на своем иврите. В самом начале восстания эти евреи благоразумно заключили договор с греками, запаслись соб-

ственными наемниками и заперлись в большой каменной крепости внутри Иерусалима. Там они держались два десятилетия, даже больше, до тех пор, пока Шимъон не осадил эту крепость, взял ее приступом и сравнял с землей.

Когда рвение греков ослабевало, и они решали уйти из Иудеи, эллинизированные евреи каждый раз делали все, что было в их силах, и шли на самые крайние меры, чтобы только воспрепятствовать уходу греков и снова раздуть пожар войны. Неудивительно, что этих немногочисленных эллинизированных евреев еврей-крестьяне ненавидели больше, чем греков. Евреям, сидевшим в крепости, можно было посочувствовать: они могли вернуть свое состояние и положение только после полного разгрома Маккавеев. Надо отметить, что когда крепость в конце концов пала, Шимъон не убил этих евреев, а разрешил им покинуть Иудею и уйти в Антиохию и Дамаск. Я серьезно рекомендую Сенату связаться с этими евреями в вышеупомянутых городах и в течение некоторого времени поддерживать их, пока их услуги не пригодятся для дальнейшего прогресса и процветания Рима.

Третий важный фактор, из-за которого война тянулась так долго, — это желание отомстить. Иегуда Маккавей лично убил двух самых популярных и способных греческих военачальников: Аполлония и Никанора. Разумеется, были и другие факторы, но эти три — неприязнь к евреям, нужда в деньгах и жажда мести суть главные причины продолжительности войны, которая в конце концов обескровила Сирийскую империю.

Трудно понять, как такая маленькая страна, как Иудея, с таким незначительным населением, могла выдержать столь долгую и изнурительную войну. Не вызывает сомнений, что если бы евреи жили, как все другие народы, в городах, и будь их образ жизни, как у цивилизованных людей, основан на рабовладении, они, конечно, потерпели бы поражение.

Однако, будучи народом крестьян, они очень привязаны к земле, которую обрабатывают своими руками, и потому проявили в достижении своей цели ред-

костное упорство. Если при этом принять во внимание их варварский обычай ведения войны — они не жаждут меряться силами с врагом в открытом поле, а заманивают его в ловушки и умело используют благоприятный для них рельеф местности, в которой живут, — то становится понятным, как трудно завоевать эту землю, разве что изнутри.

Я осмелюсь закончить свой доклад некоторыми рекомендациями. Обдумывая и подготавливая эти рекомендации, я старался быть как можно более объективным, считая такую объективность первейшим долгом сенатского легата. Я уделил немалое время изучению этого народа, я завязывал знакомства и беседовал с представителями всех слоев общества: с земледельцами, с виноделами, с ремесленниками, со священнослужителями и даже теми немногими купцами, которые встречаются среди евреев.

Я пытался — правда, безуспешно — подавить в себе неприязнь к евреям. Я пытался заставить себя взглянуть на мир их глазами, но я должен признаться, что для римлянина это почти невозможно.

Я пытался игнорировать их оскорбления и презрительное к себе отношение, полагая, что успех моей миссии я должен поставить выше человеческого самодлюбия. Более того, я даже пытался им симпатизировать.

В итоге я пришел к указанным выше выводам, большинство из которых уже изложено в этом отчете. Можно вкратце обобщить эти выводы следующим образом:

Евреям нельзя доверять, ибо люди с западным образом мышления не найдут с ними общего языка. Все наши понятия свободы, достоинства и ответственности им совершенно чужды.

Евреи от природы неполноценны, ибо они отвергают все блага цивилизации и неспособны усвоить высшие принципы современной жизни.

Евреи враждебны человечеству, ибо они отвергают, презирают и поносят все, что ценно для человека: его богов, его убеждения и его обычаи.

Евреи представляют собою серьезную угрозу Риму,

поскольку они отрицают основу западной культуры — свободное рабовладение.

Евреи враждебны всяческому порядку, ибо они прославляют беспорядок и неповиновение и превозносят самый акт восстания.

По всем вышеизложенным причинам, а также ввиду других обстоятельств, указанных в данном докладе, я настоятельно рекомендовал бы благородному Сенату рассмотреть пути и средства подчинения и последующего уничтожения этого народа. Хотя он невелик и живет в очень небольшой стране, но может стать чрезвычайно опасным и этим не следует пренебрегать. Будучи всего лишь скромным легатом, я, однако, осмелюсь высказать свое мнение, что Рим и Иудея едва ли могут существовать в одном и том же мире. Никогда еще две общественные системы не были столь противоположны и неспособны найти общую точку зрения для заключения союза или для подчинения одного народа другому.

Тем не менее я считаю, что в настоящее время вполне возможно заключение союза между Римом и Иудеей. Если обозреть области, находящиеся между Египтом и Персией, можно увидеть, что Иудея, лежащая, как алмаз, среди тринадцати ослабленных царств и двух умирающих империй, уравнивает силы и является решающим фактором. Союз с Иудеей, хотя и временный, поможет нам управлять этим равновесием сил, благодаря чему мы сумеем недорогой ценой достичь того, что в ином случае потребовало бы бесчисленных легионов. Кроме того, в настоящий момент невозможно одержать решающую победу в войне с евреями. Меня пробирает дрожь, когда я представляю себе, как наши тяжеловооруженные легионы маршируют по изким теснинам Иудеи. Маккавей, который находится сейчас в зените своей славы и могущества, смог бы с легкостью за какие-нибудь сутки собрать армию от пятидесяти до семидесяти пяти тысяч закаленных бойцов, сражавшихся в течение многих лет; и я не думаю, что, имея такого противника, какая бы то ни было военная сила могла бы завладеть Иудеей.

Этнарх, со своей стороны, сколько я могу судить,

не против союза с Римом. Всего лишь три дня назад я заставил его откровенно высказаться.

— Моя миссия не может продолжаться вечно, — сказал я ему. — Как мне ни нравится Иудея, я должен вернуться в Рим.

— Я не буду удерживать тебя здесь против твоей воли, Лентулл Силан, как ни мил мне гость и как ни приятны беседы с тобою. Хотя, впрочем, тебе это, наверно, казалось нудным брюзжанием болтливого старикашки. Что я могу для тебя сделать?

— Пошли со мной в Рим послов, чтобы заключить союз.

— Если бы это было так просто!

— Это очень просто, — заверил я его. — Ты имеешь дело не с греками, а с римлянами. Протягивая тебе руку, я тем самым даю тебе слово Сената, а слово Сената — свято. И после этого — какой царек, царь царей или император осмелится послать своих наемников в страну, которая торжественно заключила договор с Римом?

— А какая Риму польза от этого?

— Мы приобретаем верного союзника, доброго друга в мирное время и грозный меч во время войны. Звезда Греции закатывается, как закатилась звезда Карфагена, а раньше — Египта и Вавилонии и всех могучих империй прошлого. На небосклоне восходит новая звезда — молодой и могучий Рим, уверенная, несокрушимая сила, которой суждено жить вечно.

— Ничто на земле не вечно, — задумчиво сказал Шимъон.

— Как бы то ни было, Шимъон, ты пошлешь со мной послов?

— Если желаешь, я пошлю двух человек, пусть они побеседуют с твоим Сенатом.

— А лучше всего отправляйся сам, — сказал я.

— Нет, нет, Лентулл Силан! Я старик, и я знаю только Иудею и евреев. Что мне делать в Риме? Да я там буду выглядеть, как неотесанный сельский увалень.

И как я ни убеждал его отправиться в Рим самому, мне не удалось его уговорить. Но он согласился

отправить послов, которые будут представлять его в Риме.

На этом я заканчиваю свой отчет и все мои рекомендации и представляю их вниманию благородного Сената.

Да продлятся ваши дни и да умножатся ваши богатства!

Я приветствую вас.

Лентулл Силан, легат

В КОТОРОМ Я, ШИМЪОН, РАССКАЗЫВАЮ О ТОМ,  
ЧТО ВИДЕЛ ВО СНЕ

Итак, Лентулл Силян уехал, и с ним отправились двое евреев, которым надлежало предстать перед римским Сенатом. Но в душе моей не было мира, и на сердце было беспокойно, как никогда прежде. Над нашей землей сияло золотое солнце, как святое благословение. Когда я накинул еврейский полосатый плащ и пошел через холмы и долины в Модиин, вся земля была, как цветущий сад, благословенный и мирный, подобный благоухающему подношению Господу Богу, да пребудет Он вечно, да святится имя Его!

Никогда за все то время, что существует Израиль, не была столь счастливой наша земля, ибо дети играли, не ведая страха, они, смеясь, бегали взапуски в высокой траве и плескались в чистых ручьях. На склонах холмов белые ягнята звали своих матерей, и между скал пестрели белые и розовые цветы. Сплошными рядами, без просветов, тянулись террасы. Одна впритык к другой, слой за слоем, ступень за ступенью, поднимались они по зеленым склонам, и взошедший на них обильный урожай радовал глаз. Да разве возможно увидеть нашу землю и не поверить, что это воистину край, текущий молоком и медом, благословенный, трижды благословенный?

И все же тяжело было у меня на сердце.

Со всех сторон доносились приятные запахи: свежего хлеба, сушеного сыра, молодого вина. Цыплят начиняли и отправляли в печь, и пахло оливковым маслом, и дыхание свежего ветра приносило с вершин холмов чудесный аромат сосновой хвои. Да есть ли на свете место прекраснее и драгоценнее, чем то, за которое люди отдавали свою жизнь, где брат умирал за брата?

Но я не радовался, и тяжело было у меня на душе.

Я проходил через деревни, и везде люди узнавали меня и воздавали мне почести ради моих про-

славленных братьев. Мне подносили самые вкусные угощения, меня потчевали и тем и этим, чтобы я все отведал, ибо щедра и плодоносна наша земля.

И люди повсюду говорили:

— Шалом, Шимъон Маккавей!

— И вам мир! — отвечал я на это.

Но покой, которого я жаждал, не нисходил на меня. И пришел я в Модиин, где отчий дом, дом Мататьягу, стоял пустым. И я думал, что, может быть, в уже притупившейся боли вчерашнего дня обрету я забвение. Я взобрался на холм, на который когда-то, давным-давно, я так часто взбирался сначала мальчишкой, потом юношей со своими овцами, а потом мужчиной вместе с девушкой. Там лег я на мягкую траву и смотрел в небо, прохладное, голубое небо Иудеи. Я лежал и смотрел, как курчавые, словно руно, облака, которые ветер пригоняет со Средиземного моря, медленно-медленно проплывают по небу, как будто им жаль слишком быстро покинуть эту маленькую и священную землю. И я немного успокоился, ибо кто не ощутит душевного покоя в таком месте, где ходили его отцы и деды? И все же даже там, в древней и вечно юной оливковой роще, меня томили беспокойство и тревога, и сердце мое глубоко пронизывала сверлящая, острая боль.

Как мало изменяется мир! В Модиине снова был я Шимъоном бен Мататьягу, и когда я шел по своей родной деревне, примостившейся на дне долины, я был дома. Я пошел вместе с крестьянами в синагогу на вечернюю молитву, и я стоял среди них, накрыв голову плащом, ибо в Израиле даже этнарх и первосвященник — такой же человек, как все остальные евреи.

Я поужинал у Шмуэля бен Ноя, винодела, жившего в доме, который мне не так уж был незнаком. Шмуэль бен Ной поставил на стол четыре сорта вина, его дети слушали, разинув рты, как мы с ним толковали об искусстве виноделия, о чем так часто говорят евреи. А потом появились соседи, и беседа оживилась — непринужденная, бесхитростная беседа, какую нередко можно услышать в селениях вроде Модиина.

Здесь я был дома; здесь я был не Маккавеем, не этнархом, а сыном Мататьягу.

Наконец я пожелал им всем доброй ночи и отправился ночевать в старый свой дом, где улегся на соломенном тюфяке; но уснуть не мог...

Когда на следующий день я возвращался обратно в город, я нагнал маленького, сухонького старика Аарона бен Леви, погонщика верблюдов, который недавно был проводником у римлянина, и мы пошли дальше вместе. Я спросил его, как случилось, что он возвратился в Иудею.

— Мне осточертели нохри, Шимшон Маккавей, и до смерти мне осточертел один римлянин. Странствия — это для молодых, а мои старые кости болят. Когда я ложусь спать, я никогда не бываю уверен, что ангел смерти не разбудит меня до зари. Сам я из Гумада, там жил мой отец, а раньше — дед, а мой отец был левитом...

Он усмехнулся полусмущенно, полувывызывающе — и добавил:

— А теперь я иду в Иерусалим: авось, меня там возьмут привратником в Храм?

— Почему бы и нет?

— А еще я умею рассказывать сказки. Я еще не решил, чем мне заняться.

— Всем, чем угодно, только бы не работать?

— В том, что ты сказал, Шимшон Маккавей, как и во всем на свете, есть крупица правды. Но мне ли стыдиться своего прошлого? Только вот из-за этой раны на руке — он закатал рукав и обнажил глубокий шрам, — вот из-за этой раны я не был с вами в ту последнюю битву на равнине, когда лишь ты да Ионатан остались в живых. Так раз уж мне довелось еще немного пожить на свете милостью Всевышнего, да святится имя Его, неужели же этот короткий срок, что мне еще отпущен, я должен гнуть спину в поле?

— А я думал, что римлянин заплатил тебе достаточно щедро, чтобы ты мог еще долго ничего не делать.

— А вот тут ты ошибаешься, Шимшон Маккавей. Этот римлянин — скряга и себе на уме, и он трижды

взвесит на ладони каждый шекель прежде, чем с ним расстаться.

— Он тебе не понравился?

— Я терпеть его не мог, Шимъон Маккавей. Я бы, наверно, убил его, не будь он иноземец в Израиле.

— Почему? — спросил я с интересом. — Почему, Аарон бен Леви?

— Потому что в нем — зло.

Я улыбнулся и покачал головой.

— Три месяца он жил у меня в доме. Он просто ведет себя, как все нохри, только и всего. Он суров и скрытен, но таким его воспитали.

— Ты действительно уверен в этом, Шимъон Маккавей? — ехидно спросил погонщик.

Я кивнул, но ничего не сказал, размышляя, о чем думает этот маленький старик, который идет рядом со мной по дороге и задумчиво поглаживает бороду. Несколько раз он открывал было рот и снова закрывал его, как-будто хотел что-то сказать, но не решался. Наконец, он робко промолвил:

— Кто я такой, чтобы давать советы Маккавею?

— Насколько я помню, — сказал я. — прежде ты никогда не раздумывал слишком долго, чтобы дать совет.

— Это верно, что я бедняк, — сказал он задумчиво, — но, как бы то ни было, еврей — это еврей.

— Если ты хочешь сказать что-нибудь, Аарон бен Леви, говори.

— Лентулл Силан ненавидел тебя, но он ненавидел тебя не как человек, а как римлянин; и не может быть согласия между евреем и римлянином. Это тебе говорит глупый старик, так что ты можешь, Шимъон Маккавей, принять мои слова или бросить их в пыль, по которой ты ступаешь.

И после того мы шли молча, ибо он боялся, что обидел меня, и не хотел больше ничего говорить...

И в ту ночь в Иерусалиме я видел сон, и я проснулся в смятении и страхе. Мне снилось, что римские легионы пришли в Иудею. Ни разу в жизни не видел я римских легионов, но я столько слышал о них, что мне нетрудно было представить себе огромные, тяже-

лые деревянные щиты, тяжелые железные и деревянные копья, тяжелые металлические шлемы, сомкнутые ряды воинов. Это мне снилось. Мне снилось, что римские легионы пришли в Иудею, и мы сокрушили их в наших тесных ущельях. Но они приходили снова и снова, пока трупы римлян не наполнили зловонием всю нашу землю. И все-таки они приходили и приходили, приходили снова, и снова, и снова. И каждый раз мы сражались с ними и разбивали их, но не было им конца. И близился конец, мы погибали один за другим, пока во всей Иудее не осталось ни одного еврея — только пустая земля. А потом мне снилось, что Иудею охватила глубокая и страшная тишина, и в этот миг я проснулся, застонал от ужаса и скорби.

Эстер тоже проснулась и, положив мне на лоб свою теплую руку, сказала:

— Шимъон, Шимъон, что тревожит тебя?

— Мне снился сон...

— Всем снятся сны, но что такое сны? Это ничто и тень от ничего.

— Мне снилось, что наша земля пуста и безлюдна и безжизненна...

— Это был глупый сон, Шимъон; ведь там, где земля благодатная, всегда живут люди, они снимают урожай, и мелют зерно, и пекут хлеб — всегда, Шимъон, всегда.

— Нет. То, что мне снилось, — правда.

— То, что тебе снилось, — это только сон. Шимъон, дитя мое, мое странное, глупое дитя, это только сон.

— На всей земле не было ни одного еврея. Я как будто стоял на высоком утесе, обозревая всю землю, и куда бы ни бросал я взгляд, нигде не было ни одного еврея, и я слышал лишь шопот, как будто бесчисленные голоса шептали: “Мы избавились от них, избавились от них”.

— Шимъон, да были ли когда-нибудь времена, когда нохри не говорили: “Мы должны избавиться от них”? Ну, что ты, Шимъон!

— Но я все еще слышу эти голоса.

— Разве в силах они это сделать, Шимъон, когда

мы — словно старый дуб, мы пустили в землю такие глубокие корни? Мужчины никогда не могут избавиться от сомнений и страха, но женщина знает правду, Шимшон.

— И где-то, — сказал я, — где-то надо всем этим был римлянин. И на его гладком, смуглом лице кривилась понимающая улыбка, такая, какой он всегда улыбался, слегка разжимая тонкие, бледные губы. В нем — зло...

— Ну, что ты, Шимшон! Лентулл Силан — человек, как все другие люди.

— Нет, нет!

— Успокойся, муж мой, отдохни, приди в себя. Ты слишком много пережил, тебя давит прошлое. Успокойся...

Она ласкала меня, успокаивала, и это было мне нужно, и я опять погрузился в забытие между сном и явью, вспоминая про все добро и почет, которые я знал в жизни, вспоминая, как много людей любили меня, хотя сам я любил столь немногих.

И я думал о своих братьях: воистину, только старый дуб мог породить такие могучие ветви, как Иегуда Маккавей, Эльазар, Иоханан, Ионатан. Да будут благословенны они, и да починут в мире, в покое и мире! Жизнь — это краткий день и не более, но жизнь так же вечна! Скоро, уже скоро я, Шимшон, последний из Маккавеев, уйду тем путем, которым ушли они, но не так скоро забудется в земле Израиля — и среди нохри тоже, — что было когда-то пятеро сыновей у старого адона Мататьягу.

КОНЕЦ

עיריית חיפה  
מסרכת תרבות הפנאי  
מרכז תרבות לעולים  
בית ארדשטיין - ספריה  
מס. מלאי.....

374

БИБЛИОТЕКА "АЛИЯ"

- 1—2. Леон Юрис : ЭКСОДУС
3. Др. А. И. Кауфман : ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит : ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав : НАПЕРЕГОНКИ  
СО ВРЕМЕНЕМ
6. Др. Е. Хисин : ДНЕВНИК БИЛУИЦА
7. Макс Брод : РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИИ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ  
(Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель : ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ : Еврейские мотивы  
в русской поэзии
11. Натап Альтерман : СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский : СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль : ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам : ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед : ХЕДВА И Я
16. Яков Цур : И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль : ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. Стихи советского еврея : ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ
19. Говард Фаст : МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский : РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА  
И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон : ОТЧИН ДОМ
22. Юлия Шмуклер : УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хапа Сенеш : ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917—1967)
25. Ш. И. Агнон : ИДО И ЭЙНАМ  
Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли : ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский : СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН